



СОГЛАСИЕ

ЛЕОНИД ШОРОХОВ
ДОРОГА СЛЕПЫХ. Повесть

НОВОЕ ИМЯ: ЮРИЙ БАТЯЙКИН
ДО ВСТРЕЧИ НЕ В ЭТОМ МИРЕ. Стихи

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА: РОМЕН ГАРИ
ЕВРОПЕЙСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ
БЛОК И ЕГО МАТЬ

8 ' 1991



СОГЛАСИЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

№8. АВГУСТ 1991 ГОДА.

МОСКВА. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС «МИЛОСЕРДИЕ»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Борис Чичибабин

НОВЫЕ СТИХИ

3

Леонид Шорохов

ДОРОГА СЛЕПЫХ. Повесть

8

Новое имя: Юрий Батяйкин

ДО ВСТРЕЧИ НЕ В ЭТОМ МИРЕ. Стихи

85

Юрий Стефанов

НОВЕЙШИЙ СОННИК

93

Дмитрий Стрешнев

ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ДИКОЙ СЕРНЫ. Рассказ

122

Игорь Селезнев

ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНЬЯ. Стихи

140

Людмила Штерн

РАССКАЗЫ

145

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Ромен Гари

ЕВРОПЕЙСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

150

ПУБЛИЦИСТИКА

Алла Кторова
НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ
156

СЛОВО И ВРЕМЯ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ.

Иванов-Разумник
ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА
166

Владислав Ходасевич
БЛОК И ЕГО МАТЬ
173

Кн. Сергей Щербатов
ХУДОЖНИК В УШЕДШЕЙ РОССИИ
179

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Алла Марченко
СОВЕРШЕННО СУБЪЕКТИВНО
199

ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

Анни Шмидт
ВЕДЬМЫ И ВСЕ ПРОЧИЕ
207

Подписано к печати 27.08.1991г.
Формат 70х108 1/16. Гарнитура «Таймс». Печать высокая.
Физ. печ. л. 14. Тираж **5 000** экз. Заказ № 336 Цена 1 руб. + 20 коп.
Московская типография №13 ПО «ПЕРИОДИКА»,
107005, Москва, Денисовский переулок, 30.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.
Телефоны: главный редактор — 235-15-56,
первый заместитель главного редактора — 235-14-00,
отделы прозы, поэзии, критики, публицистики — 235-14-10

Оформление М. Б. Патрушевой
Корректоры Кокорина Е. А., Попова Ю. Е.

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Борис ЧИЧИБАБИН

НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Не идет во мне свет, не идет во мне море на убыль.
Протираю глаза с камышовой дудкой во рту, —
и клеймо упыря не забывший еще Мариуполь
все зовет меня в даль за свою городскую черту.

И пойду я на зов, и доверюсь Чумацкому Шляху,
и постигну поселки, где с екатерининских пор
славил Господа грек и молился татарин Аллаху
и где тварь и Творец друг на друженьку смотрят в упор.

Жаркий ветер высот разметал бесполезные тучи.
Известковая скудь, мое сердце принять соизволь.
Эти блеклые степи предсмертно сухи и пахучи,
к их земле и воде примешалась азовская соль.

Я от белого солнца закутался Лилиной шалью.
На железных кустах не приснится ни капли росы.
В пересохших лиманах прощаю с виной и печалью
улетающих ласточек с Белосарайской косы.

Здесь кончается мир. Здесь такой кавардак наворочен.
Здесь прикроешь глаза — и услышишь с виной и тоской
тихий реквием зорь по сосновым реликтовым рощам.
Здесь умолкли цветы и судьбой задохнулся изгой.

Чтоб не помнили зла и добром отвечали на зло мы,
к нам нисходят с небес растворившийся в море закат,
тополиных церковей византийские зримые звоны
и в цикуте Сократа трескучая россыпь цикад.

Эти поздние сны не прими, ради Бога, за явь ты.
Страшный суд подошел, а про то, что и смерть не беда,
я стихи написал на песках мариупольской Ялты, —
море смыло слова, и уплыли они в никуда.

* * *

В лесу, где веет Бог, идти с тобой неспешно.
Вот утро ткёт паук — смотри не оборви.
А слышишь, как звучит медлительно и нежно
в мелодии листвы мелодия любви?

По утренней траве как путь наш тих и долог, —
идти бы так всю жизнь, куда не знаю сам.
Давно пора начать поклажу книжных полок
и — в этом ты права — раздаривать друзьям.

Нет в книгах ничего о вечности, о сини,
как жук попал на лист и весь в луче горит,
как Моцарту в ответ вибрируют осины,
что белка в нашу честь с орешником творит...

А где была любовь, когда деревья пахли
и сразу за шоссе кончались времена?
Она была везде, кругом и вся до капли
в богослуженье рос и трав растворена.

Какое счастье знать, что мне дано во имя
твое в лесу твоём лишь верить и молчать!
Чем истинней любовь, тем непреодолимей
на любящих устах безмолвия печать.

СУДАКСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Восточный Крым, чья синь седа,
а сень смолиста, —
нас, точно в храм, влекло сюда
красе молиться.

Я знал, влюбленный в кудри трав,
в колосьев блестки,
что в спорах с радостью не прав
Иосиф Бродский.

Но разве знали ты и я
в своей печали,
что космос от небытия
собой спасали?

Мы в море бросили пятак —
оно — не дура ж, —
чтоб нам вернуться бы в Судак,
в старинный Сурож.

О, сколько окликов и лиц,
нам не знакомых,

у здешней зелени, у птиц
и насекомых!

Доверясь общему родству,
 постиг, прозрев, я,
что свет не склонен к воровству,
 не лгут деревья.

Росли пахучие кусты
 и реял парус
над краем памяти, где ты
 со мной венчалась.

Все пело любящим хвалу,
 и, словно грезясь,
венчая башнями скалу,
 чернела крепость.

А помнишь, помнишь: той порой,
 за утром следом,
мы шли под Соколом-горой
 над Новым Светом?

А помнишь, помнишь тайный скит,
 приют жар-птицын,
где в золотых бродильнях спит
 колдун Голицын?

Да, было доброе вино,
 лилось рекою, —
я целовал тебя в лицо,
 я пил другое...

В разбойной бухте, там, где стык
 двух скал ребристых,
тебя чуть было не настиг
 сердечный приступ.

Но для воскресших смерти нет,
 а жизнь без края —
лишь вещий зов, да вечный свет,
 да ширь морская!

Она колышется у ног,
 а берег чуден,
и то, что видим, лишь намек
 на то, что чуем.

Шуруя соль, суша росу ль,
 с огнем и пеной
лилась разумная лазурь
 на брег небренный.

И, взмыв над каменной грядой,
изжив бескрылость,
привету Вечности родной
душа раскрылась!

* * *

Мы с тобой проснулись дома.
Где-то лес качает кроной.
Без движенья, без желанья
мы лежим, обнажены, —
то ли ласковая дрёма,
то ли зов молитвоклонный,
то ли нежное касанье
невесомой тишины.

Льются капельки на землю,
пьют воробышки из лужи,
вяжет свежесть в бездне синей
золотые кружева.
Я, не вслушиваясь, внемлю:
на рассвете наши души
вырастают безуильно,
как деревья и трава.

Уплывают сновиденья,
брезжут светы, брызжут звуки,
добрый мир гудит как улей,
наполняясь бытием,
и, как до грехопадения,
нет ни смерти, ни разлуки, —
мы проснулись, как уснули,
на диванчике вдвоем.

То ли небо, то ли море
нас качает, обнимая,
обвенчав благословеньем
высоты и глубины.
Мы звучим в безмолвном хоре,
как мелодия немая,
заворожены мгновеньем,
друг во друга влюблены.

В нескончаемое утро
мы плывем на лодке утлой,
и хранит нас голубое,
оттого что ты со мной.
И, ложась зарей на лица,
возникает и творится
созидаемый любовью
мир небесный и земной.

РЕСПУБЛИКАМ ПРИБАЛТИКИ

Вы уже почти потусторонние, —
вам еще слышны ль мои слова,
Латвия моя, моя Эстония
и моя медвяная Литва?

Три сестры в венечном белоночии,
что пристало милым головам,
три беды мой стих уполномочили,
чтоб свечой над кровью горевал.

Я узнал вас запоздно да вовремя,
в середине избранной судьбы,
и о том, что вольность ваша поправа,
с той поры ни разу не забыл.

Перемогший годы окаянные,
обнесенный чашей на пиру,
вольный крест вины и покаяния
перед вами на душу беру.

Слава вам троим за то, что первые
вышли на распутье времен
спорить с танкодавящей империей,
на века ославленной враньем.

Да прольется солнце светлым гением
к вам в окошки, в реки, в озера.
Лишь любовью, а не принуждением
вяжутся и движутся сердца.

Только в ней останутся сохранными,
как строка, что в память возжена,
города граненые с органами,
моря шум и сосен вышина.

Я люблю вас просто, без экзотики,
но в чужом родное узнаю.
Может быть, свободой вашей все-таки
озарю под вечер жизнь мою.

Может быть, все как-нибудь устроится
и, святыни вечные суля,
нам с любимой, любящим, откроется
прибалтийской троицы земля.

Сколько б ни морозилось, ни таялось,
как укор неверцу и вралю,
вы сошлись во мне, и никогда я вас
не отрину и не разлюблю.

Леонид ШОРОХОВ

ДОРОГА СЛЕПЫХ *

Повесть

1

Говорят, мол, Бог, Бог, а что Бог? — невезучему и Бог не помощник — три года скупился Вседержитель подарить ребенком молодую семью Самариных. Первый год несчастье не ощущалось. Молодой муж был пьян молодой женой, Марина любила Сергея, как любят только в девятнадцать — бездумно и безоглядно.

Сергей охудал, джинсы на поджаром заду повисли мешочком, опившиеся счастьем карие глаза смотрели слепо, опухшие от поцелуев губы ласково улыбались неведомо чему — кореша по работе только завистливо жмурились, когда молодожен в пятнадцатый раз за смену посматривал на часы. Слесарь Байабадского ремзавода Самарин после женитьбы превратился в буквоеда и законника, ревностного борца за КЗоТ.

— Серег, да задержись на полчаса, — уламывал мастер участка, придерживая за локоть спецовки рвущегося к выходу из цеха слесаря. — Тут делов-то всего чуть, ну будь же ты человеком, Самарин!

Сергей решительно выдергивал рукав робы из назойливых рук.

— Не могу, Петрович, хоть зарежь. Дома дел навалом. Кого из ребят попроси. И опять же, об чем речь, время сколько?!

Он нырял в раздевалку и через пять минут шустро проскакивал проходную, в своих потаенных мыслях Сергей был уже дома, и горячие руки жены обнимали его...

После года семейной аркадии Самарины забеспокоились. Марина не беременела, хотя все мыслимые сроки давно прошли. Гинеколог, крупный седоватый мужчина, недоуменно пожимал плечами:

— Внешне все в норме. Видимых отклонений нет. Проведем еще микроскопические исследования, может быть, они что-нибудь покажут.

Однако исследования ничем не помогли зачатию новой жизни — ответа на проклятый вопрос не оказалось и у прецизионной техники.

— Бывает, — утешал врач. — Подождем еще некоторое время, понаблюдаем. Если ничего не изменится, будем решать, что делать.

В доме Самариных поселилась тревога. Бог весть, кто причина беды. Виноватыми чувствовали себя оба. Особенно переживал Сергей. Что за семья без ребенка?

Еще и теща постоянно подсаливала кровоточащую рану: Сергей прекрасно представлял, как она нашептывает опечаленной дочке:

— А-а-а, что я говорила? Кто прав оказался? Говорила — не будет тебе с ним счастья, говорила? Не послушала мать, вот теперь и казнишься. Ни на что твой слесаришка не годен.

2

Нина Ивановна не переваривала зятя. Единственная кровинка Мариночка с детских лет была красотуля и умничка. С семнадцати от женихов не стало отбоя — точеная дочкина фигурка, как магнит, притягивала мужские взоры. За два Мариночкиных девических года (от окончания школы до увесистого шлепка загсовского штампа) Нина Ивановна извелась вконец — как бы не прогадать и не продешевить!

* Журнальный вариант.

Сватались четырежды, и люди, за которых бы Нина Ивановна не только что дочь отдала, а и сама пошла бы с безотказным удовольствием, будь она, конечно, лет эдак на двадцать пять помоложе. Но неизвестно в кого зазнавшаяся дочурка отвергала одного кандидата за другим. Не подошел ей ни мастер из третьего жэка (трехкомнатная секция в доме улучшенной планировки, четыреста двенадцатый «Москвич», в перспективе — начальник жэка, правда, выпивал Василий маленько), ни шофер с большегруза, ходившего чуть ли не до полюса в дальние рейсы. Почти «кусок» в месяц заколачивал парень. Нина Ивановна, с намернувшейся невольно слезой, долго и безутешно разглядывала принесенные им (в подтверждение серьезности расположения) бухгалтерские квиточки о зарплате: в одном только ноябре Игорьку закрыли — груз в оба конца, под завязку и с перегрузом, два плеча пристегнуто к дороге, КамАЗ шел аж до самого Новосибирска — за восемьсот рублей!

Но Мариночка не захотела и слышать ни о вожде паспортисток и сантехников, ни о пропащем насквозь соляжкой «дальнобойщике».

— Не в деньгах счастье, — вздернув хорошенький носик, объявила она матери.

Нина Ивановна едва сдержала вспыхнувшее порохом жгучее желание щелкнуть, как бывало в детстве, костяшками пальцев по глупому, гладенькому дочкиному лобику. Но товар был дорог. Даже намек на порчу допускать не следовало — а ну как пойдут к голубеньким височкам гусиные лапки морщинок от зареванных по никчемному пустяку Мариночкиных глазок?

И Нина Ивановна подавила праведное желание. Только и сказала:

— Если не в деньгах, то его и вовсе нет.

Но поворотить дело в нужную сторону не удалось, скрепя сердце, пришлось Игорьку от дома отказать.

От третьего жениха Нину Ивановну едва не разбил инфаркт.

Вечером Мариночка что-то слишком долго крутилась у зеркала. Нина Ивановна подозрительно поглядела на французские глаза дочки (флакончик этой резко пахнущей косметики стоил матери половины зарплаты) и спросила:

— Куда это ты на ночь глядя так налаживаешься?

Дочка дернула круглым плечиком.

— Сегодня к нам на чай придет Анатолий.

— Это кто же? — насторожилась Нина Ивановна.

— Мы недавно повстречались, — независимо, будто так и должно быть, отозвалась дочка. — Вот, хочет с тобой познакомиться.

— Ну что ж, это хорошо, — раздумчиво протянула Нина Ивановна.

Намерения, видно, у парня серьезные, раз не тянет Мариночку зажиматься по темным углам. Только кто он такой и чем может составить дочкино счастье?

— Кем работает? — осторожно поинтересовалась Нина Ивановна.

— Инженер-конструктор, — ответила Марина, и Нина Ивановна так и подпрыгнула на месте.

Одного на свете боялась она пуще огня — жениха-инженера. Долго ли какому-нибудь очкастому университетскому выпускнику заморочить кудрявую дочкину головку? А что потом? А потом хоть волком вой, хоть караул кричи.

Нина Ивановна всю жизнь проработала в заводской лаборатории и нагляделась на инженеров. Только зубами щелкают, как голодные волки, да чепуху лопчут на чудном, с человеческим не сходном языке: производство, технология, квалификация...

А что производство? Производство и до них крутилось и после них не останется. Технологии тоже от инженерных лепетаний ни жарко, ни холодно. Ну а насчет квалификации и совсем грех — учили их, учили самые наиглавнейшие профессора долгие годы, а вгучили на смех людям — сто целковых в месяц зарабатывать (то есть только что на хлеб), вот оно и видно, какая у инженеров на самом деле квалификация.

Слово, вроде, мудреное, а просто расширявается.

Сто рубликов в месяц — это ведь с шапкой на углу улицы стоя больше набрать можно, своего жилья сроду не видать, прежде чем в большие начальники не выбьешься, ну а куда выбьешься...

Э-э-эх... много больших начальников перевидала Нина Ивановна, хорошо она знала, когда молодого паренька назначают на руководящую должность: когда песок из него начинает сыпаться. Ждать-пождать того кресла, так всю жизнь и прождешь. Что ж дочке зазря жизнь гробить, отказывать себе в самом необходимом и считать пяточки на автобус?

— Мариночке такое ни к чему, — решительно восстала Нина Ивановна, — с ее фигуркой и поумнее жизнь устроить можно.

Анатолий действительно оказался очкариком, весьма озабоченным (как медленно выяснила Нина Ивановна) повышением производительности труда конструкторов. Нина Ивановна, не стесняясь, тут же перевела разговор на семейную тему.

— С милой рай в шалаше, — застенчиво улыбнулся будущий зять.

— Во сколько же метров тот шалаш? — напирала Нина Ивановна.

— Нам с Мариночкой много не нужно, — разговорился «зятек», — сколько дадут, на том и спасибо.

— И когда это «спасибо» будет? — полюбопытствовала будущая теща.

— Обещали через два года.

— Вот тогда и подойдете на следующий чай, — отрезала Нина Ивановна. — У меня тут не ресторан и не общежитие.

Инженер, натужно улыбаясь, притих. Дочка сморщила носик, но Нина Ивановна твердо поставила вещи на их законные места.

— Мариночке еще год учиться в музучилище. Ваш заработок известно какой. Жилья нет. У меня жить не рассчитывайте, я еще сама не такая старуха, чтоб забыть собственную жизнь устроить. Пойдут дети — куда денетесь? Совесть надо иметь, молодой человек! Работайте, получайте квартиру, хорошую зарплату, тогда и поговорим. А теперь извините — засиделись. Мариночке заниматься пора.

Инженер исчез.

Прошло время. Следующим посватался юрист из общепита, видный лысоватый мужчина. Нина Ивановна даже несколько оробела: чувствовалась в женихе птица высокого полета. Нечего и сомневаться, что Мариночка устроилась бы за правоведем, как за каменной стеной.

Юрист работал в четырех местах сразу, а алименты на троих своих детей платил с одной полставки. Дефицит сам собой шел в его руки. Кроме того, юри-сконсульт был весьма обходителен с женским полом, что сулило вдвое моложе жене его в дальнейшем полную власть над утомившимся в амурных авантюрах сластолюбцем.

— Нужен мне больно этот лысый старикашка! — фыркнула Марина.

Нина Ивановна пыталась было объяснить глупенькой дочке, что разница в супружеском возрасте, превышающая четверть века, лишь способствует женскому счастью и лишь в мужчине после сорока лет можно разглядеть, что перед тобой. И что мужика в дом берут не для одних только утех, а в основном для подведения прочной материальной базы под означенные утехы, которых после решения главного, финансового вопроса можно будет иметь сколько хочешь на стороне, и что...

Да мало ли еще чего нужно было внушить непокорной дочери, но та отпарировала:

— Тебе хорош — ты за него и выходи. Сама же говорила, что свою жизнь устроить не против. Он, мамочка, по возрасту тебе больше подходит.

Нина Ивановна только рукой махнула. «Я бы вышла, — невольно подумала она, — да разве орел на мокрую курицу позарится? Этого лысого кобеля сразу видать, каков он есть, ему и в двадцать лет девица — перестарок. Самой свежатинки подавай». Мать отступилась от дочери и на этот раз.

От восемнадцати до девятнадцати Мариночкиных лет образовался в сватовствах пробел. То ли женихи приуныли от несурзных запросов — и красивый, и

молодой, и умный, и образованный, и денежный — поодиночке, конечно, встречались, но вот чтоб все совпало...

Непонятный перерыв напугал Нину Ивановну. Мать с удвоенным вниманием вглядывалась в дочкино личико — не подурнела ли Мариночка, спаси Христос, не изрослась ли? Нет, дочка к великой материнской радости все больше походила на спелый персик.

Байбад! Вот, видимо, в чем была загвоздка. Байбад — это тебе не столица или хотя бы областной город. Всего лишь райцентр. Трудно ожидать обилия сказочных принцев в таком, прямо сказать, не сказочном месте.

Нина Ивановна тяжело вздыхала. Надо ждать.

3

Кто в Байбаде не знает потомственных мясников Икрамовых? Семья, насчитывающая четыре поколения рыцарей разделочного топора и дубовой плахи, долгие годы ютилась в саманном домишке на берегу Улак-арыка. В далекие, кажущиеся теперь сказочными, годы, когда мясо еще свободно лежало на прилавках государственных магазинов и продавалось в кооперативных ларьках по цене хоть сколько-то соотносимой с заработками горожан, Икрамовы ничем особенным не выделялись из широких народных масс.

В небольшом деревянном ларечке на берегу Улак-арыка проводил свои дни в ленивом бездействии Икрам-ота, представитель третьего поколения мясной династии. Большую часть дня он скучал. Народ мясо брал, но брал вяло, лениво — государственные магазины своими бессовестно низкими ценами в зародыше убивали любую частную инициативу.

Однако небольшой кружок покупателей, любителей парной баранины и свежей печенки, все-таки сложился. Икрам-ота, завидев клиента, прикладывал руки к груди, кланяясь несколько театрально.

— Жирного барана только что освежевал. Заходите, пожалуйста, уважаемый, выберите кусочек по сердцу.

Покупатель млея от ласковой услужливости продавца и милостиво соглашался взглянуть на мясо. Икрам-ота недовольно вздыхал после ухода покупщика. Взял, что украл. Лучший кусок вырезал из тушки. А косточку и положить не смей. Какой тут навар будет? Одни убытки от такой торговли. Впрочем, он тут же спохватывался. Грешно жаловаться на судьбу. Благословен Аллах, уделяющий нам от щедрот своих толику добра. Нельзя искушать беспредельное терпение Всемилостивого и Всемогущего. Икрам-ота быстро бормотал про себя подходящую к случаю суру из Корана и успокаивался. Все в воле Божией. Аллах не допустит гибели своих сыновей. Иншалла.

Вздыхать было отчего. Во дворе домика подрастало четвертое поколение Икрамовых. Слава Аллаху — Бог не обходил милостями семью Икрам-оты. Счастливый отец сбился со счета, встречая со слезами радости на глазах очередное пополнение своего многочисленного потомства. Бог дарил Икраму-оте то сына, то дочь, чередуя одиночные милости с двойными. Счастливый отец кричал и радовался, радовался и кричал. Последний сынишка, с завидной неизбежностью появившийся в зыбке, получил уже многозначительное имя «Тохта», что значит «Стой»!

Впервые удача заглянула в кибитку Икрам-оты, когда старшая дочь Гюльсара первой из его многочисленных отпрысков навсегда покинула родительский дом. Она ушла на просторный двор райса — председателя махаллинского комитета уважаемого Саттар-ака Аширова.

Аширов-младший, Махмуд, вернулся недавно из армии, набравшись там, к великому неудовольствию отца, новомодного духа. Первым делом парень натянул на ноги синие штаны в обтяжку, перекинул через плечо ремешок переносного магнитофона и пошел до утра пропадать на улице.

Саттар-ака догадывался, откуда пошла зараза. Он долго, с пристрастием допрашивал Махмуда: заставляли ли его в военной службе есть свинину и не осквернился ли он (спаси Аллах!) мясом нечистого животного? Махмуд клялся,

что не осквернился, хотя свинина, точно, и появлялась на армейском столе. Старик Аширов недоверчиво качал головой. Было старое, проверенное средство против всякого баловства: Саттар-ака решил женить Махмуда.

У соседа как раз имелась дочка на выданье. Семнадцатый год пошел девчонке, самый персик, еще чуть протяни время, и попадет в перестарки. Правда, будущая родня не из важных людей, всего-навсего мясники, но старик Икрам-ота правильно воспитывал детей — ни один его парнишка не смел рта открыть в присутствии старших, девчонки были в работе по дому с утра до темна, сам Икрам-ота каждую пятницу просеивал в мечети накопившиеся за неделю грехи сквозь мелкое сито покаянных молитв, так что можно было надеяться, что будущая сноха придется к месту в райсовом доме.

Аширов не пожалел денег на свадьбу, Икрам-ота также не ударил в грязь лицом. Три дня на широком райсовом подворье и в тесном дворике мясника гуляла вся махалля. Люди остались довольны — старинные обычаи не были нарушены даже в мелочах.

— Аллах воздаст этим щедрым людям за их богобоязненные сердца, — говорили, расходясь с тоя, старики.

Предсказание их, похоже, начинало оправдываться. Дочь устроили хорошо.

Через год после рождения у Гюльсары ребенка забрали в армию близнецов — Хусана и Хасана. Отслужив, Икрамовы вернулись домой с гладко обкатанной в круглых стриженных головах задумкой. Услышав ее, Икрам-ота пошел посоветоваться к свату. Раис задумку одобрил и обещал посодействовать парням. Через неделю он сказал Икраму-оте:

— Начальник велел передать: «хоп!» И еще велел передать, что на некованом жеребце далеко не ускачешь.

Икрам-ота понимающе покивал головой.

— У молодых джигитов дорога дальняя, — задумчиво произнес он. — Без надежных скакунов ее не одолеть.

Раис усмехнулся в седые усы и протянул свату пиалу зеленого чая, вежливо позванивая по фарфору в знак приглашения плоским ногтем. Вечером Икрам-ота принес в дом свата небольшой сверток. Аширов молча опустил его в необъятный карман.

Прошла еще неделя. Утром Аширов заглянул к Икраму-оте и велел близнецам через час быть в указанном месте. Близнецы дисциплинированно щелкнули голыми пятками.

Вечером Икрам-ота, прицокивая языком, разглядывал заважничавших сыновей. Во дворе кибитки было тесно от сбежавшихся соседей. До чего идет Хасану милицейская форма!

— А Хусану? — вступилась мать, Иноят-биби.

— Про Хусана и говорить нечего, — утирал невольную слезу счастливый отец.

Хасан занял пост у «Зеравшана». Хусанов участок обхода включал в себя городской мясокомбинат. Два месяца потребовалось Хусану для ознакомления с должностью. К концу этого срока Раим, следующий за близнецами сын, начал работать на мясокомбинате. Парень пришел из армии с правами водителя третьего класса, и будь он чуть поглупее, так уж пахал бы в автобусном парке, но Раим оказался малый не промах — сладкий запах протекающего рядом с носом денежного ручейка заставлял нервно вздрагивать его широкие ноздри.

По протекции Хусана он устроился на мясокомбинат водителем дряхлого самосвального «газона», отвозившего на городскую свалку отходы. Через год Раим пересел за руль мясного фургона, развозившего продукцию предприятия по магазинам. Директор мясокомбината уже начал кивать ему при встречах головой в ответ на низкий поклон Раима. Парень показал себя хорошо — видел много, говорил мало, не размышляя делал все, что прикажут. Раима оформили по совместительству экспедитором. Это было доверие, да что там, это было выше, чем доверие, — Раим становился нужным человеком у больших людей.

Икрам-ота пожертвовал барана на украшение мечети. Парень шел по жизни, как нож по бараньему горлу. Как тут не вознести благодарение небесам?

Фархада, только что кончившего десятилетку, милицейские братья пропихнули к себе в райотдел электриком, а уж оттуда он почти на законном основании перекочевал со временем на мясокомбинат. Должность его была очень важная и нужная для семьи Икрамовых — Фархад стал вахтером у главного входа мясного царства.

Тут как раз к Саере посватался кое-что смекнувший молодой сменный мастер из забойного цеха. Икрам-ота, выслушав сватов, остался довольным. Очень правильно понимал жизнь кандидат в зятя. Смотри-ка, выходит, и институт ума не отнимает. Предложение было благосклонно выслушано и принято. Девчонку отдали забойному мастеру. Жизнь разворачивалась перед Икрамовыми сверкающей атласной курлачой.

Адыла отец держал при себе. Парнишка с детства выказывал большие способности к торговому делу. А почетней занятия, чем торговать, Икрам-ота не мог себе и представить. Да не помянется имя Господа всуе, но и пророк в свои молодые годы служил приказчиком у богатой вдовы. Икрам-ота набожно поднимал глаза к небу. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит, имеющий разум да поймет!

Постепенно Икрам-ота стал проводить все больше и больше времени в чайхане, стоявшей на том же Улак-арыке, через дорогу от мясного заведения Икрамовых. Сонно восседая на айване над журчащей водой, Икрам-ота делал глоток другой кок-чая из маленькой белой пиалы и нет-нет да бросал взгляд в сторону торгового места, которому отдал без малого сорок лет своей нелегкой жизни.

У открытой витрины протянулась длинная (слава Аллаху, — сладко вздыхал Икрам-ота) очередь покупателей. Мелькало лезвие ножа, стучали о тарелки весов чугунные гири, и круглая Адылова голова возвышалась над широким прилавком. Сын умел торговать. Он не делал ни одной ошибки.

Слева на крюке висела баранья туша, справа полтуши, на дубовой плахе лежал кусок бедра, на цинковом листе возле весов громоздилась грудка крупно порубленных костей. Адыл управлялся ножом и топором не хуже, чем опытный закройщик ножницами и иглой. Он мазнул лезвием по правой туше, по левой, метнулся к плахе, ударил топором, на лету подхватил падающий кусок мяса, зацепил мосол из жестяного противня и, мигом обернув кость, жилы и пленки в мясную упаковку, бросил образовавшийся пудинг на весы. Чашки дернулись, покупатель моргнул, а в следующее мгновение Адыл уже заворачивал покупку в бумагу.

— С вас двенадцать сорок, дорогой. Ничего, ничего, не ищите мелочи. Занесете в другой раз. Следующий. Вы на что берете, уважаемый, на плов или шурпу?

На свежей красноте парного мяса толпились пригоршни ос. Они выедали в пластах мякоти, облитой белыми потоками жира, глубокие круглые оспины и длинные лунки. Адыл небрежно смахивал ладонью трудовых животных. Болливый покупатель пошутил:

— О, Адыл, смотри, съедят тебя осы.

Мясник усмехнулся.

— Домашний зверь хозяина не кусает. Зачем съедят? Я же их кормлю. Смотрите, чтобы вас самого не съели.

...И довольно захохотал над незадачливым шутником.

Икрам-ота залюбовался сыном. Можно и умирать со спокойной совестью. Дело переходит в надежные руки. Впрочем, неплохо и пожить еще. Все в воле Аллаха. Иншалла.

Он повернулся к чайханщику и постучал ногтем по пузатому боку чайника. Чайханщик склонился в понимающем полупоклоне.

К девятнадцати годам Адыл уравнился в высоту и ширину. Фигура его приобрела квадратные очертания. Тутие веревки мускулов оплели руки и грудь.

Время от времени он захаживал к родственникам на мясокомбинат и выпивал в забойном цеху пиалу-другую свежей крови. Адыл мечтал стать сильнее всех в городе, даже сильнее забойщика Ахмада, в одиночку подымающего с земли коровью тушу. Впрочем, до Ахмада ему было пока еще далеко.

— Конечно, — завистливо вздыхал Адыл, — бригадир дует кровь каждый день и не пиалой, а кружкой, еще бы ему не набрать силы.

Ахмад смеялся:

— Не в крови тут дело, бола. Меньше девок надо портить по темным углам — вот в чем секрет.

Ахмад хитро подмигивал крохотным глазом:

— С кем сейчас гуляешь, с Зухрой из шестого магазина? Хороша, хороша девушка. Уступил бы мне, глядишь, силы бы и сберег!

Он доставал из кармана тыквочку с насваем и, вытряхнув на широкую ладонь щепотку зеленой крупки, бросал ее под язык. Адыл круто поворачивался и уходил. Не было сил терпеть похвалы забойщика. Адыл решил ещё выпивать ежедневно по пиале курдючного жира. Ничего, ему только девятнадцать, а Ахмаду сорок — посмотрим, кто чего будет стоить через пять лет!

Подошло его время уходить в армию.

Но как раз весной этого года Раим наконец получил желанный мясной фургон. Он начал развозить по городу мясо. Неприметная серая колымага делала первую остановку на Улак-арыке. Мостки через арык пришлось расширить. Раим задом подгонял машину к двери ларька и глушил двигатель. Проходило пять минут. Экспедитор заводил мотор и неспешно отъезжал. Теперь можно было спокойно обеспечивать остродефицитной продукцией государственные торговые точки.

Адыл стал нужен в ларьке позарез. Сил у Икрама-оты уже не столько, чтоб в полчаса разделать на плахе привезенные Раимом левые туши. Управиться без сына было невозможно. А тут армия. Икрам-ота поразмыслил: четверо его сыновей поели армейской каши. Хватит, решил старик. Армия армией, семья семьей.

Второй сын свата, Аширова, служил в военкомате. Пришлось навеститься к старику по деловому вопросу. Раис вновь покивал головой и привычно рассказал хорошо знакомую Икраму-оте историю про некованого коня.

Икрам-ота важно моргнул. Теперь он мог при необходимости обеспечить бесстыжего скакуна серебряными подковами. Посидели по-родственному, попили кок-чая. У обоих стариков было уже по полдюжины внуков. Но еще приходилось, забыв о покое, решать дела молодых. Что она стоила, эта молодежь, без стариковского пригляда.

Адыл получил годовую отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам (на руках оказались беспомощные родители), на следующий год другую, уже по состоянию собственного здоровья (родной брат второго зятя Икрама-оты работал терапевтом в городской поликлинике), а потом был комиссован как непригодный к службе в строю абсолютно больной человек. Шурин выявил у Адыла органический порок сердца, препятствующий ношению оружия. Адыла перевели в запас.

За три года конвейер левого заработка был отлажен, как часы, и после счастливого прояснения воинского вопроса заработал на полную мощность. Хашим в забойном цеху, Фархад на вахте, Раим за рулем, Хасан и Хусан на страже, Адыл в ларьке — ворованное мясо потекло неудержимым потоком.

5

Икрам-ота с каждым годом все больше худел и сгорбливался. Дети один за другим покидали родительское гнездо. Старик совсем отошел от дел. Вместо заносенной тубетейки его зеркально выбритую голову украсила большая белая чалма. Икрам-ота нынче пользовался в махалле почетом не меньшим, чем недосягаемый раньше сват. Походка его стала медлительной и важной. Все больше времени он проводил в мечети.

Встрепенулся старик только тогда, когда на пятый год единоличного управления ларьком Адыл затеял перестройку лавки. Икрам-ота взволновался необычайно. Еще бы, ведь ларек исправно служил семье со времен деда Икрама-оты, а тут вдруг перестал быть хорош наследнику. Старик неодобрительно качал головой. Много воли взял повзрослевший сын. В его годы Икрам-ота не смел и думать о такой опасной самостоятельности. А ведь Адыл даже не был еще женат! Безобразие — двадцать пятый год шел парню. На что это похоже?

Иноят-биби прожужжала мужу все уши:

— В нашем роду такого еще не было, чтобы мужчина к двадцати пяти годам не имел наследника, а то и двух. От людей стыдно. Вся махалля гадает — что такое с Адылом? Уж не болен ли он? А вы о чем думаете? К таким годам не дело мужчине оставаться одному. А какие невесты есть! Объедение, а не девушки. И из каких почтенных семей!

Старик бурчал в ответ что-то невразумительное. Он не хотел самому себе признаться, что несколько робеет перед удачливым сыном. Адыл заворачивал такими деньгами, какие Икраму-оте и не снились. Старик никогда и не мечтал о подобном размахе торговли. Это вызывало невольное почтение. Сын оставил далеко позади скромные отцовские горизонты. Где уж тут лезть с советами?

Икрам-ота догадывался, что Адыл неспроста не заводит разговора о жеманстве. Раз уж сын шел на столь явное нарушение старинных обычаев, значит, на уме у него было что-то очень уж хитро задуманное, соображал старик. Какой-нибудь блестящий ход, сразу выводящий Адыла в самый верхний городской круг. Туда, где надувались важностью завмаги, директора баз, ревизоры финотдела, жилтрестовские начальники. А вдруг Адыл метит еще выше? Вот, скажем, у директора мясокомбината дочка заканчивает десятый класс — а ну как хозяин городского мяса обратит свое благосклонное внимание на среднего Икрамова? Райм ведь свой человек в его доме, значит, и Адыл безбрызгивает! Икрам-ота не рисковал вмешиваться в захватывающие дух Адыловы планы.

И вот перестройка ларька! Зачем? Байбабад за десятилетия привык к саманной мазанке на берегу Улак-арыка. Еще отпугнешь покупателей новомодными выдумками.

Адыл вежливо улыбался. Отец не вполне схватывал изменившуюся конъюнктуру. Прошли времена, когда покупателя надо было чуть ли не силой тащить к мясному магазину. Государственные магазины были пусты.

Отлаженная связь: мясокомбинат — ларек функционировала без малейших перебоев. Свойка вырос в начальники забойного цеха. Теперь он имел дело не с одним Адылом. Но Адыл специализировался на самом выгодном мясе, на бараньем. Основная его клиентура состояла из людей, которые никогда бы больше не подошли к Адыловой лавчонке, узнав, что в ней продан кусок свинины. Пропускной способности старой саманной клетушки стало не хватать, — крупные партии товара негде складировать, а привозить ежедневно по одной тушке невыгодно. Баранина не залеживалась и часу. Весь старый город покупал мясо у Адыла. Райму поневоле приходилось делать за день две, три ходки на Улак-арык. Экспедитор забастовал.

— Привезешь тушку, а люди говорят — машину мяса сгрузил, — с горечью жаловался он. — Надо что-то придумать. Больше я по полдня у ларька стоять не могу. Долго ли до беды.

Адыл призадумался. Он и сам видел, что брат прав. Да и санэпидстанция все время придиралась к похилившемуся строению. Там, здесь стена осыпается. Водопровода нет, грязь, крысы. Каждая такая придирка обходилась ему килограмма в три мяса. Дорого. Надоело. Адыл решил предпринять кардинальные меры.

На тихий Улак-арык пошли рычащие самосвалы с кирпичом и цементом. Заскрежетал по асфальту бульдозер. Вся махалля захохла. Видали, что затеял мясников парнишка? Спокон веку старый ларек верой и правдой служил махалле, а тут вдруг разонравился молодому мяснику! И куда только отец смотрит? Неженатый парень, а ведет себя полным хозяином.

Икрам-ота только ежился, слушая в пересказе Иноят-биби последние махаллинские сплетни. Стали раздаваться и другие голоса. Некоторые даже одобряли Адыла. Парень резко расширял отцовское дело. Есть хватка. Да, завидный жених. Многие были не прочь породниться с Икрамом-отой. Старик оживился, повеселел. Чайхана опять стала его родным домом.

Через две недели саманная развалюшка исчезла с земли начисто. За один день рабочие выкопали траншею и залили бетоном фундамент. На четвертый день опалубку сняли и начали подымать стены. Новая мясная палатка состояла из двух комнат — просторного торгового зала с широким проемом-окном для продажи и небольшой подсобки, вдоль стен которой шли обитые оцинкованным железом помосты. Стены обложили кафелем. На высоте поднятой руки в кладку заделали куски рельсов. На рельсы наварили большие кованые крюки. Бетонные полы выложили метлахской плиткой. Установили три магазинных холодильника. Адыл остался доволен. Наконец-то все сделано по его вкусу.

Отец зашел в новый ларек и изумленно открыл рот.

— Вах, вах, — сказал он, — шахский арк, а не ларек.

Потом помялся и робко спросил:

— Наверное, дорого все обошлось, сынок?

— Ни о чем не беспокойтесь, отец, — ответил Адыл почтительно. — Все расходы я беру на себя. Вам не надо тратить семейных денег.

— Так, так, хорошо, — согласился довольный Икрам-ота. — А ты не забыл пожертвовать в мечеть, чтоб начинание твое было счастливым, сынок? — строго спросил он.

— А как же? — поклонился молодой мясник. — Я всегда помню, чему вы меня учили, отец.

— Ну, с Богом, — одобрил сына Икрам-ота.

6

Адыл возился позади весов, когда от витрины донесся звонкий голос:

— Дяденька, почему мясо?

Мясник не спеша отрезал кусок и недовольно повернулся к прилавку.

— Какой я тебе дяденька? Я Адыл.

Он страшно не любил, когда молодые покупательницы добавляли ему возраста. Ну и что с того, что толстый? Толстый не старый, да не толстый он вовсе, а здоровый. Мужчина должен быть большим. «Дяденька, дяденька». Нашлась племянница. Вот прижму в темном углу, тогда узнаешь дяденьку. Адыл расстроился.

Из-за прилавка на него смотрело молоденькое девичье личико. Прозрачно голубые глаза светились радостью, пепельные волосы вздымались непослушной горой, ласковая улыбка играла на пухлых розовых губках. Мрачные глаза мясника разом охватили худенькую, хрупкую фигурку с неожиданно тяжелыми выступами полных груди. Покупательница снова спросила:

— Так почему мясо, дяденька Адыл?

— Шесть рублей, — машинально выговорил мясник.

В руках его забыто подрагивал длинный нож. Он, не отрываясь, смотрел на девушку. Странное оцепенение охватило Адыла. Вдруг исчезла витрина и мясные туши, и грязный цинковый прилавок — в маленьких коричневых глазах Адыла плыла и колебалась прозрачная девичья фигурка, словно сотканная из воздуха и солнечного света. Мясник сглотнул слюну. Он не понимал, что происходит. Только частые, болезненные толчки сердца доказывали, что он жив. Это было как сон, как наваждение. Адыл не мог оторвать взгляда от упругой, подрагивающей ложбинки в вырезе голубого сарафана.

— Шесть рублей, — снова пробормотал он.

Девушка удивленно взглянула в жадные глаза продавца, проследила направление его взгляда и неловко прикрыла вырез ладошкой.

— Дорого очень, — сказала она, покраснев.

Веселые каблочки зацокали, удаляясь. Мясник молча стоял, зачарованно глядя вслед. Тяжелая гирия внезапно соскользнула с прилавка и больно ударила по ноге. Адыл очнулся.

— Девушка, девушка! — завопил он. — Подожди минутку. Я ошибку давал. Возвращаясь назад, покупай мясо! Девушка!

Несостоявшаяся клиентка уже успела перейти улицу. Она удивленно обернулась.

— Вы мне?

— Тебе, тебе! — закричал Адыл. — Я ошибка давал! Три рублей мясо стоит. Иди покупай, пожалуйста.

Девушка недоверчиво взглянула на взволнованного мясника.

— Спасибо, дяденька. Я передумала.

Снова зацокали острые каблочки. Адыл, давясь, завопил на всю улицу:

— Два рубля мясо, эй, девушка! Магази́нная цена!

Незнакомка не останавливалась.

— Бесплатно возьми! — полетело от ларька. — Эй, девушка, вернись. Деньги не надо! Возьми мясо! — надрывался мясник.

Испуганно оглянувшись, девушка ускорила шаги.

— Уйдет!

Адыл метнулся в подсобку. Отлетел в сторону поперечный дубовый брус, запирающий дверь изнутри. Оставив позади настезь распахнутую дверь, мясник бросился на улицу. Непонятная сила гнала его вперед. Догнать, догнать! Он не знал, почему должен догнать незнакомку, но бешеные толчки крови в виске не давали остановиться. Казалось, в этом слепом, задыхающемся беге сосредоточилась сейчас вся Адылова жизнь — он чувствовал, что умрет, если остановится. Голубое платице скрылось за рестораном. Адыл тяжело перемахнул через арык. Гулкий топот далеко разносился по улице. Мясник завернул за «Зеравшан». Девушка обернулась и увидела его. Лицо Адыла горело, грудь задыхалась, толстые руки нелепо торчали в стороны. Мясник попытался что-то выкрикнуть на ходу, но голос его сорвался.

Девушка ойкнула. На лице ее отразился ужас. Поняв, что этот устрашающего вида человек с длинным ножом в руке бежит за ней, она припустила по улице, тонко вереща:

— Ой, мама, мамочка!

Проскочив «Зеравшан», девушка юркнула во двор старого барака. Целый квартал таких бараков протянулся по улице за рестораном. Открывавший железную дверь подсобки «Зеравшана» буфетчик Озод проводил удивленным взглядом промелькнувшую мимо парочку.

— А-а-а, — донеслось до мясника, — что случилось, Адыл? Деньги украли?

Адыл влетел во двор барака и огляделся. Девушки не было видно. Вокруг — путаница сараев, голубятен, железных гаражей, крохотных саманных клетушек с огромными висячими замками на дощатых дверках; перекрывая обзор, через двор протянулись веревки с мокрым бельем: сиреневые подштанники, рейтузы, простыни, майки, носки... Дальше раскинулась огромная куча мусора — от нее доносилось неумолчное пение мух.

Адыл глянул в другую сторону. Двор уходил вдаль, нескончаемый, как уличная магистраль. Разноцветные палисаднички, курятники, заборы, летние веранды, кухни, живые изгороди, собачьи будки, цоминошные столики, врытые в землю. Адыл огорченно вздохнул, — где тут кого найдешь? Роту солдат можно замаскировать — с собаками не разыщешь. Что уж говорить о девочке. Он внимательно оглядел бараки. Застекленные веранды глухо затянуты занавесками, двери заперты, отовсюду ни звука, ни колыхания штор — поди угадай, куда шмыгнула беглянка! Адыл постоял во дворе минуту, другую, слабо надеясь, что девочка чем-нибудь выдаст себя, и разочарованно побрел назад.

Озод ждал его у раскрытой двери.

— Догнал? — возбужденно крикнул он. — Кончал девку? За что?

Адыл вытаращился на буфетчика.

— Зачем кончал? Ты что, с ума сошел?

— А нож зачем? — недоверчиво спросил Озод. — Ты не бойся, я тебя не выдам. Сколько она украла?

Буфетчик придвинулся ближе к двери.

— Чего молчишь? Я же твой друг. Меня не бойся. Так и скажу — ничего не видел.

Адыл недоуменно взглянул на забытый в руке нож. При чем тут нож? Мясник и сам не знал, зачем он гнался за девчонкой. Голова была пуста. Озод разочарованно пожал плечами.

— Не догнал, значит. Сбежала. Ай, шустрая какая. Я не знал, что она воровка. Ну, ничего. Иди вечером прямо к матери и скажи, если не отдаст деньги, заявишь в милицию. Отдаст, никуда не денется.

Адыл повернул к буфетчику задрожавшее лицо.

— К матери? — тихо переспросил он. — Ты знаешь, кто ее мать?

Озод пренебрежительно фыркнул.

— Кто же не знает Нину Ивановну? В двух шагах от ресторана живет, каждый день мимо ходит — как не знать?

Адыл резко шагнул к буфетчику. Тот попятился:

— Ты чего, друг? Заболел что ли?

Адыл протянул руку.

— Не надо! — взвизгнул Озод, шарахаясь от ножа. — Я же сказал — не выдам!

— Я тебе покажу воровку, — проскрипел мясник, не давая буфетчику ускользнуть за бронированную перемычку. — Сам ты ворюга. А ну отвечай: кто эта девушка и кто ее мать?

Озод, испуганно вращая круглыми глазами, выложил все, что знал. Мать и дочь живут вместе, отца давно нет, говорят, на производстве убило, квартира в третьем бараке от «Зеравшана», девушку зовут Марина, в прошлом году окончила школу, сейчас где-то учится, потому что часто ходит мимо ресторана с книжками, мать работает на заводе, живут бедно, но девушка аппетитная и, слышно, не гуляющая, сватают ее часто, но пока мать не отдает, видно, ждет денежного жениха...

Адыл слегка ослабил хватку. Новости обнадеживали. Озод взмолился:

— Отпусти меня. Что такого она сделала?

— Что сделала? — задумчиво повторил Адыл. Помолчал. — Мясо не захотела купить.

Озод вытаращил глаза:

— Так, так, понимаю, понимаю... Конечно, за такое дело...

Буфетчик сбился и замолчал. Адыл отпустил его и пошел прочь. Озод проводил друга испуганными глазами.

— Мясо не захотела купить, — пробормотал он. — Понимаю, понимаю... — Озод ожесточенно сплюнул и нырнул в дверь.

7

Адыл не помнил, как добрался до дому. Очнулся посреди ночи от острой жажды. Встал, попил холодного чая, снова лег, но заснуть уже не смог. Голова гудела.

... Словно живая стояла перед глазами тоненькая девичья фигурка с несоразмерно большой грудью, искрился под солнцем пушистый пепел волос, и звонкий полудетский голос раз за разом спрашивал:

— Почему мясо, дяденька Адыл? Почему мясо, дяденька Адыл?..

Мясник ворочался с боку на бок, натягивал на голову одеяло и умоляюще шептал в темноту:

— Я не дяденька. Я Адыл. О, красавица, я Адыл. Скажи мне только одно слово: ийгит и забирай весь ларек.

Он привстал, вытер одеялом мокрое лицо и обессиленно откинулся на цветастую подушку.

— Скажи мне, красавица: ийгит, Адыл... скажи мне...

В эту ночь молодой мясник впервые обнаружил, что у него есть сердце. Адыл решил после обеда (с утра не было возможности — Раим обещал завезти партию товара) разыскать Озода и взять у него адрес девушки.

— А вдруг она отвергнет меня, что тогда? — Адыл вздрогнул. Мысли его все возвращались на заколдованный круг. Молодые девушки капризны, — захочет ли она знаться с мясником? А если у нее есть парень? Адыл стискивал зубы. Он бодрился. Парень, парень... Ни у одного парня в городе нет таких денег, какие есть у Адыла. Подумаешь, парень... Деньги важнее — они шутя перевесят все Адыловы недочеты.

Мясник немного успокоился. Конечно, зовись девушка не Мариной, а, скажем, Халимой, он бы знал, что делать. Одно слово матери, кто-нибудь из многочисленной родни моментально сходил бы на разведку, а там родители Адыла переговорили бы с родителями девушки, и все бы решилось в течение дня. А сейчас как быть? А если мать Марины будет против?

Адыл не мог больше лежать. Он поднялся с курпачей и вышел во двор. Огромная, в полнеба луна ярко освещала уснувшую землю. Было светло, как днем, и только чернильное полотнище неба, усеянное мириадами звезд, подсказывало, что на дворе глубокая ночь. Адыл присел на завалинку. За близким дувалом пела вода Улак-арыка.

Молодой мясник обвел глазами маленький дворик. В углу, тесно прижавшись друг к другу, спали под навесом овцы. Адыл покачал головой, — отец все никак не мог расстаться с хозяйством. К чему теперь семье эти овцы? Мяса и так сколько хочешь. Только лишние хлопоты. За навесом темнела уборная. Ближе к выходу — айван. У самой стены поднимались по забору тяжелые виноградные лозы.

Адыл вздохнул. Здесь он родился и вырос; в этом тесном дворике прошли его детство и юность. Он возмужал под журчание струй Улак-арыка. Мир, в котором он жил, был ограничен этим вот пространством дворика, амазонки и ларька; ну еще, пожалуй, чайханы. Дважды за свою двадцатипятилетнюю жизнь Адыл покидал его, когда ездил к родственникам, — двоюродный дядя, Камиль-ака, отдавал старшую дочь замуж в Наманган; через два года праздновали обрезание первенца. Оба раза дядя приглашал на той всех Икрамовых, но так совпало, что отец хворал, мать без него никуда ехать не хотела, и родственник долг выполнял Адыл.

Ему не понравилась ни дальняя дорога, ни чужие края. Впрочем, в дядиной махалле текли свои арыки, и гостеприимно расстилали перед гостями свои цветастые курпачи наманганские чайханы, но Адыл нудился в чужих краях — мир его начинался с отцовского домишки и кончался старым акведуком на Улак-роднике. К нему, считай, на границу родины, Адыл регулярно приезжал поесть плова (еженедельный «ош-пош» с друзьями он соблюдал святее, чем отец намазы), и старый чайханщик Искандер-бобо приветливо встречал зеленую молодежь в своей прохладной резиденции у озера.

Что могло быть интересного за родными пределами? Адыл всегда удивлялся путешественникам. Даже тяга к скитаниям казалась ему подозрительной. Ведь счастье находилось рядом — в журчании тихой воды Улак-арыка, в знакомых до боли обводах оплывших гуваляковых стен старой мазанки, в утренних кашлях и бормотаниях отца, в лицах бесчисленных родственников, в воздухе мясного ларька, которым он дышал долгие годы. Кисловатый привкус его вошел в самое Адылово сердце — что, где и зачем было искать еще? Во имя чего бегать по свету и суетиться?

Он завозился на завалинке. Эта русская девушка... Откуда она взялась и зачем ворвалась в его размеренную жизнь? Все перемешалось в Адыловой голове. Мечты молодого мясника о счастье всегда лежали в кругу самих собой разумеющихся поступков. Стоит только намекнуть, и родители сосватают для него лучшую невесту махалли, и нет сомнений, что она станет Адылу верной спутницей жизни, а угождение ему сделает своим высшим долгом и законом.

Так поступали все, а поступить не так, как все, он не мог. Жениться на русской. Что скажут родители? Кто подаст ему после этого руку? Кто участливо ос-

ведомится о его здоровье и пожелает успехов в работе? А дети? Смогут ли они остаться мусульманами? Адыл представил себе косые взгляды знакомых и поежил. А уж о друзьях и говорить нечего. Прощай веселый плов и дружеские «гапы» у Улак-родника.

Другое дело, если просто побаловаться с девушкой. За это его бы никто не упрекнул. Гуляй, пока молодой. Кто из мужчин не грешен? Да и какой тут грех? Здоров, богат, свободен — веселись, коли веселится. Мужчине с деньгами ни в чем отказа нет, особенно у женщин. Адыл покачал головой. Дешево нынче стали стоить все эти матери-одиночки. Бутылка коньяку, червонец в сумочку, и сажай в машину, вези куда хочешь. Адыл брезговал чересчур сговорчивыми подружками. Неинтересно, скучно.

Семья — дело другое. В семью грязь не тащат. С разведенками, известное дело, гулять гуляют, да не женятся. В жены девушек берут. Чужие объедки кому нужны?

До встречи с Мариной была у Адыла затаенная робкая мечта о подрастающей дочке директора мясокомбината. Жизнь сразу обратилась бы в цветущее маками поле, сумей он сосватать Фирузу. Но разве ее отдадут за него. Мясников в городе много, а хозяин мяса один. Ему ли ронять себя родством со всякой мелюзгой? Найдутся женихи достойнее. У директора горторга сынишка работал секретарем в комсомоле — сама судьба сводила вместе заготовку и сбыт.

Адыл застыл на завалинке с открытым ртом. Он поймал себя на мысли, что думает о Марине, как о жене. Жене? Мурашки побежали по спине. Адыл криво усмехнулся. Разве он осмелится сказать отцу, чтобы тот посватал за сына белокурую чужую девушку? Отец, конечно, посмотрел бы на него, как на сумасшедшего. Да разве только отец? Адыл покачал головой. Сам-то он что сказал бы, вздумай кто из братьев так явно нарушить обычай?

Адыл тяжело вздохнул. Что уж тут говорить об отце? Старый человек. Каково ему услышать подобное? И о ком? О своем любимце Адыле — надежде и опоре Икрама-оты. Адыл слишком любил отца, чтобы так жестоко унижить его старость.

Но где же выход? Можно ли будет гулять с этой девушкой просто так? Мясник нахмурился. Что-то внутри него противилось привычному образу мыслей. Нет, он не хотел поступить с этой девушкой, как поступал со многими другими. Он хотел, чтобы она всегда была рядом. Пуст дом, в котором нет любимой женщины, несчастен мужчина, не имеющий сына от любимой. Адыл выговорил непослушными губами:

— Марина, синим...

Чуждые уху звуки русской речи смешались с ласковыми родными.

— Синим, — повторил он шепотом, прислушиваясь к тающему напеву, — чиройли синим, Марина, меники джаным, Марина, Марина, Маринка,.. инка.., — растаяло в нежном журчании близкой воды. — Инка-а-а... — Адыл ласкал эти, слышанные в далеком детстве сладкие звуки; он поворачивал их в воздухе и бережно касался чуткими кончиками пальцев: ...инка, инка, инка... меники джаным...

Утро застало его на завалинке. С беспокойным сердцем Адыл пошел отпирать ларек.

8

Нина Ивановна ждала Адыла у входа.

— Здравствуй, голубок, — свистящим шепотом выговорила она.

Адыл повернул тяжелую, как с похмелья, голову.

...Сжатые в ниточку, ярко-карминовые губы, просвечивающие кудельки крашеных волос, клином выдающийся вперед живот, острые щелочки глаз — нет, ему не понравилась ранняя покупательница.

— Здравствуй, онам, — буркнул он неприветливо.

Женщина продолжила, слегка задыхаясь:

— Ты что ж это делаешь, сукин кот? Ты почему за моей дочкой по улице с ножом гоняешься?

Поняв, кто перед ним, мясник растерялся и обрадовался. Как хорошо, что ему не пришлось разыскивать мать девушки, что женщина, о которой он ночью думал с таким страхом и надеждой, сама нашла его, что это не сон, не видение, а самая настоящая явь. Всем сердцем Адыл вознес благодарение небесам.

Нина Ивановна, увидев, что мясник закатил глаза к небу и забормотал вполголоса, разом оборвала его молитвенный экстаз.

— Успеешь с аллой наговориться, — надела она. — Ты сначала со мной поговори, а уж потом грехи замаливай. Ты чем это, парень, занялся? Или не знаешь, как с вашим братом за такие дела поступают? По тюрьме соскучился, что ли?

Адыл умоляюще прижал руки к груди.

— Ой, мамашка, как хорошо, что ты пришла. Спасибо. Я сам к тебе идти хотел. Спасибо, мамашка.

— Ты спасти погоду, — осадил Нина Ивановна. — Ты ответь, как посмел с ножом бегать за моей дочкой по всему городу? И как за такие черные дела отвечать думаешь?

— Черных дел нет, — испугался Адыл. — Нет, мамашка. — Он просительно заглянул в лицо Нины Ивановны. — Я не гонялся. Хотел спросить, как зовут и где живет. Ножом не пугал, нож случайно в руке остался. Я сам испугался, когда она убежала. Думал — больше не увижу. Я кричал — мясо бери бесплатно. Моих черных дел нет. Хотел тебя узнавать, мамашка.

Нина Ивановна недоверчиво вслушивалась в путаную речь.

— Это зачем же тебе меня узнавать? — спросила она, извлекая из потока перебивающих друг друга слов подобие смысла. — И что тебе нужно от моей дочки?

Мясник потупился.

— Сердце мое заболело, когда я Марину увидел, — прошептал он. — Жизнь кончилась. Бегом бежал, себя не помнил.

— Шутишь, что ли? — недоверчиво спросила Нина Ивановна. — Первый раз девку увидел и жизни без нее нет? Небось врешь. Наделал дел, а теперь меня, старую дуру, надуть хочешь, а?

Адыл, болезненно искривившись, замотал головой.

— Обмана нет, обмана нет, — тихо пробормотал он.

Нина Ивановна глядела на него округлившимися глазами.

— Кто же так знакомится? — наконец опомнилась она. — Эдак ведь человека до смерти испугать можно. Я вечером с работы пришла, гляжу — девка моя забилась в угол и только что не заикается с перепугу. Спрашиваю, что случилось? Говорит, мясник зарезать хотел. А? Это каково?

Адыл жалко залепетал:

— Не пугал я, мамашка, не пугал. Прости меня. Как дивона я был, думал, сердце разорвется. Хотел сегодня тебя находить...

Он сбился и замолчал. Нина Ивановна покачала головой.

— Какой ты парень горячий. А с виду не скажешь. Горяч. Да ведь и соображение иметь надо. Ты что же — не женатый? Ведь вас рано женят, я знаю. Небось трое под лавкой, а мне мозги пудришь, — снова рассердилась Нина Ивановна. К ней возвратилась привычная настороженность. — А я и уши развесила. Ну, чего молчишь?

— Жены нет! — обрадовался мясник. — Холостяк я. Отец есть, мамашка есть, брат, сестра есть, жены нет! — Адылову восторгу, казалось, не будет границ.

— Нет, так нет, — поверила его радости Нина Ивановна. — Что же ты дальше делать собираешься? Опять будешь мою девчонку по улицам гонять?

Адыл замотал головой.

— Нет, нет, гонять не буду! Вечером хочу домой к вам приходиться. Знакомиться. — Он прижал ладонь к груди.

Нина Ивановна задумалась. Адыл заторопился:

— Ой, мамашка, думать не надо. Когда ты думаешь, мое сердце от страха лопается. Ты лучше слушай, мамашка. Я честный человек. Участок земли брал в горисполкоме. Прошлый год фундамент заливал. Этот год дом строю. Деньги у меня много. Водку не пью, никого не ругаюсь, не дерусь. Ой, мамашка, — захлебывался он, не попадая от волнения бородкой ключа в замок, — давай заходи в ларек. У Адыла мяса много. Денег не надо. Смотри, баранина есть, говядина есть, казы есть, печенка, курдючный жир — бери, пожалуйста, сколько хочешь.

Нина Ивановна нерешительно вошла в подсобку. Адыл включил свет и, как сумасшедший, бросился к развешанным по стенам тушам. В трясущейся руке заблестел нож.

— Говори, мамашка, где отрезать, какое мясо хочешь, говори, пожалуйста! — взмолился он.

Адыл никак не мог выбрать лучшего куска. Нина Ивановна поджала губы:

— Погоди со своим мясом, что ты забегал, как таракан. Аж в глазах зарябило. Ну-ка сядь. — Она указала на лавку, покрытую брезентом. — Сядь. Давай всерьез поговорим.

Адыл обессиленно упал на топчан. Из него словно выпустили воздух. Воспаленные глаза испуганно следили за Ниной Ивановной.

— Ты мне мясом да деньгами в нос не тычь, — строго сказала Нина Ивановна. — Знаю я вас таких, шибко хитрых. Что ты при деньгах, это и дураку понятно. Где мясо, там и деньги.

Глаза Адыла блеснули. Он слегка успокоился. Слова женщины были понятны.

— Да не об этом речь, — продолжила Нина Ивановна. — Ты мне лучше вот что скажи: ты с моей девкой просто погулять задумал или жениться на ней хочешь?

Адыл привстал.

— Ой, мамашка, зачем такие обидные слова говоришь? Я честный человек. Эти женщины, которые гуляют, мне не надо. — Он пренебрежительно сплюнул. — Я такие женщины сам гоняю. Мне хозяйку надо. Я к тебе домой приду. Пусть дочка меня не боится. Подарки буду приносить, разговор говорить. Хорошие слова. Она ответит: да, Адыл, ты хороший человек, и моя жизнь новой дорогой пойдет. — Адыл выдохнул воздух и сказал с мрачной решимостью: — Мне без нее жизни нет. Жениться на твоей дочка буду. Я сказал.

Нина Ивановна покачала головой.

— Ишь, как тебя распирает. Глядеть неловко. — Она на секунду задумалась. — А твои-то согласятся? Родители что скажут, если ты русскую засватаешь?

Адыл побледнел.

— Отцу скажу, что зарежусь, если не разрешит, — глухо ответил он.

Нина Ивановна вздрогнула.

— Ты эту глупость из головы выкинь. Чай, родители не звери. И у них сердца не камни, и они молодыми были. Своему дитю кто враг? Ты уж как-нибудь без ножей.

Адыл обратил к ней задрожавшее от радости лицо.

— Ты согласна за меня дочку отдавать, мамашка, скажи прямое слово?

— Ишь, быстрый какой, — вывернулась Нина Ивановна, — так ему все сразу и подай, как на сковородке. Спешешь больно.

Она взглянула на померкшее Адылово лицо и, вздохнув, сказала:

— Я Мариночкиному счастьем не помеха. Коли она согласится, так и я возражать не стану. Парень ты самостоятельный.

Нина Ивановна повернулась к стенке с мясным ассорти.

— И то сказать, коли уж зашла, так взять что ли кусок?

Мясник метнулся к распяленной на крюке туше, мазнул по ней ножом и щедро шмякнул на топчан перед Ниной Ивановной богатый кусок.

— Бери, онам. Кушай на здоровье.

Пальцы Нины Ивановны, протягивающие десятку, дрогнули. Сплошная мякоть с роскошной прослойкой жира, ни намек на косточку, цельный, не со-

ставной из узеньких полосок, шмат килограмма на три, не меньше — да что я, прокуророва жена? Нине Ивановне давно ничего похожего не перепало.

Адыл решительно отстранил деньги.

— Дочке привет передавай, мамашка, — облегченно сказал он. — Вечером приду. Очень серьезное дело. Забирай мясо.

— Спасибо, сынок, — пропела Нина Ивановна, пряча «красненькую». — Приходи, приходи. Мы добрым людям всегда рады.

Домой Нина Ивановна летела только что не на крыльях. Вон оно, как дело повернулось. Скажи после этого, где найдешь, а где потеряешь.

Лучшего варианта замужества нельзя было и вообразить. По нынешним временам жених мясник котировался на уровне министра. А не русский, что ж — нынче все люди, все человеки.

9

Ошеломляющую новость принесла вездесущая Иноят-биби. Старуха подняла Икрама-оту с замызганных чайханных курпачей. Не веря глазам своим, Икрам-ота уставился на жену.

— Что случилось? Почему ты здесь?

Иноят-биби, по старой привычке чуть отворачивая открытое лицо в сторону, прошелестела шепотком:

— Нехорошие вести до меня дошли. Надо срочно с вами посоветоваться.

Старик пожевал в раздумье губами. Видно, жена действительно узнала что-то из ряда вон выходящее, раз осмелилась на такое небывалое нарушение привычного порядка. Пришла в чайхану и на виду у всех тащит мужа домой! А, каково? Мир перевернулся.

— Иди домой, — отослал Икрам-ота жену. — Я приду попозже.

Икрам-ота посидел еще полчаса со старыми друзьями, выпил пиалу кокача. Неловко сразу бежать сломя голову за женским подолом. Никто из стариков не одобрил бы такого. Однако, что старуха узнала? Как бы с детьми или внуками не случилось чего. Он опрокинул пиалушку вверх доньшком, посидел еще с десяток минут, степенно поглаживая седую бороду, и начал прощаться с друзьями. Прощание тоже заняло время. Еще через пять минут он был дома. Благо рядом. Икрама-оту встретило разгневанное шипение старухи:

— Вы до завтра, видно, не могли расстаться с кривым Ширматом? Или зубоскальство толстого Ашира вам важнее судьбы собственных детей? Или ваш ученый Бахрам в седьмой раз рассказывал про свой хадж? Тогда идите, идите, дослушайте!

Икрам-ота едва утихомирил разошедшуюся Иноят-биби. Наконец старуха подсунулась к уху мужа и прошептала несколько слов. Икрам-оте показалось, что он ослышался.

— Кто, Адыл? — недоверчиво переспросил старик. — А не Тохта?

Младший не внушал Икраму-оте особого доверия. Но чтоб Адыл?

Старуха утвердительно закивала головой.

— Адыл, Адыл! Я сколько раз вам говорила, что пора женить сына! Вот, дотянули. Позор на наши седые головы. По всей махалле только об этом и говорят. И Хайриниссо знает и тетушка Ибадат...

Старик подпрыгнул.

— И Ибадат-опа знает?

— Знает, знает, — подтвердила Иноят-биби. — Уж она всегда первой все узнает. А она знает — все знают.

У Икрама-оты ослабли ноги. Уж лучше было не подыматься с чайханных курпачей. Он принужден был присесть. Худшего несчастья и позора нельзя вообразить. Такое не укладывалось в голове. Адыл, любимый сын, надежда и утеха старости сотворил то, о чем стыдно даже слушать. Икрам-ота поднял умоляющие глаза на жену. Может, старуха ошибается? Может, это сделал не их сын?

Иноят-биби замотала головой. Никакой надежды.

— На той неделе ходил, — повторила жена. — А вчера ее мать сама хвалилась Халиме. Говорит, вечером Адыл пришел и посватал дочку. Самой матери платок подарил, цыганский с кистями. О нашей семье Халиму расспрашивала, мол, старик со старухой не будут ли против? Халима к Ибадат прибежала, чуть не подавилась от радости — говорит, Икрамов-средний совсем спятил, русскую сватать пошел.

Икрам-ота прикрыл голову ладонями. Старуха отодрала его руки.

— Вы слушайте, слушайте! — прокричала она прямо в ухо. — Вы меня раньше слушать не хотели, так хоть теперь послушайте! Вот до чего мы на старости лет дожили, вот до какого позора докатились. Родителей, видно, у Адыла нет, сам сватает. Своих невест в махалле не осталось. Обязательно надо русскую. Вай дод! — закричала Иноят-биби. — Опозорена наша семья!

Старик опомнился.

— Замолчи, — сказал он. — Не мешай мне. Я подумаю.

Иноят-биби смолкла на полуслове. Мужчина, глава семьи думал. Наконец Икрам-ота заговорил:

— Согласна она? Сговор сделали?

— Мать согласна, — всхлипнула Иноят-биби. — Дочка упрямится. Гордячка. Уже наш Адыл ей не подходит.

— Что ж ты плачешь? — обрадовался Икрам-ота. — Глупая старуха. Молодец дочка! — одобрил он несостоявшуюся невестку. — Обычай лучше матери знает. Дай ей Бог хорошего мужа.

— Что вы говорите? — взвилась Иноят-биби. — Вы лучше о своем сыне подумайте, чем чужую дочку нахваливать!

— С сыном я разберусь, — ответил старик. — Ты о ком мне все уши прожужжала? Чья дочка у тебя на примете, не Хайриниссо?

Старуха обрадованно закивала:

— Она, она, Лолахон! Уж такая красавица, такая скромница! К старшим так почтительна. Чем не сноха? Такую тайком от родителей сватать не пойдут.

Старик нахмурился.

— Иди к тетушке Ибадат, — приказал он. — Пусть наведается к Хайриниссо и узнает, отдадут ли девчонку за Адыла? Если скажут, что он опозорил себя, то пусть позор падет на мою седую голову. Я не сумел воспитать сына. Иншалла. Да будет так.

Иноят-биби робко спросила:

— А как же с Адылом? Надо ему сказать, что женим.

— Сам скажу, — отрезал Икрам-ота. — Когда надо будет. Иди, делай свой дело.

Вечером состоялся семейный совет. Пришли только мужчины: дяди, старшие, младшие братья, зятья. Расстелили вдоль стен курпачи, расселись рядком на пятки. Тохта разносил чай.

Адыл сидел в углу, опустив голову и ни на кого не глядя. Он знал, о чем пойдет речь. Мать не выдержала, проговорила любимчику.

Впервые за долгую жизнь Икрам-ота наткнулся на открытый бунт в собственной семье. Вот к чему привели потачки. Вах, вах — лучше бы не дожить до такого позора.

Адылу пытались втолковать всю глупость его поведения и Раим, и Хасан с Хусаном, и остепенившийся Махмуд. Тщетно. Упрямец стоял на своем.

— Женюсь только на Марине, — повторял он воспаленными, сухими губами. — Ну и что ж, что русская. Жизни мне без нее нет.

Махмуд досадливо бил ладонью по колену, Хасан молчал, Раим смеялся, а Хусан, бешено сверкая налитыми кровью белками глаз, закричал:

— Я ее завтра арестую и посажу под замок вместе с проститутками и воровками! Дело на нее раскручу!

Адыл начал медленно подниматься с пятки. Толстые губы его затряслись.

— Ты погон свой не кушал, милиция? — зловеще просипел он. — Смотри, заставлю скушать!

Икрам-ота едва остановил расходившихся петухов. Такого еще не случалось

в семье Икрамовых. Братья всегда стояли друг за друга горой. Вот что может сделать один глупый мальчишка. Ай, яй-яй, права была старуха. Давным-давно следовало женить сына. Старик подвел черту под дебатами.

— Все замолчите. Яйца кур учить начали. Пейте чай, дождемся мать, решим.

Иноят-биби пришла затемно. Адыл сидел в углу как подсудимый. От родственников его отделяла невидимая, но прочная стена. Сочувствующих не было.

Иноят-биби, скромно согнувшись, прошла по комнате и присела на пятки около Икрама-оты. Наклонившись к мужу, прошептала на ухо одно слово. Икрам-ота облегченно вздохнул и погладил бороду. Все ждали, что скажет отец.

— Завтра, — произнес старик торжественно, — мы с матерью пойдем к Шукуровым сватать их дочку Лолу. Благодарение Аллаху, родители девочки — уважаемая Хайриниссо-опа и почтенный Бобомурад, зная безумный поступок моего сына, все же не побрезговали породниться с нашей семьей. Мы берем Лолу в дом, как дочь. Так решил я, старший в роде. — Он повернул строгие глаза в Адылову сторону. — Завтра не ходи торговать, сынок. Тебя заменит в ларьке Раим.

Все молча посидели минуту, потом начали благодарить за угощение и вставать. Против обыкновения Икрам-ота не удерживал гостей. Последним вышел Хусан. Он задержался в дверях, взглянул на застывшего в углу Адыла, отвернулся и сказал в никуда:

— Слово отца — Божье слово. Отступник пусть пеняет на себя.

И ушел, поскрипывая ремнями портупеи и твердо ставя кривые ноги в щегольских сапогах.

Адыл не шелохнулся. На выбритой макушке блестели капли пота. В комнате остались двое — отец и сын. За прикрытой дверью притаилась Иноят-биби. Наконец Икрам-ота мягко нарушил гнетущее молчание:

— Уже поздно, сынок. Завтра у тебя большой день. Иди отдыхать.

Грудь Адыла бешено заходила, глаза заблестели. Он перевалился с пяток на колени и подполз к отцу.

— Отец, — простонал сын, протягивая к старику дрожащую руку, — отец, не губите мою жизнь. Я сделала все, что вы прикажете, я буду глиной в ваших руках, только позвольте мне жениться на этой девушке. Она станет вам хорошей дочерью, она не нарушит обычая... Отец! Не разрывайте мое сердце!

Икрам-ота резко отодвинул от себя пиалу. Он был разгневан до глубины души.

— Стыдись! — крикнул старик. — Ты, мужчина, стоишь на коленях из-за женщины? Забыл, что ты мусульманин?! У твоего деда было три жены и пятнадцать детей. Он был первым в роду, начавший торговать мясом. Аллах разрешил правоверному иметь четырех жен, и дед взял бы четвертую, не приди на нашу землю плохие времена. Чужие люди силой порушили наши законы и обычаи. Они заставили открыть лица наших женщин. Но они не заставят нас забыть адат. Дело женщины услаждать мужчину и рожать детей, дело мужчины торговать или быть воином! Из-за чего ты стоишь передо мною на коленях? Из-за того, что во времена твоего деда стоило пять баранов, а сейчас не стоит и одного? Я ли учил тебя этому? Хочешь, чтоб твои дети перестали быть мусульманами? Пусть мои глаза вытекут раньше, чем увидят это! Встань и уходи, а я забуду, что видел и слышал. Завтра Лола станет твоей женой.

Лицо Адыла искривилось. Он поднялся и, качаясь, как пьяный, вышел из комнаты.

Икрам-ота закрыл глаза и тихо зашептал знакомые с детства слова. В тяжелые минуты жизни он обратился мыслями к Аллаху.

что не заметил его. Он молится, хотя настроение уже не молитвенное. Икрам-ота знает, зачем пришел Саид.

К пятнадцати годам Саид знал Коран наизусть, учился на одни пятерки. Икрам-ота не мог нарадоваться на сына. Мулла намекнул польщенному отцу, что Саиду следует посвятить себя служению Богу. Икрам-ота и сам мечтал об этом. Он видел, как младший замирает и бледнеет, когда к семейному ларьку подбегает Раимов мясной фургон. Саиду явно не по нутру воровская ловкость старших братьев. Однажды он даже осмелился...

Икрам-ота нахмурился. Именно тогда разозленный Раим впервые бросил в лицо юноше:

— Дивона! Сумасшедший!

Икрам-ота строго отчитал Раима.

У Саида слишком нежная для этого мира душа. Его место в мечети, а не среди грубых торговых людей. Саид неправ, обвиняя братьев в воровстве. Торговая смекалка разве воровство? Но что спрашивать с юноши, день и ночь проводящего за книжками, может ли он правильно судить о жизни? У Раима свой путь, земной, у Саида свой...

Раим кричал:

— Он брезгует нами, отец! Разве вы не видите, что Саид не ест ничего, кроме лепешек. Ему не по вкусу наше мясо!

Икрам-ота запретил Раиму говорить о том, что выше его разума. Не есть мяса не грех, грех суесловить об этом. Покрепче бы Раиму самому соблюдать уразу.

Однако в душе он ощущал некоторую правоту Раима. Саид непредсказуем. Мысли и поступки его — тайна за семью замками и печатями. Икрам-ота и сам ощущает непонятную робость, оставаясь наедине с молчаливым, погруженным в свои мысли юношей.

После школы Саид неожиданно поступил рабочим на ремзавод. Икрам-ота только развел в отчаянии руками, однако спорить с сыном не стал. Невыносимо было смотреть в отрешенные глаза Саида. За внешней покорностью, уступчивостью сына старик чувствовал несокрушимое, железное упорство и боялся натолкнуться на него, на недоступную его пониманию правоту Саида.

Семья разделилась на два потока: одной жизнью живут старшие и совсем другой — тихий художавый юноша, редко поднимающий глаза от земли.

— Он думает, что только он один ест честный хлеб, — взорвался Хусан. — Мы черви, а он святой. Вы напрасно потакаете Саиду, отец.

— Молчи! — оборвал его Икрам-ота. — Может быть, именно Саиду суждено испустить все наши грехи.

11

— Чего тебе? — спрашивает Икрам-ота.

Саид поднимает на отца влажные глаза.

— И не проси! — резко бросает Икрам-ота.

Саид молчит, молчит и Икрам-ота. Но молчание тягостно, и старик не выдерживает первым.

— Зачем нам чужая девушка? — горестно спрашивает он. Взгляд ищет сочувствия. — Зачем?

— Вы, конечно, правы, отец, — тихо отвечает Саид. — Но милосердие...

Икрам-ота вздрагивает. Кротость Саида действует на него больше, чем стенания и мольбы Адыла.

— У брата разорвано сердце, — говорит Саид. — Без воли Аллаха ни один волос не упадет с головы. Он пожелал, чтобы Адыл полюбил Марину. Мы не знаем, почему Аллах поступает так или иначе, но мы не должны противиться его воле.

— Ты ученый, — кривится Икрам-ота. — Лучше меня знаешь, что написано в Коране. Но я уже стар, голова моя бела, и я не пойду против старинного обычая. Пусть Аллах рассудит, кто прав. Худога шукур.

Он подымает глаза к небу и поглаживает бороду.

— Я буду молиться, чтобы Аллах смягчил ваше сердце, — говорит Саид и уходит.

Икрам-ота растерянно перебирает четки. Он уже не так уверен в своей правоте, как полчаса назад. «Дивона» — невольно приходит на ум. Святость внушает почтение, но и боязливое желание отстраниться. Икрам-ота простой человек, ему трудно рядом с младшим сыном, очень трудно. Сумасшедший или святой? Не все по силам слабому человеческому разуму. Надо молиться, молиться.

12

Марина, смеясь, отмахнулась от назойливого толстяка. Еще чего не хватало. От мясника так разлило потом, что любые чувства бы угасли. И вообще. О чем речь? Ведь у нее уже был Сережка. Смешно сравнивать.

Сердце Марины превращалось в испуганного мышонка, когда Сергей брал ее за руку. Ох! В последнее время он начал выходить далеко за пределы... Не было сил сопротивляться. Сережка!

Марина только об этом и думала. Какие там мясники! И слушать смешно, что мать бубнит. А та все долбила и долбила:

— Как сыр в масле будешь кататься, принцессой жить, на золоте есть.

Марина пропускала приманки мимо ушей и убегала к подружке — «заниматься». Узнай мать, чем она «занимается», — не сносить бы непутевой дочери головы. Но подружка тайну хранила, и Нина Ивановна не подозревала о Сергее.

Младший сержант приезжал на свиданки из военного городка. Свидания были редки и оттого вдвойне желанны.

Любовь бежала по Маринкиному сердечку, как пламя по горстке пороха.

Первая встреча произошла в очереди за газировкой. Худощавый, плечистый младший сержант Самарин до того загляделся на беленькую девушку, что начал вместо воды глотать воздух; ситро же в это время благополучно орошало его сверкающие нестерпимым глянцем сапоги. Очередь забавлялась, Марина польщено розовела, а младший сержант таял на глазах, как стаканчик с мороженым.

Это было приятно. Армия есть армия — она не спешит сдаваться в плен.

— Смотря кому, — вслух подумала Марина и покраснела.

Мотопехота воспользовалась заминкой противника.

— Сергей, — сказал Самарин, протягивая руку.

Ошеломленная собственной обмолвкой и лихим приступом сержанта, Марина подала розовую ладошку. До дома дошли вместе. Выяснения биографии хватило на полдороги, остаток пути занял спор о том, кто кого раньше заметил.

Самарину оставалось служить три месяца. Его звали поля родной, запустевшей Дрёмихи — много в родном колхозе нашлось бы дел классному водителю БМП, но Маринка жила в Байбаде, а не в глубинке северной России. Улетать из-под мамочкиного крылышка она не собиралась. И ждать, покуда в Дрёмихе построят среднюю музыкальную школу, было долговато, а куда еще идти пианистке, — разве коровам хвосты крутить?!

В гулких цехах Байбадского ремзавода трудились два Серегиных корешка, отслуживших срочную в прошлом году. Слесарь-ремонтник и моторист — две самые ходовые на гражданке специальности отложились черными мозолями на Серезкиных ладонях. Байбадский ремонтный оторвал бы его с руками и ногами. Квартира — через год. Зарплата — аккордная. Корешки уверяли — лафа. Сергей круто изменил планы — без Маринки жизни не было, не только что счастья.

В ноябре Сергей Самарин ушел в «дембель», а в марте следующего года женился на Марине самым что ни на есть воровским способом.

Марина боялась и заикнуться о любимом. Сережка жил в общежитии. Дочь отлично знала, как отреагирует мать на столь «завидную» партию.

На исходе седьмого месяца Сергей затосковал.

— Сколько можно? — с горечью спросил он. — До пенсии, что ли, ждать? А как же другие? Комнаты снимают и ничего, живут.

Марина испугалась. В голосе любимого зазвучали минорные нотки. Бедный Сережка — все его «завтраками» кормлю, завтра да завтра... А вокруг тьма-тьмущая одногодок и все — оторви да брось! А ну, как уведет? Марина вдруг поняла, чем рискует. Без Сережки не жить: Содрогаюсь от ужаса, Марина похитила из дома собственный паспорт. Обнаружь Нина Ивановна пропажу...

Подали заявление. Как ни умоляли они не тянуть с регистрацией счастья, орган оформления актов гражданского состояния оказался совершенно неприступен. Пришлось ждать месяц. Марина извелась. Так и казалось, что мать вот-вот узнает. И на следующий день, когда лиловый штамп украсил чистую страничку паспорта, молодые ушли жить на квартиру.

Нина Ивановна простила бунтовщиков через год.

За год Самарины не сумели отложить на сберкнижку ни копейки. Деньги жгли Марине руки — поход в магазин оборачивался финансовой катастрофой: бижутерия, парфюмерия, колготки, сумочки, белье — через полчаса кошелек показывал дно. После полочки молодые неделю шиковали, потом жили в долг.

Наконец Марина призадумалась. Куда уходят деньги? Почему в кошельке постоянно гуляет ветер?

Нина Ивановна давно ярилась, глядя на транжирство молодых. Дочка оказалась мотовкой, не в мать, и это сильно огорчало Нину Ивановну. Мыслимое ли дело жизнь построить на шоколадках да пирожных? Кому по карману питаться одним сервелатом? Разве Марина заграничная принцесса, чтоб душиться сотенными французскими духами?

Нина Ивановна твердила одно и то же всю жизнь, но только теперь ее слова дошли до дочери.

— Жми копейку, жми копейку, — внушала Нина Ивановна, — с ума ты, что ли, спрыгнула со своим муженьком, что так деньгами кидаешься. Живете на одних торгах, как ни зайдешь, на столе букет роз в четвертак, откуда деньги?

— Муж любит! — радовалась дочка. — Вот и дарит цветы каждый день. А чего, пускай дарит — мне приятно.

Мать хваталась за голову.

— Спятели вы оба, ей-ей спятели! Да ты в мясо переведи цветы, в мясо! На этот букет на базаре три кило говядины дают, — неделю семье сытой быть, а вы что делаете? Три раза цветы понюхали и на помойку? Новые подавай? Да кто так живет?

Марина хмурила гладенький лобик.

— Ну что ты, право, мама? Когда же пожить в свое удовольствие, как не сейчас. Денег хватает. Сереже платят по шестому разряду — целых триста рублей! — Марина тихо смеялась. — Пусть муж балует, я не возражаю.

Нина Ивановна безнадежно качала головой.

— Эх, дочка, дочка. Жареный петух тебя еще не клевал. Слесаришка твой тоже хорош. Нет, чтоб жену разуму поучить, так сам без ума. Друг от друга не ушли. Собралась парочка — баран да ярочка.

Но безденежье надоело и самой Марине. Сережка тоже стал ворчать. Он страстно хотел купить мотоцикл. Скучно ездить на рыбалку на чужом. Всего-то надо тысячу рублей. Вполне возможно, если Маринка немножко подождется с сапогами да тряпками.

Семейная сцена возмутила Марину. Это она — транжира? Это она не умеет вести хозяйство? Ну ладно, тогда не обижайся, дорогой муженек. Будем жить впроголодь и все складывать на сберкнижку.

Впрочем, жить впроголодь нужды не оказалось, а на книжке и в самом деле начала оседать кое-какая копейка. Марина научилась готовить. Понемногу она втянулась в хозяйство. Сережка расцвел. Жена становилась настоящей подмогой. Притихла и Нина Ивановна. Со скрипом, но жизнь у молодых налаживалась.

Адыл увидел Марину издали. Он наполовину высунулся из проема.

Марина состроила глазки. Приятно знать, что существует на свете смешная, жирная туша, волнуемая страстями, что причина страстей — она, вполне счастливая, замужняя женщина, недоступная никаким искушениям. Но вот есть забавное человеческое существо, которое трепыхается, как выброшенная на берег рыба, завидев Марину. Адыл отчаянно махал багровой лапой.

— Марина, кызым, — умоляюще вопил он, — подойди на минутку, одну вещь показать надо!

Самарина невольно остановилась. Что такое? Адыл возбужденно метался за прилавком. Он показывал какую-то коробочку.

— Красивая вещь, красивая вещь! — надрывался мясник. — Сильно дорогая вещь! В «Березке» покупал специально!

Марина усмехнулась. Ишь чего выдумал! В Ташкент смотался за подарком. Любопытно, что он прячет в ухватистой лапе? Какую такую дорогую вещь из «Березки» вздумал навязать ей сопящий толстяк?

А ведь он всерьез воображает, что меня можно купить. Марине стало весело. Разве подшутить над толстячком? Что у него там? Какая-нибудь глупая, ничемная побрякушка из дешевого золота, висюлька в разлапистой оправе с пошлым кроваво-красным камнем, грубо вляпанным в золотые лапки.

Марина улыбнулась. Пойти глянуть, убедиться в точности догадки? Это любопытно. Она видела человека за прилавком насквозь.

Самарина двинулась к ларьку. Адыл в витрине из багрового стал синим. По лицу его тек крупными каплями пот. Мясник слегка повизгивал:

— Марина, Марина...

Самарина спросила:

— Ну показывай, что там у тебя?

Голос прозвучал спокойно и чуть насмешливо, именно так, как ей и хотелось. Ни одна потайная трещинка в интонации не давала возможности подумать о малейшей уступке этой в грязном халате туше, метавшейся у прилавка. Но, странное дело, услышав ее слова, Адыл внезапно отмяк, отошел от душившего его нетерпеливого напряжения. Замутившиеся глазки словно протаяли внутрь, прояснились, тяжелые плечи расправились, и с привычным превосходством продавца над клиентом он сказал:

— Вещь сильно дорогая. На людях показать нельзя. Заходи в подсобку.

Не дожидаясь ответа, он повернулся и пошел в глубь ларька. И повинувшись уверенной, властной силе, внезапно зазвучавшей в Адыловом голосе, Марина медленно двинулась вперед. Она прошла вдоль Улак-арыка и остановилась перед маленькими деревянными мостками. Дверь подсобки распахнулась, в ней возник Адыл. Чутко уловив крошечную заминку, он застонал:

— На две минуты, на две минуты!

В руке призывно моталась небольшая черная коробочка.

— Самая лучшая вещь, только твои глаза посмотрят!

Марина усмехнулась собственной нерешительности и шагнула в дверь. Центр города, белый день, полные улицы народу, знакомый не один год робкий ухажер — чего бояться? Адыл пропустил ее и захлопнул дверь. Марина с любопытством огляделась.

Чисто выбеленная небольшая комната с прохладными стенами, обложенными метлахской плиткой. Рельс, заделанный торцами в кирпичную кладку. Большие металлические крюки. На одном висит баранья туша, на другом говьяжья. Сбоку — дубовая плаха. На ней огромный, сверкающий топор, поразивший Самарину величиной и угрожающим свечением широкого лезвия. С потолка свисает на проводе голая тусклая лампочка. Вдоль стены низкий деревянный топчан. На нем что-то большое, бесформенное, прикрытое сверху грязным брезентом. Увидев расплывшуюся по брезенту кровь, Марина брезгливо поморщилась, под накидкой лежала убойна. Справа дверь, ведущая в торговый зал.

В ларьке стало совсем темно. Всего несколько секунд прошло после ее появления в подсобке, а уж тяжелый деревянный навес над витриной опущен на подоконник и застегнут изнутри мощными коваными крюками. Марина невольно содрогнулась. Ей стало неудобно. Стараясь не показывать беспокойства, онаглянула в сторону входной двери. Дверь была закрыта и плотно заложена тяжелым дубовым засовом.

На лбу Марины выступила испарина. Марине почудилось, что она не в ларьке, а где-то далеко от людей, в заброшенном дальнем поселении, среди намертво затворенных домов, откуда — стучись, не стучись, кричи, не кричи — помощи не дождешься. Все эти топоры, крючья, ободранные туши, кровавые пятна, проступающие сквозь материю, — внушали ей невольный ужас и отвращение.

Сделав шаг, Самарина остановилась, сердце замерло на полуступе. Дорогу к выходу преграждал Адыл.

Мясник стоял посреди подсобки, скрестив на груди обнаженные руки, и молчал. Теперь он не выглядел ни робким, ни просительным, ни тем более приниженным. Плечи широко расправлены, глаза блестят. Впервые Марина явственно разглядела всю могучую, налитую жиром и силой фигуру Адыла. Ни капли смешного не было в стоящем напротив мужчине. Квадратное тело дышит уверенной мощью, мускулистые руки, шутя, переломят бревно, широкое багровое лицо, на котором Марина так привыкла видеть всегдашнюю заискивающую улыбку, сурово напряжено. Адыл облизывает толстые губы. На виске сильно бьется набухшая вена.

У Марины ослабли ноги. «Только не показать, что я его боюсь, только не показать, что я его боюсь, — лихорадочно думает Самарина, не в силах оторвать взгляда от блестящих Адыловых глаз.— Кто он такой, чтоб я его боялась? Шут, жалкий, ничтожный спекулянт! Нельзя так стоять, — возбужденно забилося в мозгу, — нельзя стоять и молчать. Надо говорить, двигаться, немедленно что-то сделать». Марина облизала губы и заговорила:

— Что же ты не показываешь свою вещь, Адыл?

Голос Самариной сорвался. Против воли слова прозвучали жалко и просительно, словно в них вошли все ее невысказанные мысли о пощаде, о страстном желании освобождения из неожиданного плена, и Адыл сразу уловил эту беспомощную и испуганную нотку мольбы.

Лицо его оживилось. Мясник быстро расстегнул грязный, покрытый мелкими брызгами крови халат и, неловко поворачиваясь огромным телом, вылез из него. Рубашка на Адыловой груди расстегнулась, обнажая голую потную грудь, тяжелый живот горой навис над перекрученной полоской поясного ремня.

Марина попятилась.

— Ты чего? — испуганно вырвалось у нее. — Зачем это?

Адыл успокаивающе закивал в ответ.

— Хозир, хозир, сейчас, — заторопился он, как всегда в минуты волнения путая узбекские слова с русскими.

Мясник сунул руку в карман и достал черную коробочку.

— Вот, — сказал он, — посмотри, кызым.

Марина невольно скосила глаза. На огромной ладони, посреди широких бутров жировых подушек почти потерялась маленькая коробочка, выстланная изнутри бархатом, с поблескивающей в глубине черного ложа капелькой бриллианта. Несмотря на одолевающий страх, Марина взглянула на прозрачный светляк камня и невольно залюбовалась им.

Адыл приподнял и чуть покачал ладонь. Электрический свет заиграл на крохотных сверкающих гранях.

— Две тысячи рублей, — хрипло выговорил мясник, не сводя с Самариной жадных глаз. — Подарок тебе, кызым. Три года о тебе думаю. Ночами думаю, на работе думаю. Хотел воровать, увозить в горы. Мужа твоего хотел резать. Больше думать не могу. Сегодня ты сама зашла. Забирай подарок.

Вытянув ладонь с кольцом, он начал медленно надвигаться на Самарину. Марина так же медленно отступала. Адыл теснил ее на тушу под брезентом.

— Подожди, Адыл, — заторопилась Марина. — Ты что, с ума сошел? Что ты хочешь? Так нельзя. Я же зашла только посмотреть. У меня муж есть, ты же сам прекрасно знаешь. Да и ты женат, у тебя дети. Мало ли кто чего в молодости хотел? Прошло время. С чего ты взял?..

Мясник сделал еще шаг.

— Стой! — взвизгнула Марина. — Не подходи, а то закричу! Позову людей, милицию! Тебя посадят в тюрьму!

— Пусть посадят, — согласился мясник, — только бери подарок.

Марина уперлась спиной в топчан — отступать дальше некуда. Рука с бриллиантовой коробочкой коснулась ее груди.

— Не тронь меня! — Самарина ударила Адыла по руке.

Камешек сверкнул и отлетел в угол комнаты. Адыл не шелохнулся.

— Три года жизни нет, — глухо сказал он. — Двадцать баба менял, думал, спокойно спать начну. Никакая другая женщина не помогает. Ты сама зашла. Теперь кричи, не кричи — моя будешь.

Самарина отчаянно завопила и бросилась к двери. Руки мясника поймали ее почти неуловимым движением, с той бархатной и зловещей легкостью, с какой ловят обезумевшую от страха мышшь беспощадно-мягкие кошачьи лапы. Несколько секунд Марина отчаянно отбивалась. Затрещало и разорвалось платье, задетый резким движением короткопалой ладони расстегнулся кружевной лифчик. Полные белые груди с розовыми бусинами сосков вывалились наружу. Мясник обезумел, увидев их.

— Дай сиськи, дай сиськи! — задыхаясь, прохрипел он.

Огромная ладонь сдавила обнаженную грудь. Марина сморщилась от боли. Она ударила локтем вперед, и Адыл нелепо мотнул головой. Удар попал в переносицу. Из ноздрей хлынули струйки крови. Мясник схватился за лицо. Освободившаяся Самарина с криком метнулась к выходу. Мясник догнал ее одним прыжком. Он схватил Марину поперек туловища и легко оторвал от пола. Адыл донес кричащую женщину до накрытой брезентом туши и швырнул на грязную материю.

Самарина застонала. Сзади на нее навалилось тяжелое тело. Задыхаясь в воюющей, жесткой материи, Марина пыталась вырваться, но силы быстро иссякли, и она только безотчетно вздрагивала под нетерпеливыми, грубыми руками Адыла. Больно резанув по животу, разорвалась резинка трусиков. Неимоверная тяжесть вдавила Самарину в брезент.

— Марина, Марина, кызым, — бубнил сверху страшный голос.

Грубая и резкая сила вошла в Маринино тело. Она не знала, как долго это продолжалось. Марина жадно пыталась глотнуть немного воздуха, не доходящего до нее сквозь плотную коросту брезента. Наконец ей удалось повернуть голову. Она отчаянно схватила воздух открытым ртом, и в эту секунду навалившаяся на нее грузная туша содрогнулась в корче сумасшедшего наслаждения. В уши Марины ударил низкий, звериный рев, исходящий, казалось, не из человеческого рта, а из утробы хищного зверя.

— А-а-а! Кызым! — зарычал Адыл. Железные ладони его с дикой силой стиснули грудь женщины. — А-а-а! — мучительный, как умирание, стон наполнил комнату. — А-а-а!!!

И ощутив в себе это бешеное, слепое, последнее содрогание обезумевшей мужской плоти, Марина внезапно подалась бедрами навстречу Адылову порыву. Внутри нее всплеснулась темная, горячая, пронзительная волна. Острая боль невыносимого наслаждения спазмом вошла в живот. Марина закричала, стараясь удержать, продлить это неслышанное, никогда прежде не испытываемое ощущение, но оно продолжалось какие-то секунды и, поразив страшной силой все ее существо, исчезло так же внезапно, как и возникло. Марина всхлипнула и обмякла. Глаза закрылись.

Адыл отпустил ее и встал. Уши Самариной словно заложило ватой. Она ничком лежала на брезенте, нелепо втиснутая в обводы коровьей туши, и только бился внутри ошеломленного мозга бессмысленный вопрос: «Что это? Что со

мной было?» Она пыталась собрать в целое свои мысли, но мучительно ощутила, что не может этого сделать, и, умирая от унижения, поняла, что произошла катастрофа, разрушившая весь ее мир, что сотворенное над нею насилие навсегда будет связано памятью ее тела с инстинктивным, безумным всплеском преступного наслаждения, возникшего в ней вопреки воле и разуму.

— Больно, как больно... — прошептала она. Но перебивая эту, такую естественную в ее неестественном положении мысль, напыль поток других чувствований: — Больно, больно... приятно больно... приятно... приятно...

Тяжелая рука погладила по спине. Адыл бережно опустил вниз задранный на голову подол платья. И это прикосновение не было неприятно Марине.

— Марина, Марина, — послышался его голос. — Ты не умирала?

С усилием возвращаясь в явь, Самарина повернулась на бок и открыла глаза. Маленькие глазки мясника со страхом следили за женщиной. По лицу густо размазана кровь, крупный пот смочил возбужденное лицо и коричневую шею. Адыл попытался поправить лохмотья платья.

— Вах, вах, — сказал он испуганно. — Совсем, понимаешь, порвалась одежда. Надо другую купить.

Только тут до Самариной дошел весь ужас ее положения. Она оглядела себя. Подол платья изжеван, кокетка висит лохмотьями, плечо разошлось по шву. На животе расплылось большое кровавое пятно, перекочевавшее с брезента. Морщась, Марина застегнула лифчик.

— Что ты со мной наделал? — беспомощно спросила она. — Как я теперь выйду на улицу?

Она попыталась свести вместе ключья кокетки, но уронила руки.

— Господи, — прошептала Марина, — что же теперь делать?

Адыл засуетился.

— Сейчас поправлю, сейчас поправлю, — забормотал он. — Подожди минутку.

Мясник метнулся к двери. Заскрежетал замок, и Самарина осталась одна. Она сидела на краешке топчана, рядом с брезентовым ложем и бездумно смотрела перед собой. В подсобке стояла такая тишина, что Марина слышала глухие удары собственного сердца. Ни один звук не доносился с улицы.

Что я скажу Сергею?! Эта мысль обожгла мозг. Чем объясню ему все? Как смогу посмотреть в глаза? Какая же я дура! Зачем зашла сюда? Чего искала в этой комнате? Ведь Сережа спросит, как я попала в ларек. Что я отвечу? Что мясник пообещал богатый подарок, и поэтому я зашла. Сережа убьет меня! Господи, как же быть? Побегать в милицию, заявить, что изнасиловали?

Марина охнула. Она не смогла бы прожить в городе дня после этого. Их знали все, и они знали всех. Самарина на секунду представила степень унижения и позора, которые придется пройти, и взмолилась:

— Нет, ни за что! Только не это.

Вынести позор на всеобщее обозрение еще хуже самого несчастья.

— Ни за что на свете! — выдохнула Марина. — Лучше умереть!

Умереть?! О, это было бы прекрасным выходом! Она с радостью ухватилась за спасительную мысль. Чего ждать от будущего, раз прошлого ничем нельзя поправить? Как хорошо уйти из жизни, незаметно раствориться в безмолвии, ни о чем не думать, ничего не ощущать, все забыть, не метаться разорванным сердцем, не задыхаться от отчаяния! Это лучший выход из тупика, в который загнала ее жизнь. Все смертельные узлы разом бы развязались, не мучило бы раскаяние в своем невероятном легкомыслии, и не надо со страхом ждать, когда чистые Сережины глаза наполнятся гневом и презрением. Она никогда больше не встретит дикого, безумного, растоптавшего ее счастье зверя, к которому не испытывает никаких чувств, кроме недоуменного удивления.

Но ведь есть другая жизнь, та, к которой она привыкла за счастливые семейные годы, почему же в ней она ни разу не ощутила безумного воспарения, прорыва в слепую, притягательную бездну? Что произошло с ней? Почему она не чувствует себя оскорбленной, почему один-единственный невольный всплеск

черной волны смысл все прошлые чистые и ясные ощущения? Почему, рухнув в грязь, она не чувствует себя грязной, не чувствует несчастной, а только бесконечно и тяжело усталой?

Уйти из жизни... Почему уйти? Разве я преступница? Ведь это надо мной надругались, а сама я ни в чем не виновата. Почему я должна перестать жить? Не виновата? Да, не виновата. И если бы не те несколько секунд... Щеки ее запыхлала. Я не хотела. Я не знала. Я не хочу умирать. Не хочу. Пусть преступница, пусть навсегда виновата перед Сережей, пусть предала его в те проклятые мгновения, но я не хочу умирать! О, как я устала, как хочу спать, спать крепко и долго и проснуться, забыв обо всем. Спать, спать...

Вернувшийся в подсобку через полчаса Адыл обнаружил Самарину съжившейся в комочек на самом краешке топчана. Бледное лицо ее порозовело. Мясник нерешительно застыл над спящей женщиной. Складки на его лбу разгладились.

— Какая красивая женщина, — пробормотал он. — Как пери.

В руке Адыл держал сверток с платьем.

14

Нина Ивановна вытаращила глаза.

— Что это на тебе? — начала она, но наметанный глаз мигом определил происхождение необычного дочкиного наряда. Нина Ивановна знала наизусть все городские магазины. Она всплеснула руками: — Батюшки! Кто тебе насоветовал такую глупость? Выбросила двести рублей — на что? Целый год платье в витрине провисело, никому не понадобилось, и вот на тебе! Летом — панбархат?!

Марина, с трудом удерживая слезы, рухнула на диван.

— Ой, мамочка, причем здесь платье? Ой, мамочка! Ой, что же мне теперь делать?!

Лицо Нины Ивановны приобрело бульдожье выражение, губы поджались в ниточку, глаза заблестели.

— Что такое? Что случилось? С мужем, на работе?

Из глаз Марины хлынули слезы. Трясущимися губами она вымолвила несколько слов и задыхнулась. Рассказывать подробности не было сил. Но пришлось. Нина Ивановна слушала, окаменев. Ни одна морщинка не шелохнулась на лице, пока дочь жалко путалась в словах. Нина Ивановна только спросила:

— Внутрь сама зашла? Или силой затащил?

Самарина взвилась, как уколота. Мать нащупала самое стыдное.

— Но я же только посмотреть! У меня и в мыслях не было! А он накинулся, как зверь.

Нина Ивановна кивнула.

— Понятно. А что за подарок?

Марина охнула.

— Ты о чем, мама?! Он меня изнасиловал! Значит, если сама зашла — все можно? Ну уж нет! Я сейчас побегу к Сереже, в милицию! Пусть его арестуют, посадят! Пусть его расстреляют!

Мать решительно поднялась.

— Никуда не побежишь, — отрезала она. — Ишь чего выдумала. Позора на весь город не хватает. Довольно, находилась уже, набегалась. Пока я сама не разберусь, что меж вами произошло, ни о какой милиции и говорить нечего.

— Ты мне не веришь? — спросила Марина изумленно. — Мама?!

Нина Ивановна досадливо дернула плечом.

— Я, милая моя, жизнь повидала. Стреляного воробья на мякине не проведешь. Чего-то ты мне не договариваешь...

Дочь отшатнулась. Щеки ее запыхлала. Нина Ивановна внимательно вгляделась в ускользящие глаза Марины.

— Ну, если ты мне не веришь... — начала Самарина, но осеклась. Дальше шел сплошной стыд.

Мать поджала губы.

— Вот я и вижу, что дело нечисто. Сиди, жди меня и чтоб за дверь ни шагу. Я сейчас приду.

Марина притихла. Реакция матери потрясла ее. Нина Ивановна явно что-то учуяла.

— Куда она пошла? Неужели к мяснику? А вдруг он скажет? Господи, за что мне такое, Господи?!

15

Нина Ивановна вернулась через час. Сердце Марины бурно забилося. С чем пришла мать? Однако та не спешила. Шаги прошелестели по прихожей и удалились на кухню. Марина услышала шуршание бумаги. Секунды тянулись, как часы.

Самарина не выдержала. Она поднялась с дивана и пошла на кухню. Мать возилась у открытого холодильника. Марина взглянула на кухонный стол и обомлела. Груда мятой, выпачканной кровью бумаги, кольца домашней колбасы, большой розовато-белый ломоть грудинки, темно-коричневые шматы печени...

— Мама, что это?! Откуда, зачем?!

Вопрос был излишен. Гадать не приходилось. Откуда еще, как не из ларька на берегу Улак-арыка? Марина заплакала и вышла. Надвинулись сумерки. В комнату вошла полутьма. Самарина сидела, бессильно уронив руки.

— Что же это? — с отчаянием думала она. — Чего тогда ждать от Адыла, если мать, родная мать... Что сегодня — война? Блокада? С голоду умираем? Ведь холодильник набит продуктами. Зачем она взяла мясо? Где совесть? Значит, вот цена моего позора: колбаса, грудинка, печень? Мама, мама, как ты могла?!

Хлопнула дверца холодильника. Мать села на диван и взяла дочь за руку. Марина стиснула зубы, чтобы не закричать.

— Сердишься, дочка? — мягко спросила Нина Ивановна. — Осуждаешь? Вот мол, какая мать кусочница — родной дочерью торгует.

Марина молчала.

— Осудила, — устало вымолвила Нина Ивановна. — Отвернулась. Да только не нами сказано: «Не судите, и не судимы будете». Прежде чем отрезать, семь раз отмерить надо. Давай вместе и отмерим. — Нина Ивановна тяжело вздохнула. — Своей жизни я для тебя не хотела, своей судьбы. Я ведь тоже в молодости соболиные бровки имела. И отец твой, куда там, сокол парень был. Бывало, как глянет в глаза, так сердечко мое и зайдется! И я молодая была, и мне счастья хотелось. Вот и выскочила за сокола голоштанного. Потом ты родилась. Да вся силенская, болезная, что ни день, то какая-нибудь лихоманка и прилипнет. Работу бросить пришлось, иначе бы тебя не выходила. Первый год, считай, с рук не спускала. А зарплата одна. И жилья нет, по чужим углам мыкаемся. Сокол мой отроду чужой копейки не взял, сколько в цеху заплатили, на том и спасибо. Как хочешь, так и живи. Два года я кусок ото рта отрывала у себя и у сокола моего бестолкового. За это время он на Доску Почета попал да из трехсотой очереди на квартиру передвинулся на двухсотдевятисоттретью. Так бы до старости по чужим дворам и мыкались. Ан нет — собрала я все, что за два года от семьи оторвала, и положила на нужный стол. И зажили мы дальше в своем углу. Только бы жить. И ты маленько окрепла. А тут новая беда. На Колином заводе авария, печь стала. Внутри футеровка осыпалась, все забила, надо внутрь лезть, завал разгребать. Кто полезет? Ясно кто, у кого зарплата поменьше да горб потолще, тот и полезет. А он меня спросил? — закричала Нина Ивановна. — Дочке два года, в квартире голые стены, в кошельке ни полушки! Он меня спросил?! — Она минуту помолчала. — Пойти пошел, да назад не вернулся. И стали мы с тобой сиротами. На Доске Почета черный бант, на мне черная косынка. Печь и теперь работает, а Коли нет. Я без специальности. За мужа двести старыми положили, двадцатка на новые. Снова пошла в лаборантку, пробирки мыть за семьдесят целковых. Каждый грош на счету. О сладком куске да красивой тряпке и думать

забыла. Вечером комбинашку постираю, утром надену, другой не было. И так годы. В сорок лет старухой стала. А тебя музыке выгучить чего стоило? Вот они куда убежали, соболюшки над глазами. Жизнь такая, что и глаза выпила. Так неужто и тебе такую судьбу?! Нет, думаю, не допущу! Тут Адыл этот, Икрамов парнишка. Я и обрадовалась. Не я, так хоть Маринка жизнь по очередям не проведет. Парень при мясе, каждый день дармовой кусок — это тебе не завод, чтоб по печам лазить. Мне не пришлось, пусть дочка в холе и довольстве поживет. А что не красавец он, так и лучше — жену больше баловать станет. А ты: фух-бух, Сережку в дом. Муж, зятек самозванный! Что тут поделаешь, ладно, смирилась я. Видно, чужой ум не ум, пока своего не нажито. Глядь, поглядь на зятка — знакомый он мне. Сильно с покойным Колей схож. Ох и защемило сердце. Не тако- го я для тебя счастья хотела.

— О чем ты, мама? — с тоской перебила Марина. — Разве в том дело, кто ка- кую зарплату получает. Ты что, забыла, что Адыл со мной сделал?

Нина Ивановна вздохнула.

— Что он скот самый настоящий, о том и речи нет, — ответила она. — Это так. Только вот погляди. Не спеши решать.

Она полезла за пазуху и вытащила знакомую Марине коробочку. Марина вздрогнула. В сером полумраке комнаты молочно засветилась крохотная живая капелька. Нина Ивановна, любуясь, поднесла бриллиант к глазам.

— Это ведь тоже понимать надо, — прошептала она. — За всю жизнь такого не видела. За такое колечко он десяток девок мог иметь. Не букетик за пятерку. Другому год работать надо. Ничего не пожалел.

Марина застонала.

— Что же это такое, как ты могла взять?

Мать взяла ее за плечи, повернула к себе.

— А ты не стони, не стони, — жестко ответила она. — Не тебе стонать. Он ведь рассказал, как дело было. Ты чего мимо ларька все время шмыгала? Кому глазки строила?

— Я не шмыгала! — взвизгнула Марина.

Мать отмахнулась.

— Как же, не шмыгала. И в ларек не сама зашла. И под Адылом задом не крутила. И «еще, еще!» не кричала. То-то он до сих пор слюни пускает.

Марина икнула.

— Не таковская у Адыла голова, чтоб сказки сочинять. Не ходи близко огня, матушка, коли обжечься не хочешь. А теперь, что же, мужа ей подай, милицию... Еще неизвестно, что муж скажет. Муж не мать, у него другой спрос. А о мили- ции и думать забудь, там два Адыловых брата работают. Туда честной зайдешь, воровкой выйдешь. Нам ли с властью тягаться? Это полено не по нашему топо- ру.

Она вгляделась в дочь.

— Ну будет, будет, нечего пузыри пускать. Никто ничего не узнает, что бы- ло, то прошло. От этого еще никто не умер.

Нина Ивановна оживилась.

— Я с Адылом накрепко перетолковала. Ему болтать тоже резону нет, станет молчать, как рыба. Ну, а позор он с лихвой перекрыл. Другая за четвертак десять раз в ларек сбегала бы. А тут тысячи. Так тому и быть — мы молчок, и он мол- чок. Впредь умнее будешь.

Она обняла дочь, притянула к себе. Марина молчала, как каменная.

— Ну, давай поплачем вместе, что ли? Эх ты, неудача моя...

Марина задохнулась.

— Мясо зачем взяла?

— Мешает, что ли? — ворчливо отозвалась мать.

— Ах, мама, мамочка...

Нина Ивановна слезливо протянула в ответ:

— Бедная ты моя головушка, горькая ты моя-я-я...

Два плачущих голоса слились в один.

Сергей задержался на работе. Пришел позднее обычного. Марина встретила его в прихожей. Мелькнуло острое искушение броситься к мужу и, не медля ни секунды, рассказать о беде, облегчить душу; мелькнуло и пропало при виде радостного Сережкиного лица. Рот до ушей, глаза смеются, и чего лыбятся? Знал бы, что с ней приключилось, так небось не лыбился бы! Коли уж каяться, так все до ниточки, как и что, а разве это по силам? Может, попозже?

Муж с порога полез обниматься.

— Здравствуй, заяц! Соскучился, будто век не видел.

Марина выпуталась из настойчивых рук. Внутри ее всколыхнуло невольное раздражение. Ничего не заметил, слепой!

— Какой я тебе заяц? Сколько раз просила, не называй так. Только и слышу: заяц, заяц. У меня имя есть.

— Так не простой заяц, а любимый, — засмеялся муж. — Не серый, а голубой. Плюшевый. Ну, не буду, не буду. Я вижу, ты сегодня не в духе. Устала?

Марина дернула плечом и пошла на кухню. Сердце билось часто и неровно. Сергей мылся в ванной. Марина дрожащими руками расставляла посуду на кухонном столе. Сказать или промолчать? Сознаться или скрыть? Она на секунду представила Сережкины глаза и тихо охнула:

— Нет, нет, потом. Сейчас не могу.

Муж влетел на кухню, весело потирая руки, и кинулся к дымящейся тарелке.

— У-у-у, — удивился он, на ходу потянув ноздрями горячий парок, — па-а-а-ахнет. Вкуснятина.

Сережка ел, обжигаясь и захлебываясь, крутил головой и рассказывал о своих заводских завыках:

— Представляешь, Фролыч сегодня опять не вышел, второй день гудит, ну Петро Петрович ко мне: «Самарин, без тебя зарез, выходи во вторую смену, заплатим, как за праздничные». А я ему: «Забыл, Петро Петрович, как в том месяце было? Шесть смен я за других отпахал, а толку? Заплатили по тарифу. Ты мне одно, бухгалтерия другое. Нет, шабаш, больше не надуеть. Два часа по приказу, пожалуйста, приказ на руки, а «бабки» на кон. В случае чего, через суд. Последний раз выручаю».

Сергей засмеялся.

Марина машинально кивала. Она думала о своем. Муж поест, уткнется в газету, потом включит телевизор. Сегодня после «Времени» детектив, значит, на два часа прилипнет к экрану, потом... Что потом? Зевнет и скажет размо- ренно:

— Пора и честь знать, а, заяц? Не пойти ли нам бай-бай? Самое время.

Она нахмурилась. А потом? Застланная индийским покрывалом кровать, красный абажур торшера, Сережкина рубашка на спинке стула, прохлада крахмальной простыни, радужный остаток света в глазах, сброшенный халатик, Сережкины нетерпеливые руки...

«Скажу, нездоровится, — решила Марина. — Что я, заболеть не имею права? И вообще — каждый день, каждый день, ну сколько можно?!»

Она была сыта мужчинами по горло. И вообще...

В эту ночь она опять приняла в себя мужское семя.

Отложенное признание утратило остроту и необходимость. После недельной отяжки стало ясно, что откройся она теперь, с таким запозданием, у мужа вместо одного вопроса возникнет дюжина.

У Марины не было на них ответа.

Рана не смертельна, раз с ней можно жить. Время шло, и оно лечило. Нина Ивановна, наведываясь ежедневно, долбила свое:

— Смотри, не вздумай дурить. Мужу ни полслова.

Марина устало отмахивалась.

Жизнь бежала по привычному кругу ежедневных больших и малых хлопот. Муж, работа, дом; дом, муж, работа — дни складывались в недели, недели в месяцы. Происшествие на Улак-арыке словно бы смазалось в памяти.

Муж ничего не подозревал. Он весело кричал по утрам:

— С просьпончиком, зайчишка!

А отходя ко сну, убаюкивал, бормоча:

— Бай-бай, зайчик, бай-бай...

«Как серо все вокруг, как скучно, — думала Марина. — Жизнь какая-то неинтересная. Все хлопочут о пустяках, бегают, суетятся. А чего зря бегать? Ведь бегай, не бегай — все равно ничего не изменится. Ежедневно к девяти на работу, в шесть домой. Год копить деньги, ждать отпуска. Съездить на море и снова увязнуть в старом круге обязанностей и знакомств. И целый год то же, что и три, и пять, и десять лет назад. И это все, чем подарит жизнь, если еще удастся избежать болезней».

Все? А Адыл?!

Она спросила себя, а только ли пустое любопытство, невинное желание взглянуть на Адылову приманку толкнуло ее в черный провал ларька, только ли суетное бабье стремление вызнать, как высоко ставит ее персону Ромео в окровавленном фартуке, только ли это, спросила она себя и, стыдясь, призналась: что нет, не только, не только...

Было еще что-то: неясное темное чувство, с которым стоишь у края пропасти — и жутко, и захватывает дух, и вместе с тем неудержимо тянет продлить еще хоть на мгновение сосущий сердце сладко-ноющий страх, а непослушные рассудку ноги все наклоняют и наклоняют вперед одеревеневшее тело...

Марина осторожно отодвинулась от спящего мужа.

«Храпит, — всколыхнулась невольная неприязнь. — Ведь сколько раз просила, чтоб спал на боку. Так нет, обязательно разведет концерт. Вялый он у меня какой-то. Серый. Слишком уж правильный. Даже на работу ни разу не опоздал. Вялый, — снова мелькнуло в голове. — И жизнь с ним вялая и скучная. Все заранее известно. И любовь его какая-то серая. Скукота. Обязательно свет потушит. Обязательно спросит: — Можно зайчонка по спинке погладить? Ни разу муж не сделал ей больно, но и ни разу по-настоящему хорошо, вот, например, так, как тогда, в ларьке».

Адыл... Стоп! В мозгу Марины зажигался красный свет. Она запретила себе думать об этом. Когда злодейское имя впервые пришло на ум, Марина застонала и хотела ударить себя по лицу. Мерзкая, такая же мерзкая, как Адыл, — жглась она. — А мерзкую всегда тянет в грязь. Мало было испачкаться в дерьме, обязательно надо в нем еще и искупаться?

Серое, серое, какое все невыносимо серое вокруг, серое, как прошлогодняя вата в щелях оконных переплетов...

Шли дни.

18

С первыми несомненными признаками беременности Марина страшно перепугалась. Господи, да что же это такое? Как быть?

Она помчалась в женскую консультацию. Там осмотрели, поздравили и поставили на учет. Медсестра Алиме, одноклассница Марины, весело похлопала ее по животу:

— Ну, наконец-то! Молодец, Маринка! — И погрозила пальцем: — Теперь беречься надо. Сергею скажешь, чтоб этот месяц ни-ни! пусть потерпит.

Марина выскочила из консультации, ног под собой не чуя. С кем посоветоваться? Самарина побежала к матери. И только в двух шагах от дома Нины Ивановны изумленно спросила себя:

— Да что я, совсем с ума сошла? К кому бегу?

Нина Ивановна вот уже шесть дней, как отбыла на курорт.

Два часа Марина бесцельно слонялась по улицам, но, так ничего и не решив, пошла домой. Сергей встретил ее в дверях победным маршем:

— Тру-ту-ту, тру-ту-ту! — пропел он, приставив кулак ко рту.

— Ты чего? — невесело спросила Марина. — В «Спортлото» десять тысяч выиграл? Празднуешь?

Сергей бросился к ней с явным намерением обнять и закружить по тесной прихожей, но сдержал свой порыв. Он бережно взял жену под руку и провел в комнату. Марина едва сдерживала раздражение.

— Что ты дурачишься, в конце концов?

У мужа радостно заблестели глаза.

— Молчишь? — шепотом спросил он. — Скрываешь, сглазить боишься? А я уже все знаю.

— Что ты знаешь?!

— Да все знаю. Я Алиме сейчас на улице встретил. Она рассказала. — Он засмеялся. — Ты представляешь? Она поздравляет, объясняет, а я стою чурбан чурбаном и никак понять не могу, о чем речь. А потом, как палкой по голове — раз и дошло! Третий месяц! Вот это да! — Он шутливо погрозил жене пальцем. — Ой, заяц, ну и хитрюга. Не заяц, а лиса. Это тебе не «Спортлото». Я как чувствовал. Я знал...

— Не надо! Не говори!

Марина закашлялась. Она хотела сказать, что все это бред и выдумка, что ничего еще в точности не известно и что Сергею не стоит выдумывать загодя...

Муж опасливо замахал руками:

— Все, все, молчу, молчу... Ты только не нервничай. А я все на свете...

Он шагнул вперед и опустился перед женой на колени. Горячие руки бережно обняли Марину за бедра, темноволосая голова склонилась вниз. Едва касаясь губами, муж начал нежно целовать ее живот. Марина вжималась в спинку дивана, а Сергей все тянулся и тянулся к оплодотворенному лону жены сухими, счастливыми губами.

— Сын будет, сын, — едва слышно шелестело по комнате. — Сынок, Алешка.

19

Марина извелась. Чей? Сережи или Адыла? Нет, нет, только не этого изверга! Ведь в ту ночь они были близки с Сережей. Почему же непременно Адылов? Да, конечно, три года ничего не было и вдруг сразу после этого ужаса... А почему бы и нет? Она, конечно, забеременела от мужа! Иначе слишком страшно, невозможно...

Марина не находила себе места. Она почти убедила себя, что ребенок Сережин. Не последнюю роль в этом сыграл сам Сергей. Муж сдувал с Марины пылинки, оберегал от малейшего труда, беспрекословно выполнял любые прихоти. Она не могла, не имела права зачать от другого! И Марина поверила.

Лишь иногда, оставаясь наедине с матерью, она жалко всхлипывала:

— Мама, что же будет, мама?

Нина Ивановна решительно успокаивала:

— Ничего не будет! Родишь, как все рожают. Мало ли в кого ребенок может пойти. У кого в отца с матерью, у кого в двоюродного дедушку. Всякое бывает. Моя родная сестра с виду чистая бурятка, хотя мать с отцом кацапы исконные. Дядя — вылитый калмык, а родители его за деревенскую околицу не выходили. Так что ничего удивительного, случается.

У Марины бежали слезы.

— Не рюмься, — отсекала Нина Ивановна. — Твое дело есть так, чтоб за ушами трещало, да спать побольше, да грудь разрабатывать. А дурные мысли из головы выкинь. Все обойдется. Мужняя в тебе кровинка, мужняя и точка! И пусть Сергей только пикнуть попробует.

Нина Ивановна уже провела с Сергеем некоторую предварительную работу. Пару раз между делом рассказала зятю о своей вылитой восточной родне. Помянула монголо-татарское иго. Мол, старинный заквас нет-нет да и вылезет.

Зять удивлялся, хлопал глазами, соглашался с тещенькой, что природа непредсказуема, а гены и вообще — дело темное, никогда не знаешь, что откуда в детях вылезет и кто из них в кого ударит. Он, было видно, совсем не понимал, о чем идет речь.

Нина Ивановна настойчиво вдалбливала в Сергея казусы наследования раковых признаков. Придет время, это сработает, — дальновидно предугадывала она и поддакивала слюнявым фантазиям дочери. Ребенок зачат от Сергея, конечно! Утешала, а в голове неотступно складывалось: «Как бы не так. Как бы не так. Хотя бы первое время зятек ничего не сообразил, а там, глядишь, и привыкнет. Ребенок не котенок, от сердца не оторвешь. Да и то сказать, ведь не чистый же узбечонок будет, все же наполовину русак, вдруг в мать пойдет. Тогда и разговора нет. Посмотрим, чья кровь пересилит».

Впрочем, Нина Ивановна заранее предчувствовала, чья. Восточная кровь посылней славянской себя выказывала — примеров этому вокруг было не счесть.

Родился крепыш, темноволосый, с заметной смуглицей. У Марины тряслись руки, когда она впервые прикладывала сына к груди. Глаза ее со страхом ощупывали синевато-красное, важно нахмуренное личико, жадно искали в нем Адыловы приметы.

Сердце немного отпустило только после трехдневного дотошного изучения малыша — Марина не нашла ненавистных черт своего насильника в безбровом, кукольном личике Алешки.

Не нашла, или не захотела найти? Вопрос этот должно было решить время.

— Сережин, Сережин, — убеждала себя Марина. — Боже мой, какое счастье, Сережин.

Сергей обезумел от радости, узнав, что родился сын. Он сразу вознесся на сверкающие небеса и не сходил с них целых полтора года.

Но небо, к сожалению, плохо приспособлено для жизни.

20

Самарины собирались на базар.

Марина точила мужа:

— Что это такое? Все люди, как люди, одни мы, как дикари. Встретишь на улице подруг, от зависти лопаешься: с мужем под ручку, сумку он несет, сразу видно, что любит, бережет, а я навстречу тащусь, как последняя дура — сын в одной руке, сетка в другой! Где муж, где отец? На рыбалке прохлаждается! Если опять укажишь, домой не пушу, так и знай. Хватит! Пора семьей не только в свободное от рыбалки время заниматься. В воскресенье втроем на базар — ты, я и Алеша.

Сергей нехотя отнекивался. Самый жереховый жор в октябре на большой Киярской яме. С дружкой все сговорено — мотоцикл, пара спиннингов, раннее утро, парное дыхание реки, сладкий полновесный удар в пружинистое удилище, рыбок севшего на мертвый захват тройника белобокого красавца жереха... Какие там базары? Разве можно сравнить. Он надеялся, что жена поворчит, поворчит да и отстанет. Но к пятнице стало ясно, что супруга завелась не на шутку. Запахло крупным скандалом, и Сергей покорился. Бог с ней, с рыбалкой — мир в семье дороже. На базар, так на базар, в воскресенье, так в воскресенье.

Культоход состоялся. Сергей нес сына, Марина, прижавшись к мужу плечом, горделиво поглядывала по сторонам. Все, как у людей, — это ли не счастье?

Базар встретил шумной толчеей, пряными запахами фруктов и громкими возгласами продавцов. Сергей заинтересованно огляделся, как, однако, выросла торговля за последние годы. А народищу! Марина лавировала в толпе с опытностью старого лоцмана. Сергей старался не потеряться.

Жена схватилась с торговцем персиками:

— Рубль!

— Полтора!

— Рубль!

— Полтора!

Сергей отошел в сторонку. Алеша устроился на отцовских руках, как на пуховой перине. Он возбужденно крутил головкой по сторонам. Наконец Марина вышла с поля боя.

— Надо уметь покупать, — похвалилась она. — По рубль двадцать отдал.

Самарин видел, что рядом те же персики идут по рублю, но промолчал — не хотелось перебивать хозяйственный раж жены.

— Давай переложим в сетку. Луку еще надо, картошки...

Самарины отошли к газетному киоску.

— Здорово, Серега!

Самарин повернулся:

— А, это ты, Валер...

Валерка, слесарь из соседнего цеха, весельчак и зубоскал, был накоротке со всеми на свете.

— Базарим? Поощряем частника?

— Да вот, — объяснил Сергей. — Вырвались семейством.

Валерка, глянув на малыша, подмигнул круглым глазом:

— Твой?

— Мой! — горделиво подтвердил Самарин.

Валерка насмешливо протянул:

— А не соседский часом?

Самарина неприятно кольнуло в сердце. Баламут чертов. Что за дурацкие шуточки?

— Почему соседский?

Валерка весело подмигнул:

— Да он у тебя чего-то на дружбу народов шибко смахивает. От Анварова пацана не отличишь.

Валерка расхохотался.

Сергея передернуло от грубой шуточки заводского остряка.

— Трепач, — буркнул он, повернулся к жене и оторопел.

На Марине не было лица. В глазах стоял такой неприкрытый испуг, что Самарин невольно испугался сам.

— Ты чего, Марин? Ты чего?

— Что вы болтаете? — жалко залепетала жена. — Что за чушь? — и отводила от мужа молящий о пощаде взгляд.

— А чё? — смешался Валерка. — Я ничо. Просто говорю, мол, сильно на Анварова сынишку ваш пацан смахивает. Вылитый ошна. А так я ничо. Просто шутка, извиняйте.

Самарин стоял ошеломленный. Алеша похож на узбека? Да он что, спятил, этот Валерка? Сергей взглянул на сына. Алеша расплылся в улыбке. Раскосые глазенки говорили сами за себя. Самарин ахнул. Как же он не замечал того, что ясно первому встречному?

Сергей словно прозрел в мгновение ока. Валеркина шутка будто стронула с вершины горы давно копившуюся лавину. Но правда показалась Сергею слишком чудовищной, слишком невероятной. Он нелепо затоптался на месте, не в силах осознать, что произошло. Минуту назад все было светло, радостно — и вот надвинулась мрачная, черная туча.

Будто почуяв что-то, сын обхватил ручонками отцовскую шею, и Сергей инстинктивно прижал к себе хрупкое тельце с таким знакомым, родным запахом.

— Все в порядке, — машинально пробормотал он. — Все в порядке.

До него донесся откуда-то издали лишенный всякой эмоциональной окраски голос жены:

— Домой, идемте домой.

Сергей повернулся и пошел. Как смертельно раненного зверя, его вел сейчас инстинкт, присущий каждому живому существу: убежать, уйти, немедленно покинуть место, где получен смертельный удар. Так искалеченная машиной собака медленно ползет по асфальту, скулит от боли и оставляя за собой дымную

алую полосу; ползет в родную конуру в тщетной надежде укрыться в ней от неминуемой гибели...

Сергей неудержимо стремился домой, в привычную обстановку, туда, где еще час назад он был спокоен и счастлив. Жена неслышно шла рядом. Самарин боялся взглянуть на нее. Часы до вечера протекли, как годы. Подавленное настроение родителей передалось и ребенку. Алеша притих и, судя по нахмуренной мордашке, собирался захныкать. Пришибленная, затихшая Марина не спускала сына с рук. Она попыталась объясниться с мужем:

— Вот чепуха какая, правда? Сумасшедший какой-то. Несет всякую чушь.

— Правда, правда, — пробормотал Сергей, отводя глаза.

Его угнетала звучащая в голосе жены неискренность. Верить — не верить? Он не мог ничего понять. Надо как-то разобраться. Что же все-таки произошло? Пустяк, сальная шутка известного балаболки, и вдруг такой страх в глазах жены, какое там страх — ужас! Ужас и неловкие попытки вранья, и виноватый, чуть ли не преступный вид. Почему?! Он боялся даже подумать, что этому причиной. Валерка не мог угадать правду! Правду? Какую правду?! Алешка, Алешка... Кому какое дело до Алешки? Это мой сын, слышите, мой родной сын!!!

Всему бывает конец, и мучительному томлению тоже. Ночь наконец опустила на Байбад густой покров темноты. Молча поужинали, Марина покормила сына, молча легли спать.

Сергей лежал, стиснув зубы, и мучительно ощущал, как жена старается ненароком не задеть его, чтобы не разбудить. Оба, не сговариваясь, делали вид, что спят, и оба не спали. Мысли разрывали душу Сергея.

Неужели жена не верна ему? Обманывала? Значит, у нее был или даже есть любовник? Но этого не может быть! Неужели... Алеша... не мой сын?... не сын?!

Она? Такая брезгливая? Не может быть! Марина любит его! Она честная женщина... Он же хорошо помнит, как она вскрикнула и застонала, когда они впервые... Застонала? Ну и что?!

Сергею припомнились скабрзные байки своего ак-дарьинского приятеля Володьки-Освода, у которого он изредка брал моторку. Самарин пару лет назад ремонтировал освоводский катер, и с той поры начальник спасательной службы привечал слесаря.

Подвыпив, Володька не раз делился с собутыльниками секретами немислимых женских уловок, от которых не было спасенья бедным простоватым мужикам. Выходило, что попасться на бабью хитрость любому мужику проще, чем плотве на крючок...

Надо вспомнить, сравнить, понять, проверить! Обманула Марина или нет?! Может, у нее и до него были мужчины? Тогда ничего удивительного нет?! До Сергея гуляла, что стоит и дальше продолжать казачить мужа?

21

Под утро Сергей извелся вконец. В комнату вползал тусклый рассвет. Самарин скосил глаза. Жена лежала рядом, тихо и ровно дыша, и непонятно было, спит она на самом деле или притворяется. Сергей решил, что спит. Он осторожно встал и, стараясь не шуметь, подошел к детской кровати.

Сын тихо посапывал крошечным носиком, сбив в ноги одеяльце и раскинув по сторонам пухлые ручки. Самарин склонился над изголовьем. Измученные бессонницей воспаленные глаза вобрали в себя круглощекое детское личико с нахмуренным во сне низким лобиком — знакомый, родной облик ребенка вдруг показался отцу пугающе далеким и чужим. «Не мой, — со страшно забившимся сердцем подумал он. — Ничего похожего. Нет, не мой».

Припухшие маленькие веки сомкнуты, крохотные кулачки сжаты — Алеша завозился и сонно причмокнул. Самарин, обмирая от боли в сердце, вновь отметил косой восточный разрез глаз и уплощенность маленького матового личика.

Сзади послышалось движение. Сергей обернулся.

Жена, приподнявшись на локте, следила за ним безумным, испуганным взглядом смертельно раненной самки. По ее отчаянной готовности немедленно

защитить от родного отца их мирно спящего ребенка Самарин понял, что Валерка не ошибся. Сердце его сжалось, руки затряслись. Он подошел к жене.

— Кто?

Марина тяжело дышала. В полумраке влажно мерцали занимающие все лицо глаза. Сергея охватило отчаяние:

— Говори! С кем ты мне изменила, кто отец Алеши?! — Сергей притянул Марину к себе. — Говори!

У жены заклокотало в горле:

— Сережа!

— Говори, сволочь, говори, убью! — голос его сорвался.

Жена жалко съежилась.

— Сережа, родной!

Неудержимая ярость вспыхнула в Сергее. Родной?! Да как она смеет?! Родной! Нагуляла с каким-то гадом ребенка, подсунула крапивника, как сына! И теперь, когда все открылось, имеет наглость называть родным обманутого, опозоренного человека?!

— Соседский кобель тебе родной, а не я! — закричал он. — Говори, кто он, а не то разорву в клочья тебя и... и...

— Сережа, милый, родной, я не виновата! Меня изнасиловали! Я не хотела, я отбивалась, Сережа! Я хотела все тебе открыть, но мама меня удержала, Сережа! Мы боялись тебе сказать!

— Значит, правда, — выдохнул Самарин.

До этой минуты, до слов жены «Меня изнасиловали!» он все не верил в страшную правду, не хотел верить! «Как же я ничего не заметил? — ошеломленно подумал Сергей. — Полтора года сыну. Ведь вылитый узбечонок! Так сильно, так мучительно долго ждал он рождения сына, что появление Алеши затмило ему глаза, ослепило, сняло все подозрения. Сергей горько поправился: — Какие подозрения, с чего? В том-то и дело, что не было никаких подозрений! Кого подозревать, Марину?»

— Рассказывай все.

— Я боюсь.

— Не бойся. Все, от начала и до конца.

— Только ты верь мне, Сережа, верь. Я не хотела.

— Верю. Говори.

Серый полумрак, прерывистое дыхание, жалкие, страшные, убивающие сердце слова.

22

Сергей выскочил на улицу и бросился к остановке.

— Убить гада, запороть насмерть, отомстить! — бешено стучало в голове.

На автобусной остановке толпился народ. Не в силах ждать, Сергей заметался по улице. Его слегка подташнивало. Да где же этот растреклятый автобус? Автобусом и не пахло. Народа все прибавлялось.

— Хлопковая кампания, — опомнился Сергей. — Черта лысого дожدهшься.

Пешком! Самарин ринулся на новый мост. До ларька на Улак-арыке двадцать минут хорошего хода.

Ларек... Сергей вздрогнул. Что-то больно укололо в сердце. Ларек... Он верил и не верил жене. Может, какая-то ошибка? Может, я сплю и вижу дикий, неправдоподобный сон и, проснувшись, посмеюсь над своими страхами? Сергей проглотил слюну. Утешаться баснями не было причины. Какой к чертям собачьим сон? Ему припомнились жалкие, бегающие глаза, срывающийся голос Марины, красные пятна, густо проступившие на лице и шее, дрожащие губы, которые он так часто и нежно целовал...

— Боже мой, — застонал Сергей, — да как такое могло случиться? И почему именно с моей женой?!

Он невольно ускорила шаги. Под ногами захрустел гравий. За брючины цеплялись колючки. Показались кружевные фермы Синего моста. Сергей и не за-

метил, как отмахал почти два километра. Теперь через Синий мост, вверх по улице, а там и Улак-арык.

Внутри у Самарина похолодело. Он стиснул зубы. Я тебе не баба. Меня силой не возьмешь. Встало перед глазами оплывшее лицо мясника, круглый, как у беременной женщины, живот Адыла, жирные мускулистые руки... Сергея затошнило. Представить невозможно, что эта восьмипудовая, сопящая туша наваливалась на его Марину, такую хрупкую, с тонкими, почти лишенными мускулов, руками.

— Раздавлю, как червяка! — выдохнул Самарин. — Руки, ноги переломаю.

23

Адыл отвесил мясо очередному покупателю.

— Следующий!

К прилавку подошел высокий чернявый парень с бледным лицом.

— Слушай, ты, мясник, поговорить надо, — тихо сказал он.

Адыл отмахнулся от парня, как от докучливой мухи. Сразу видно, что работа. Сколько такой купит? Еще, пожалуй, попросит отвесить полкило.

— В очередь становись, — ворчливо ответил он. — Старики стоят, а ты наперед лезешь. Лучше всех, что ли? Вам что? — обратился он к очередному клиенту.

Парень шагнул вперед и, отодвинув локтем очередника, зло сказал:

— Тебе русским языком сказали — поговорить надо.

Руки Сергея чуть вздрагивали. Голос срывался. Только тут мясник догадался, что перед ним не покупатель.

«Где я его видел? — с внезапно возникшим внутри неприятным чувством подумал Адыл. — Новый ОБХСС? Вряд ли. Хусан сразу предупредил бы, если новый. Может, народный контроль? Тех часто привлекают с завода. Ну, у меня не продмаг, на обвесе не заловишь. У меня — цена. Чепуха, — успокоился он».

— Говори, чего хочешь?

— Здесь нельзя. Люди. Выйди.

— Что за секреты? Какая такая тайна? — обеспокоился Адыл. Впрочем, бояться было не в его характере. Он кивнул назад. — Иди туда.

Очередь зашумела, видя, как мясник отходит от весов.

— Сейчас, сейчас, — успокоил клиентов Адыл. — Одну минуту. Сами видите.

Он прошел в подсобку и откинул брус. Распахнулась дверь. Сергей вошел в комнату. Перед ним горой жирного мяса высился Адыл.

— Ну, чего тебе? — недовольно спросил он.

Сергей молча рассматривал мясника. Адыл раздражился.

— Говори, чего надо! Люди ждут, видишь, время нет.

— Время нет? — переспросил Самарин. — Ничего, найдешь время. Не узнал меня?

Адыл подал плечами:

— Первый раз вижу. Говори, чего хочешь?

— Я Сергей, муж Марины Самариной.

Адыл засопел и нахмурился. Вот в чем дело. Ну, ну. Вот, значит, человек, который украл мое счастье. Худой, высокий. Губы дергаются. Адыл усмехнулся. Нет, у него не стали бы дергаться губы, случись ему повстречать человека, взявшего силой Адылову жену. Ну, давай поговорим. Адыл готов к разговору. Он сватал Марину, когда она еще и знать не знала. Серия. Чего он влез? Все равно Марина принадлежала Адылу. У нее ребенок от него, Адылов сын! Три года этот худой парень жил с чужой любимой и не смог сделать ей ребенка! Выйди пять лет назад Марина замуж не за него, а за Адыла, у нее было бы уже четверо детей! Адыл голову бы заложил, что сыновья! А этот только зря мучил женщину. Он оглядел Сергея ненавидящими глазами. Приперся неизвестно зачем. Адыл честный человек. Он покрыл свой грех. Для сына ничего не пожалел.

— Говори, зачем пришел?

Сергей проглотил вставший в горле острый комок. Мучительное напряжение последних часов оставило его. Кровный враг стоял напротив. Все рассказанное женой было правдой до последнего зернышка. Чего зря болтать — надо ломать эту тушу. Он стиснул костлявый кулак.

Удар пришелся в переносицу. Адыла швырнуло на лавку. Из разбитого носа фонтаном хлынула кровь. Сергей быстро шагнул вперед. Добить!

Но мясник, грохнувшись спиной о доски, с неожиданной в таком неуклюжем теле поворотливостью вскочил на ноги. Арбузных размеров кулак с космической скоростью помчался навстречу Самарину. Попади Адыл в голову Сергея, лежать бы оскорбленному мужу на бетонном грязном полу подсобки, подергивая ногами в предсмертных конвульсиях. Но удар лишь слегка зацепил Самарина. Этого «слегка» хватило, чтобы Сергей отлетел в угол.

В подсобке разгорелась свирепая драка. Через минуту противники были окровавлены с головы до пят. Звуки хлестких ударов и дикие хрипы долетели до очереди, томящейся у покинутого Адылом прилавка. Люди заволновались. В щель двери подсобки сунулась и тут же исчезла любопытная голова: назревало убийство.

У Адыла на месте носа растекся багровый, вспухший кровоподтек, глаз заплыл, грязный халат повис ключьями. На Сергее, казалось, не было живого места, но он упрямо лез и лез вперед, со страшной силой бил окостеневшими кулаками в кровавое месиво и отлетал от встречных ударов. Взгляд Сергея упал на плаху в углу подсобки. Там блестел металл. Самарин метнулся в угол. Ага! Теперь есть чем поставить точку. Схватив тяжелый тесак, он повернулся к мяснику.

Адыл захлебывался кровью. Грудь бурно вздымалась. Мясник увидел угрожающее сверкание стали в руках Самарина. Адыл разом разорвал на себе рубаху. Жирная, безволосая грудь обнажилась. Выпал огромный, тугой живот.

— Ты мужчина?! — прохрипел он, делая шаг навстречу Сергею. — Кулак на кулак боишься, резать хочешь? На, резай! Я с голыми руками не боюсь! — Он распахнул края лохмотьев. — Ты трус! Я с твоей бабой спал, а ты целых два года боялся как мужчина со мной говорить! Теперь железку схватил? Коляй на сердце!

Сергей остановился. Руки его дрогнули, пальцы разжались. Тесак, зазвенев, упал на бетон. Страшная усталость охватила Самарина. Он шагнул к стене и опустился на топчан. «Вот тут, — мелькнула бессильная мысль, — на этом топчане все и произошло. Кончилась в тот день моя жизнь и ничего теперь ничем нельзя изменить». Он опустил голову.

Мясник, отдышавшись, присел на краешек топчана. Теперь смертельные враги находились в метре друг от друга. В подсобке повисло молчание. Первым его нарушил Адыл. Он провел ладонью по лицу, стер кровь и глухо уронил:

— Я — честный человек. Я — мужчина. Обвес никогда не делаю. Дерусь один на один, только на кулаки. А ты нож хватал. Нечестно.

— Тебя в куски порубить мало, — отозвался Самарин. — Честный человек. Что ты с моей женой сделал?

— Я свой грех покрывал, — горячо вступил Адыл. — Когда я Марину сватал, ты где был? Я с ее мамашкой договорился, все дело решенное было — ты зачем влез? Девушку у меня украл. Я тебя тогда убивать хотел, только моя мамашка говорила: «А, Адыл, ты тюрьму пойдешь, «менга» что будет? «Менга» от горя умирать будет». Я не пошел убивать. Я кровью плакал, когда твоя свадьба была. На куски меня рубить надо? Тебя надо! Ты мою жизнь разбивал.

Пораженный Самарин повернулся к мяснику:

— Ты, видно, спятил, Марина жена моя. Пять лет, как жена. Ты о чем болтаешь? Сватал, не сватал. Мало ли кто кого сватал? Если когда-то сватал, так можно насиловать чужую жену?

Адыл отмахнулся:

— Чужая, чужая. Сам ты чужой! У меня от сердца она никогда не уходила. Ты три года с Мариной жил — где твои дети?! У Марины от меня сын есть, от тебя нет. Мой сын, Адыла сын! — Он гордо ударил себя кулаком в грудь. — Ал-

лах показал, чья она жена. От тебя не рожала, от меня родила. Моя женщина. Ты чужой!

У Сергея затряслись губы.

— Не твое это дело, гад! — закричал он. — Ты ее силой взял! Силой! Она не хотела!

Адыл замотал головой.

— Силой не брал! Силой не брал!

— Как не брал? — взвился Сергей. — Все платье на ней изорвал! Изнасиловал!

— Сама ко мне заходила, — забубнил мясник. — Я подарок давал, две тысячи стоит. Когда я платье рвал, она вид делала, что не хочет. Сама хотела, я сразу понял.

— Врешь, гад! — в отчаяние крикнул Сергей. — Чтоб тебе подавиться своими подарками, жирная морда!

Адыл обиженно засопел.

— Я не жирный, я сильный. Совсем не вру. Мамашка, Нина Ивановна, сама говорила: — Все в порядке, Адыл. Марина обиды не держит. Мамашка каждую неделю мясо бесплатно берет. Я не жадный. Два года прошло, мясо без денег даю. Пусть Марина кушает, пусть сын кушает.

Сергей вытаращил обезумевшие глаза!

— Нина Ивановна каждую неделю берет у тебя мясо?

Адыл хмыкнул:

— Как будто не знаешь. Я честный человек. Сына сам кормлю.

Сергей обхватил руками голову. Какой стыд! Так вот откуда тещин приворок! Вот к кому они с женой встали на бесплатное довольствие!

Мясник продолжал:

— Когда ребенок родился, Нина Ивановна говорила: «Адыл, у тебя сын!» Я радовался. Две дочки Лола рожала, сына нет. Плохо. Нина Ивановна говорила, я сильно радовался. Аллах меня отмечал. Я хотел сына забирать. Нина Ивановна ругалась: «Ой, Адыл, ты дурак, ты глупый человек! Ребенка кто отдаст? Пусть у Марины растет, пусть у мужа растет, ты только деньгами помогай». Я в сердце плакал — мой сын в чужом доме растет, чужого человека «ота» называет. Пятьсот рублей давал, говорил: пусть Марица гарнитур покупает.

Сергей в отчаянии закрыл глаза. Он не мог дышать. Каждое слово хлестало плетью. Детский мебельный гарнитур! Тещин подарок на зубок малышу. Он вспомнил, как благодарил Нину Ивановну, удивлялся тещиной щедрости, поверил, что рождение ребенка принесло не только счастье, но и мир в его семью. Теперь Нина Ивановна примирилась с тем, что мужем ее любимой дочери стал простой слесарь. Знаком, символом этого примирения был тещин подарок. Так вот чей это подарок!

— В моей жизни все равно счастья нет, — уныло сказал Адыл. — В деньгах хоть купайся, дети растут, дом есть, машина, все есть, чего люди хотят, а сердце болит. Как забрал ты Марину, радость кончилась.

Он тоскливо оглядел Самарина.

— Почему она за тебя замуж пошла, никак не понимаю. Ты на заводе работаешь, денег никогда нет и не будет, сам худой...

Самарин повернул к мяснику ослепшее лицо:

— Ты мне жалуешься? — спросил он. — Наделал подянки, да мне же и жалуюсь?

Вся Сергеева ненависть, все недавнее жгучее желание мести растаяли без следа. Он оглядел нелепо скорчившуюся на краю топчана огромную фигуру. Адыл раскачивался и сопел. Избитое лицо было печально. Хлюпающий голос нанизывал и нанизывал на невидимое ожерелье бусины слов.

— Жить нет интереса. Ночами не сплю, все думаю, думаю — где мое счастье потерялось? Ничего придумать не могу. Слушай, Серожка, — внезапно оживился он, — отдавай мне, пожалуйста, жену. Ребенок мой, тебе все равно убытка нет. Я деньги дам, — заторопился мясник, заметив искры, вспыхнувшие в глазах

Самарина, — много денег. Я богатый человек, ты тоже богатый будешь. Машину купишь, кататься будешь, любую другую девушку в жены возьмешь, а, Серожка?

Самарин взглянул на багровое лицо, устремленное к нему с невероятной надеждой, и сплюнул. Чем такого проймешь, как объяснишь?

— Заткнись ты, ради Бога, — ответил он устало. — Мелешь всякую ерунду, сам не понимаешь, чего мелешь. Мало я тебе морду нахлестал, так ничего путем ты и не понял.

Адыл задвигался.

— Я согласен, согласен! — радостно зачастил он. — Хочешь бить меня, бей, пожалуйста, согласен. Бей, сколько хочешь, только Марину и сына отдай.

Сергей махнул рукой.

— Хорош, поговорили.

24

Дверь в подсобку распахнулась. Вихрем мелькнули милицейские погоны. Не успевший ничего сообразить Самарин полетел с топчана и плотно впечатался в бетон. Сверху навалилось мускулистое тело. Захрустела заведенная за лопатку рука. Страшная боль пронзила спину.

— Не убежишь! — торжествующе рычал сверху возбужденный Хусан. — От меня еще никто не убежал. Давай веревку, — крикнул он, — сейчас свяжем.

Сергей зашевелился, пытаясь высвободиться из тисков. Хусан сдавил так, что потемнело в глазах:

— Не рвись, у Икрамова не вырвешься. Не таких брали.

По комнатке гулко затопали сапоги. Руки Сергея завели назад и ловко опутали веревкой. Хусан чуть ослабил хватку.

— Ты зачем сюда приехал? — закричал Адыл. — Тут мужской разговор, зачем милиция мешает?

Хусан встал. Сергей со стоном повернулся на бок. Комнатка была полна людей. У стены два милиционера, еще один оперся о косяк в дверях. Мясник размахивал руками и горячился.

— Не в свое дело не лезь! — наступал он на брата. — Я тебя просил человеку руки крутить?

Хусан слушал, глядя сузившимися глазами.

— Уходите из ларька! В своих делах я сам разберусь!

Худое лицо Хусана искривилось.

— Я бандита арестовал! — прорычал он. — Он сопротивление оказал, а я в форме. Я — власть! — Хусан потыкал пальцем в погон. — Я на службе, а он со мной дрался.

— Какая власть, какая служба?! — закричал Адыл. — Ты мой брат! Говорю — уходи, значит, уходи!

— Старший брат! — огрызнулся Хусан. — Не забывай этого. Салим, — обернулся он к милиционеру, — подтверждй факт. Сопротивление представителю власти.

Милиционер согласно закивал:

— Сажать надо хулигана.

— Теперь не твое дело с бандитом разбираться, — раздраженно бросил Хусан Адылу, — теперь твое дело сторона. Лучше поезжай к Маруфу в поликлинику и возьми справку о телесных повреждениях. Судить будем. Семь лет давать. Узнает, как с милицией драться.

Самарина подхватили под мышки и поволокли к выходу. Он попытался заговорить, но, получив кулаком в бок, смолк.

Адыл схватил брата за руку. Хусан рванул локоть:

— Сказал, не отпускаю, значит, не отпускаю. Все, отстань, не мешай работать. Вечером поговорим.

Адыл остановился.

— Ладно, — сказал он, — ты до вечера отпускай человека.

Хусан Икрамов выгодно отличался от сослуживцев: в промозглую, сырую погоду его сапоги зеркально светились, стрелками брюк можно было запросто шинковать морковь к плову, слегка приталенный милицейский китель плотно облегал выпуклую грудь, жесткие черные волосы блестели от бриллиантина. Не просто было доставать это дефицитное снадобье, но Хусан доставал. В заднем кармане притаился флакончик «Шипра», и Икрамов время от времени протирал одеколоном сизо-выбритые щеки.

Такого старания не могло не заметить даже равнодушное ко всему на свете начальство. Парнишка Икрама-оты явно целил выбиться в верха. Но не начищенной пряхкой покоряют мир. На рынке власти ходила своя валюта и высоко котировался иной товар: изворотливость, коварство, умение ладить с начальством, идти в одной упряжке с сильными людьми, — хватит ли на это молодого Икрамова?

Икрамова хватило.

Отслужив год, сержант Икрамов поступил на заочное отделение юрфака университета. Совершив этот геройский поступок, он еще раз возблагодарил Аллаха за то, что живет на родной земле, тропы и тропинки которой, в том числе кривые и окольные, были известны ему назубок.

Хусан, получив аттестат зрелости, с трудом разбирал печатный текст. Однако этого научного багажа вполне хватило для преодоления конкурсного порога высшей школы. Стоит ли говорить, что на вступительные экзамены рядом с Икрамовым шел на коротком поводке ласково блеющий барашек... в бумажке.

Хусан возвратился в Байабад сияющий. Студент юрфака — серьезная заявка на карьеру и самостоятельную судьбу. Сослуживцы завидовали, начальство насторожилось. Но был еще барьер, не взяв который нечего и мечтать о сияющем будущем. Окрыленный научными успехами, Хусан решил одолеть препятствие с ходу. Он чувствовал, что железо судьбы раскалено, — ковать и ковать не медленно! Икрамов подал заявление в партию. Руки Хусана дрожали, когда он протягивал замполиту просьбу о счастье. Замполит прочитал документ и спрятал в стол.

— Рекомендации... — пискнул Хусан.

— Вижу, — сухо ответил майор Ким. — Вы свободны, товарищ сержант. Мы рассмотрим ваше заявление. Но, конечно, не сразу. Придется немного подождать. Очередь.

Хусан запоздало пожалел, что и тут не мешало бы захватить с собой «барашка», но после недавнего короткого знакомства с корифеями науки бедное животное страдало дистрофией и нуждалось в выпасе на тучных нивах торговых правонарушений. Хусан вздохнул и молча вышел из неприветливого кабинета.

Через полгода выяснилось, что его заявление случайно потерялось. Хусан огорченно пожевал губами, но новой бумаги писать не стал. Он верил, что пропавшая грамота найдется, хотя Икрамову давалось понять, что, несмотря на предельную близость локтя, укусить его не просто. Хусан долго размышлял и докопался до оригинального решения.

На очередном открытом партсобрании он поднял руку.

— Вам чего? — несколько растерялся замполит.

Майор порывлся в бумагах. Забыл, что ли? Нет, Хусан не числился среди лиц, прошедших инструктаж и назначенных к выступлению.

— Хочу слово сказать.

Теперь насторожился весь президиум.

— По какому вопросу?

Хусан подтянулся.

— Поддержать инициативу передовых.

Какую именно инициативу и каких передовых он благоразумно умолчал, ибо для этого требовалась информация, превышающая объем Хусановых возможностей.

Президиум мало интересовали подобные несущественные детали.

— Поддержать инициативу? А-а-а, ну давай, давай, — успокоились за зеленым столом.

Икрамов полез на трибуну. Однако сказался явный недостаток опыта. Стоило Хусану увидеть перед собой набитый людьми зал, как из головы мигом выскочило все, что он вколотил в нее за три недели зубрежки. Адов труд пошел на смарку. Заикаясь, Хусан пробормотал несколько предложений и обессиленно умолк. В косноязычной сумятице промелькнули привычные «последние решения» и «горячо одобряем» — они-то и спасли незадачливого оратора. Замполит расслабился под знакомую сурдинку:

— Так, хорошо, хорошо, — ласково покивал он. — У вас все?

— Все, — ответил Хусан подавленно.

— Ну что ж, правильное выступление, своевременная инициатива. Мы все, как один, поддержим ее. Как думаете, товарищи, поддержим? — обратился он к залу.

Коллектив ответил аплодисментами на коварный вопрос руководства.

Весьма недовольный собой Хусан покинул трибуну. Лихой кавалерийский наскок не удался. Требовалась планомерная, этапная осада цитадели власти.

Хусан вступил в десяток мифических добровольных обществ: лесное, спасательное, оборонное, книжное, пожарное, стал завсегдатаем высокаторжественных, торжественных и вовсе не торжественных собраний. Он даже начал пописывать в стенгазету горотдела. Рвение было замечено и одобрено.

Но Хусана сжигал неудовлетворенный ораторский пыл. Теперь сержант Икрамов всегда брал слово. Он горячо поддерживал, одобрял, негодовал, проявлял законное возмущение, от всей души разделял... И чувствовал Хусан всегда в унисон с очередной газетной передовицей, что не смущало ни оратора, ни слушателей. Авторитет его рос не по дням, а по собраниям. Хусан начал готовиться к подвигу.

Несколько месяцев он с открытым ртом внимал наезжающим из области лекторам. Сержант скоро обнаружил, что записные златоусты чрезмерно не утруждают себя. Очередное соло гастролера повторяло предыдущее. Источник вдохновения областных цидеронов долго искать не пришлось — он обнаружился на столе у замполита. Хусан случайно взял в руки новенькую, нечитанную брошюрку, скучая, перелистал, да так и впился глазами в удивительно знакомый текст. Брошюра называлась «Речь по случаю торжественного заседания, посвященного...» — дальше Хусан читать не стал. Он, выпросив брошюру у изумленного таким жадным всплеском тяги к политическому самообразованию замполита, унес ее домой.

Пять месяцев напряженного труда понадобились сержанту Икрамову, чтобы вы зубрить на память десять страничек вдохновенных откровений московских теоретиков. Свободное время превратилось в жесточайшую, изнурительную пытку. С выступившими на лбу крупными каплями пота и остекленевшими глазами Хусан часами выхаживал из угла в угол и бубнил вслух ничего не говорящие ни уму, ни сердцу диковинные словообразования. Не раз и не два Икрамов терял надежду осилить словесную кабалистику и на день, другой бросал непосильную работу. Он проклял минуту, в которую на его глаза попала эта шифровальная таблица. Как он ни силился, не мог уразуметь в ней ни единого слова. А слов пришлось заучивать сотни. Еще счастье, что они постоянно повторялись.

— Развитой социализм, загнивающий капитализм... — очумело повторял Хусан, отчаявшись понять, что означают все эти «измы». Он испуганно спохватывался, не ошибся ли в треклятых «измах», не перепутал ли, храни Аллах, кто из них развитой, а кто загнивающий?!

Терпение и труд все перетрут. Осилит, наконец, и Хусан свою гору. На очередном партсобрании Икрамов дебютировал. Без малейшей запинки он оттарбанил восемь абзацев казуистической классики, перемежая оригинальный текст мелкими реалиями городской текучки, и на минуту остановился. Какое впечатление на массы производит его оратория? Успех превзошел все ожидания. Даже

начальник горотдела, мирно спавший в президиуме, проснулся от рукоплексаний.

После собрания Хусана зачислили в резерв на выдвижение. Замполит подождал Икрамова и порадовался неожиданным подарком судьбы: потерянное год назад Хусаново заявление о приеме в партию сегодня утром случайно нашлось.

— Хорошая весть, — улыбнулся Хусан.

Замполит, вскользя, пошутил про бакшиш. Хусан приложил руку к груди.

— Обычай знаем.

— Три рубля, — сказал замполит в сторону.

Хусан побагровел.

— Я активист! — возмутился он.

Замполит показал головой вверх.

— Агитатор!

Майор развел руками.

— А стенгазета, а поддержка инициативы?!

Замполит сдался.

— Два, самое меньшее, — строго сказал он. — Тут тебе не базар. Первый раз в жизни таксу ломаю.

Две тысячи рублей Хусан взял в долг у Адыла. «Теперь я тоже человек партии», — шептал он по ночам.

Радостное событие совпало с окончанием первого курса университета. После вручения красной книжечки Икрамова перевели в следственный отдел на должность дознавателя. Осталось четверть шага до исполнения заветной мечты.

Хусан пошептался с отцом. Спугнуть удачу легче легкого — ничем нельзя пренебрегать, чтобы задобрить капризную судьбу, никаким, еще предками завещанным способом.

Вечером соседи узнали, что Икрам-ота справляет день рождения и понимающе покивали головами — кто ж не знал, что Хусана назначили следователем? — вся махалля знала. Собрались старики, заглянул на минуту мулла. Плов был хорош.

Хусан посидел полчаса на отцовском юбилее, послушал, что говорят белые головы, и почтительно согласился с мудростью старцев. Старики благожелательно осмотрели молодого Икрамова и одобрили. Отныне во всех своих делах Хусан мог твердо рассчитывать на невидимую, но могучую поддержку подводного течения жизни своего народа.

У Хусана хватило ума делать вид, что ничего особенного не произошло. Ну, назначили на офицерскую должность, так ведь она, если разобраться, не такая уж офицерская, ну, в следственный отдел, так в следственный, не боги горшки обжигают, потянет и Хусан Икрамов, человек без пяти минут с высшим юридическим образованием. Ну, приняли в партию и приняли, значит, достоин, раз не отказали. Хусан от успехов ничуть не изменился, как был образцовым сержантом, служакой и своим парнем, так им и остался...

Он делал вид, что не изменился, и лучше всех сознавал, что он теперь с головы до пяток совершенно иной. Внешне еще удавалось сохранить маску, оболочку вчерашнего Хусана, но внутри его уже распирало счастливое ощущение исполненной мечты, упоение стократно возросшей силой, могуществом, властью.

Хусан достиг почти всего, о чем еще вчера мог только мечтать! И как точно, как безошибочно, как мгновенно почувствовали это сослуживцы! Поджали хвосты, а некоторые и угодливо завияли ими!

Хусан наслаждался обретенным могуществом: во время ничего не значащего разговора с бывшим напарником по патрулю внезапно смолкал и пристально вглядывался в знакомое лицо. Под тяжелым взглядом новоиспеченного дознавателя старый знакомый невольно сбивался с мыслей, ему начинало казаться, что Хусан таит угрозу его устоявшемуся благополучию: раздавит и не поморщится, где там не поморщится — даже не заметит!

Рядом с Икрамовым любой патрульный чувствовал себя не столько человеком, сколько чем-то вроде предмета экипировки, вещь, которую так легко без

малейшего сожаления выбросить. Служивцы не понимали, что именно так резко изменилось в Хусане, но по долголетней привычке лакейского, рабского самоуничтожения перед любым начальством, выработанной в автоматический рефлекс за годы службы в милиции, сознавали, что перед ними не ровня, а нечто иное, перед чем они должны беспрекословно смириться.

О, как понимал их Хусан, еще вчера принужденный сам гнуться в послушную дугу. Он представлял, как неистово завидуют ему постовые, вчерашние со товарищи его грязной и унижительной работы, как пугливо, трепетно взирают они на пьедестал, на который он влез. Завидуют и боятся, боятся и завидуют! Исполнилось то, о чем он с детства мечтал!

Каждой клеточкой сухого, мускулистого тела, каждой порой, каждым возбужденным нервом ощущал Хусан эти зависть, страх, готовность прислуживать и угождать. Ощущал и упивался исстрадавшимся по власти сердцем, упивался и искал только случая на деле проявить свою власть...

26

Утром приехало областное начальство. Через час майор Хашимов вызвал Хусана. У подъезда скучала «Волга». Встретившийся Хусану в коридоре майор бросил на ходу:

— Хусан, поезжай на Улак-арык, приготовь что нужно. Мы подъедем к семи. Смотри, чтоб лишних не было.

Он пошел к «Волге».

— Хоп, хоп, все сделаю, ака!

Сердце прыгало в груди. Прошел год, как Икрамов начал работать в следственном отделе. Он проводил на службе круглые сутки, забыв про отдых, сон, семью. «Год работаешь на авторитет, потом авторитет всю жизнь работает на тебя» — он хорошо усвоил это правило. За год Икрамов ни разу не нарушил буквы закона. Шел экзамен, от сдачи которого зависела его судьба. Он кожей чувствовал, что к нему присматриваются.

Трижды предлагали крупные взятки — трижды Хусан докладывал о предложениях майору Хашимову. Начальник отдела внимательно выслушивал, неопределенно кивал:

— Хоп, хоп, — и забирал пахнущее добычей дело.

Следователи материли между собой шустрого дознавателя. Спустя какое-то время Хашимов осторожно намекал на эпизод. Хусан переспрашивал и пожимал плечами. Он не помнил такого случая.

— Хоп, хоп, — говорил Хашимов, голос его добрел, но глаза за стеклышками очков поблескивали холодно и настроженно.

Хусан знал, что начальник отдела проверял, не интересовался ли дознаватель Икрамов результатами слушания некоторых уголовных дел. Зарипа, молоденькая, смазливая секретарша суда рассказала об этом Хусану.

— Хоп, хоп, — неопределенно пробормотал он, прикидывая, сколько тысяч перепало Хашимову с легкой Хусановой руки. — Хоп, хоп.

Особенно трудно было преодолевать мелкие соблазны. Ладони чесались и горели — деньги сами в руки шли. Курочка по зернышку клюет и сыта, но Хусан заставлял себя пропускать добычу мимо. Он ждал. Шло время. Коллеги посмеивались. Начальник молчал. Икрамов стал страдать бессонницей. Когда же подадут знак?

И вот сегодня с тусклых начальственных небес упали, наконец, первые капли долгожданного дождя. Хусан повторил приказание Хашимова:

— К семи... Никого лишнего...

Хвала Аллаху, дождался! Мысли металась возбужденно и быстро, как голодные мышцы у куска сыра. Свершилось. Он не зря столько времени ждал, не зря с порога отвергал самые заманчивые предложения. Кто знает, с какой целью они предлагались? Пока Хусан не в команде, никто не мог гарантировать, что дрожащая рука, протягивающая деньги молодому дознавателю, не получила их час назад в соседнем кабинете, что щедрые пальцы не расписались только что в сек-

ретной ведомости под колонкой цифр с номерами и сериями казначейских билетов. Одно необдуманное движение, и через несколько минут в кабинет могли войти хорошо знакомые Икрамову люди. Место, занимаемое Хусаном, возбуждало во многих острую зависть, и стоило только чуть зазеваться, на секунду ослабить осторожность, чтоб сгореть в мгновение ока.

Однако без денег дни, что годы — скучные, безрадостные. Испытанию не видно конца. Хусан исстрадался и изнемог. Может, взять? А потом занести к Хашимову. Решил, мол, посоветоваться с вами, ака, как тут быть? Все он заберет, не все? Может, поделится? Львиная доля, конечно, его, но ведь деньги через меня пойдут, это ведь что-то значит. Пусть даже все заберет. Лишь бы взял. Возьмет, значит, и мне разрешает брать. А дальше — убыток перекрою. А вдруг откажется? — пугался Хусан. — Как тогда быть? Вызовет Тимура-обхэса, скажет: — Взятка! Оформляй дело на Икрамова! — Не приведи Аллах!

Хусан скрипел зубами, глядя на сослуживцев. Кто из коллег жил на зарплату? Один Хусан. Несправедливость озлобляла. И вот наконец! Задание Хашимова поставило жирную точку в затянувшейся строке. Все, конец проверке! Икрамов обрел крылья. Ноздри нервно трепетали, руки вздрагивали. Он жадно втянул в себя воздух.

— Хусан, поезжай на Улак-арык и приготовь все, — повторял он. — Будем к семи.

На губы дознавателя напознала улыбка. Поверили. Приняли в свой круг те, стать ровень с которыми он мечтал всю жизнь.

27

Снова и снова припоминал Хусан скучное детство, тесный дворик отцовской мазанки, вечно голодных братьев и сестер, похилившиеся стены жалкого отцовского ларька и самого отца, чернобрового, широкоплечего крепыша, весь день орудующего у залитого кровью прилавка. Маленький Хусан, напрягаясь изо всех сил, оттаскивает от плахи большие куски коровой туши, а отец, весело подмигивая ему, с наслаждением быющей через край силы врубает широкое сверкающее лезвие в чудесное переплетение костей, жил, мяса и жира. Рядом вертится младший братишка, Адыл. Воздух наполнен смачными звуками ударов, веселым хеканьем отца, радостными щелчками Хусанова сердечка — как же, ведь он помогает отцу в работе, как большой!..

Хусан вспомнил, как в разгар веселой работы дверь в ларьке хлопнула и под низкий свод вошел человек в форменной одежде. У Икрамова на секунду остекленели глаза. Тимур-обхэс! Много с тех пор воды утекло. И седой, страдающий заметной одышкой Тимур-обхэс вряд ли помнит жаркий августовский день, мясной ларек Икрама-оты и притаившегося в углу мальчишку с диковатыми, сверкающими глазами. Вряд ли помнит! Зато дознаватель следственного отдела милиции старший сержант Икрамов его хорошо помнит. Именно после этой встречи родилась в голове подростка мечта, которая привела его через десять лет в коридоры городской милиции.

Хусан прикрыл глаза. Как же это было?

Тимур вошел в ларек, остановился, снял фуражку и вытер платком потную бритую голову.словно свет разом померк внутри каморки. «Дада, кто это?» — хотел спросить Хусан, повернул голову к отцу и осекся. Его большой, сильный отец, подобострастно согнувшись, что-то бормотал, а Тимур, чмокая красными губами, равнодушно глядел поверх мясника. Икрам-ота, бережно подерживая форменный локоть кончиками пальцев, подвел важного гостя к плахе.

Тимур брезгливо оглядел полуразделанную тушу, ткнул пальцем в двух местах и вышел на улицу. Икрам-ота с озабоченным лицом мгновенно отхватил топором большие куски мяса и, завернув в бумагу, понес к выходу. Хусан хотел удержать отца, подсказать, что надо добавить к мякоти костей и жил, кто же так торгует, он никогда не видел, чтобы ота так ошибался, кто же купит все остальное?.. Но, натолкнувшись на отчаянный взгляд отца, остановился. В глазах Икрама-оты столько бессильного и яростного протеста, не смеющего вылиться в

действие, что подросток сразу понял то, чего не поняли бы и тысячи его сверстников.

Хусан выглянул из ларька. Угодливо суетясь, отец укладывал в багажник «Урала» бумажный сверток. Лейтенант ждал, сидя за рулем. Икрам-ота отступил от коляски мотоцикла. Тимур дернул ногой, заревел двигатель, и столб пыли, поднявшейся с дороги, осыпал мясника легкой белой пудрой. Икрам-ота проводил гостя поклоном.

Он вернулся в ларек, присел на топчан у стены, достал из-под бельбага тыквочку с насваем и, вытряхнув на ладонь щепотку табака, бросил под язык. Усталое лицо было печально. Хусан стоял рядом, молча глядя на отца. Икрам-ота поднял голову, взглянул на сына и, отвечая на его невысказанный вопрос, тихо и безнадежно уронил:

— Большой человек.

«Большой человек!» — эти слова навек врезались в Хусанову память. Подумать только, его уважаемый отец, слово которого — непререкаемый закон для всего многочисленного семейства; отец, с которым почтительно раскланиваются старики махалли; отец, в одиночку подымающий с пола коровью тушу; его почтенный отец минуту назад униженно сгибался перед ничем не примечательным человеком в синей форменной одежде. Большой человек! Что же это такое — большой человек?!

Хусан был потрясен. Весь день он молчал. Невероятная мысль зрела в голове. Вечером, сидя на завалинке во дворе кибитки, он очнулся от раздумий:

— Я тоже стану большим человеком!

28

Вечером Сергей не пришел с работы. Всю ночь Марина не сомкнула глаз, все, казалось, объединилось против нее. Мать будто нарочно, неделю назад уехала к дальним родственникам, живущим в какой-то богом забытой деревушке. Как теперь ее найдешь? Муж... Впервые за пять лет семейной жизни Сергей не ночевал дома.

Чуть свет Марина, ведомая каким-то наитием, помчалась в ларек на Улак-арыке. Торговал не Адыл. Она помертвела. Что случилось, где мясник? Фархад охотно объяснил, что брат уехал в Ташкент, будет послезавтра.

Марина позвонила на ремзавод. В цеху сказали, что Сергей второй день не выходит. Почему — никто не знал. Может, в отделе кадров в курсе? Там знали, Самарин в милиции, задержан за драку и сопротивление властям.

Как сердце чуяло! Марина бросилась в милицию. Дежурный сильно напугал ее: Сережа покушался на убийство? Не может быть! Никогда!

Дежурный пожал плечами. Люди стали такие, что все может быть. Дело за начальником следственного отдела Хашимовым, но фактически ведет его дознаватель Хусан Икрамов. По всем вопросам обращаться к нему, в седьмой кабинет.

Марина отыскивала нужный кабинет, но войти сразу не решилась. Что там, за дверью, какая беда ее ждет?

В коридоре было довольнолюдно. Среди сумрачных лиц посетителей Марина встретила взглядом с сильно накрашенной женщиной средних лет. Разговорились. Женщина назвалась Полей, буфетчицей из городской столовой. Подмигнув, она шепнула на ухо Марине, что принесла очередную мзду своему покровителю. Благодетель давно не заглядывал в подшефную кормушку, и Поля утрастилась. И, дабы предупредить случайности, сама наведалась в гости.

Марина, почувствовав доверие к многоопытной собеседнице, рассказала о своей беде и попросила совета. Поля на минуту задумалась:

— Плохи его дела. Если шьют сопротивление властям, то срок корячится. Видно, разолились на него. Так просто не отпустят.

Марина, разозлившись, призналась, что следователь приходится родным братом потерпевшему. Поля всплеснула руками:

— Влип твой мужик, ох, как влип! Кто Хусан Икрамов? Гнилой гаденыш,

мстительный. Не знаю, что и присоветовать. Разве что... Он на красивых баб падкий.

Поля критически оглядела Марину:

— Беленькая, видная — с ходу глаз положит. Иди смело. Ну, конечно, грудки вперед, — Поля показала, как именно нужно атаковать Хусана. — И напрямую: так, мол, и так, желательно о мужнем деле с вами потолковать, жду на чай к часу ночи. Чтoб мне на месте провалиться — примчится, как ошпаренный! А там дело в шляпе. К утру из него веревки вить начнешь. Мужичье все на одну колодку...

Марина покраснела, ее передернуло.

— А без этого нельзя? Ну, как-нибудь по-другому?

Поля поджала губы. Чтo за дура, что она о себе мнит? Она была оскорблена в лучших чувствах.

— Можно и без этого, — сухо ответила буфетчица. — У кого деньги есть, тому все можно. Готовь три, четыре «косые» и иди выручай муженька.

— Чтo такое «косая»?

Поля насмешливо покачала головой.

— С луны, что ли, свалилась? Тысяча рублей, вот что это такое.

Марина отступила на шаг.

— Так много? Три тысячи рублей?

— Много? — хмыкнула Поля. — За меньшее никто здесь и говорить не станет. Ты куда пришла, девка? Тут не базар, а власть — тариф, торговаться не положено. Затеешь спор — цена вверх полезет. Дорого? В тюрьме сидеть дороже. Эх, кому я говорю? Ты же даром не хочешь. А даром не хочешь, так гони деньги!

Поля отвернулась и отошла.

29

Зловещи были негромкие слова Хусана, которые он нехотя, брезгливо цедил сквозь тонкие губы, его двусмысленные вопросы, невысказанная, но ощутимая угроза, истекающая от ладной, мускулистой, туго затянутой в офицерские ремни фигуры. Страшно каменное внимание, с которым он молчаливо слушал ее сбивчивую речь, невыносимо нестерпимый блеск зеркальных сапог, холодный немигающий взгляд маленьких карих глаз, глубоко утонувших во впадинах глазниц. Сильные, тонкие пальцы его то бесцельно перелистывали страницы, то играли многоцветной шариковой ручкой, то передвигали с места на место тяжелое пресс-папье. Она не отрываясь следила за бегущими пальцами; следила, как зачарованная, невольно заражаясь внутренним напряжением собеседника.

— Понятно? — спросил Хусан.

Марина подняла на него глаза. Внутри стало пусто. Она ощутила себя маленькой, жалкой и беззащитной в чужом, враждебном, официальном кабинете с голыми крашеными стенами, с рядом обшарпанных стульев, с покосившимся сервантом, доверху набитым бумагами... Хусан обращался с ней как с преступницей. Не хватало сил сопротивляться. Да и чему сопротивляться? Господи, зачем она пришла сюда?

Хусан не сводил с Марины тяжелого, пронизывающего взгляда. Болезненно сдавило сердце. У брата сын от этой русской. От этой... Молочная белизна кожи резала глаза. Зрачки Хусана сузились. Набух и тут же опал желвак на сизо-выбритой худой щеке.

— Ваш муж может получить семь лет, — сказал он. — Драка с нанесением телесных повреждений и, кроме того, сопротивление сотрудникам МВД при задержании. Он ударил милиционера! — внезапно раздражаясь, крикнул дознаватель. — Вот протокол! И показания свидетелей имеются. — Хусан ткнул пальцем в бумаги. — Здесь материалов на десять лет тюрьмы! Понятно вам?

Марина побелела.

— Я ведь не спорю, — сказала она умоляюще. — Конечно, муж виноват, он слишком вспыльчивый. Но ведь Сережа никого не убил. Зачем же так строго?

Помогите мужу, товарищ следователь. — Она потупилась. — А я в долгу не останусь.

Немигающие глаза мрачно уперлись в Самарину.

— Меня не уговоришь, — с нажимом ответил Хусан. — Ваш муж — бандит. Он плохой человек, а с плохим человеком я сам плохой. Знаю, как вы в долгу не останетесь.

Марина проглотила комок.

— Все, что хотите, — ответила она. — Я вас очень прошу.

Хусан помолчал.

— Сейчас я занят, — наконец ответил он. — В настоящее время я не могу с вами говорить.

— А когда? — с надеждой спросила Марина. Словно микроскопическая трещинка появилась на зеркальной поверхности застывшей перед ней ледяной глыбы. — Когда вы освободитесь? Вечером?

— Вечером? — переспросил Хусан нехотя. — Хорошо. Ваш адрес мне известен. Я найду к вам домой.

Марина вздрогнула. Мелкие бисеринки пота высыпали на лбу. Она хотела ответить, но не смогла.

— Может, вы не хотите? — с чуть заметной угрозой спросил Хусан. — Я ведь могу закончить расследование и без консультаций с вами. Материалов хватает.

Он захлопнул папку.

— Нет, нет, — зашептала Самарина, — вы меня не поняли. Конечно, приходите. Нам надо поговорить о Сереже. Я буду ждать.

30

Сергей стоял у двери маленькой (три на четыре метра) бетонной клетушки, испуганно глядя по сторонам. С нар смотрели насмешливые глаза постояльцев КПЗ. Сергей, запинаясь, поздоровался. В ответ ни звука. Самарин смешался. Как быть?

— Статья?

Сергей повернулся и увидел вольготно развалившегося на байковом одеяле здорового чернобородого парня в потрепанных джинсах и майке. По буграм опоясывающих руки и грудь мускулов бежали, переплетаясь и расходясь в стороны, синие хвосты китайских драконов, распахивали клыкастые пасти разъяренные тигры и подмигивали пышногрудые русалки.

— Статья? Какой срок канает?

— Статья? Не знаю, — ответил Сергей и тем определил свою дальнейшую тюремную судьбу.

Камера сразу потеряла к нему всякое уважение. Не знает собственной статьи?! Фраер, дерьмо, подстилка! Чернобородый отвернулся. Из угла встал тощий, жилистый парень с дергающимся веком, подошел к Сергею и охлопал карманы. Самарин, ничего не понимая, смотрел на него. Уже ведь обыскивали?

— Пустышка, — разочарованно буркнул парень. — Что же ты, фраер, даже курева не притырил?

— Так милиция забрала, — виновато объяснил Самарин. — Обыскивали.

— Обыскивали... милиция обидела, — передразнил парень. — Башку бы у тебя лучше забрали, все равно не варит. Тюфяк. Здесь твое место. — Он указал на свободный уголок нар у цинкового бака. — Понял?

— Да.

Сергей молча опустился на указанное место. Камера исподтишка следила за новичком. Нужные выводы сделаны. Прочие подробности Сергеевой эпопеи были из него выужены уже через полчаса.

31

Вечером Усман-цыган, почесывая роскошную ассирийскую бороду, поинтересовался у Самарина:

— За кем сидишь?

Сергей пожал плечами:

— Не знаю.

Цыган лениво перевалился на бок.

— Фраерня, мать вашу так! Косой!

Сбоку мигом подsunулась синяя стриженная голова:

— Тута я.

— Бомбани кормушку, узнай, за кем пацан сидит.

Косой подскочил к двери, забарабанил в железное окошечко.

— Игам! — закричал он. — Игам, открой!

— Чего шумишь?

— Открой кормушку, тебе говорю! — завопил Косой, бухая в железо ботинком.

Кормушка распахнулась. В ней показалась бритая Игамова макушка. Две разделенные металлом, до странности похожие обритые головы, качаясь в такт словам, завели разговор.

— За кем новенький сидит? — спросил Косой.

— Который?

Косой слегка отстранился от форточки.

— Вон тот, с битой мордой.

Игам заглянул в камеру.

— А, этот! Этот за Икрамовым.

— За каким Икрамовым?

— За Хусаном.

— Понятно. Стой, стой! — Косой придержал готовую захлопнуться дверку. — Дай закурить.

— Нету.

— Гонись, сволочь! — посинев от злости, мгновенно завелся Косой. Он сунул руку в кормушку, пытаясь схватить контролера за горло. — Придушу, как собаку!

Опытный Игам ловко отпрянул в сторону и прижал неосторожную руку железной дверкой.

— А-а-а! — бешено взвыл Косой, колотя ногой в дверь. — Пусти, мент!

Игам отпустил пленника.

— Вот падло, — ругался Косой, ощупывая помятое предплечье. — Суродовал клешню.

В открытой форточке виднелось довольное лицо Игама:

— Эй, друг, не ругайся. Нечаянно получилось. Курить хочешь? Так бы и сказал. Бери, пожалуйста.

Косой недоверчиво глянул в кормушку:

— Опять руку ломать будешь, гад?

Игам зашелся смехом. Выбритая голова побагровела.

— Не буду, друг, — пообещал он.

Косой прильнул к кормушке. Минуту они изучали друг друга. На лице Игама дрожала улыбка. Он подвел руку с сигаретой.

— Бери, не бойся.

Косой равнодушно пожал плечами.

— Тебя, мусора, что ли бояться? Нужна мне твоя сигарета. Своего курева девать некуда.

В глазах его вспыхивали желтые, азартные искры. Улучив минуту, Косой молниеносно выдернул сигарету из Игамовых пальцев.

— Хоп!

Стороживший его движение охранник вхолостую хлопнул железной дверкой. Косой оказался проворнее.

— Ха-ха-ха! — зашелся он. — Катись на вахту, раззява! Сторожи урок, а то все сбегут.

Раздосадованный Игам закрыл дверцу на щеколду и накинул шторку глазка.

Косой, смеясь, вернулся на место. Вокруг улыбались. С края нар подал льстивый голос Фаргес:

— Здорово ты его вертанул. Теперь до конца смены беситься будет.

Косой не обратил на него внимания. При звуке негромкого голоса Усмана все смолкли и насторожились.

— Значит, пацан за Хусаном. Он сам тебя брал? — обратился он к Самарину.

Сергей замялся.

— Не знаю, может, и он. Я Хусана в лицо не знаю.

— Невысокий такой, жилистый, с гнилыми заходами, — взялся объяснять Косой. — С ходу руки крутит и кричит, мол, от меня не убежишь! Было такое?

— А, да, было, — припомнил Сергей. — Точно, говорил, мол, от Икрамова не убежишь.

— Он, — подтвердил Косой. — Теперь держись, фраер. Раскрутит он тебя на полную катушку. Лапши настрогает, та еще гнилушка.

— Пятерик тащить будешь, не меньше, — лениво уронил Усман.

Все замолчали. Самарин задержал взгляд на сигарете в руке Косого. Тот заметил.

— Дать?

У Сергея дернулся кадык. Он не курил с утра. Пачку «Примы» отобрали при обыске. Косой разглядывал Самарина. Лицо довольно морщилось:

— А чем отдариться?

Все насторожились. Сергей пожал плечами.

— Сам знаешь, нечем, — ответил он.

— Ну-у-у, скажешь тоже, — ласково протянул Косой. — Нечем. Как это нечем? Скромничаешь, братан. — Он шагнул к Сергею и положил руку на плечо. — Я же денег не прошу. Можно и натурой.

В камере повисла напряженная тишина. Все внимательно вслушивались в разговор. В глазах Косого, за ласковой усмешкой, вспыхивали и гасли злые, острые искорки.

— Ну как, договорились?

Сергей стяхнул с плеча цепкую руку.

— Отвали, — сказал он угрюмо. — Не нужна мне твоя сигарета. Кури сам.

Он прилег на нары и закрыл глаза. Косой присел рядом. Он явно не собирался оставлять Самарина в покое. «Ничего, — подумал отчаянно Сергей, — в крайнем случае схвачу за горло и задушу. А там пусть делают, что хотят. Хоть одного с собой захвачу».

Мощное силовое поле истерии пронизывало воздух камеры. Оно сгущалось до осязаемой плотности то в одном углу, то в другом и разряжалось короткими вспышками стычек и угроз. Грызня не переходила в схватку только потому, что в камере находился Усман. Искривившиеся в бешеных судорогах ненависти лица нет, нет да и поворачивались в Усманову сторону. Неизвестно, как среагирует на очередную свару пахан.

Усман постоянно дремал или делал вид, что дремлет. Прикрытые веками огненные глаза его зорко подмечали малейшие нюансы происходящего, и этот постоянный контроль жоака держал в послушании и трепете одичавшую человеческую стаю.

Косой снова взялся за Самарина.

— Слышь, братан, — сказал он, хлопая Сергея по бедру, — ты не спи, когда с тобой вор говорит. А то навсегда уснешь.

Сергей открыл глаза.

— Чего тебе?

Косой критически оглядел Самарина.

— Давай меняться, — неожиданно предложил он. — Корочки у тебя клевые. Ты завтра на волю пойдешь, а мне еще ой-ой сколько по зонам скитаться. Зима недалеко. С моими лаптями того и гляди простынешь. — Он задрал брючину. — Видал?

На ногах Косого зияли дырами и трещинами грубые рабочие ботинки. Косой пошевелил пальцами в разинутом носке.

— Взяли меня в лафовых корах, — пояснил он, — да в областной «крытке» баловался картишками. Теперь в чем на этап идти — не в чем. Выручай, братан! А сигарету в додачу. Ну, идет?

Самарин молчал.

— Жалеешь? — прищурился Косой. — Не жмись, фуфло. Так у жиганов не положено. Кто на этап — всей камерой барахло собирают. На суд — в лучшем, на этап — в прочном. Закон.

«Не отстанет, — с тоской подумал Сергей. — Господи, — взмолился он, — за что на меня такое свалилось? Где я чем провинился? Рога наставили, морду набили, да меня же и в тюрьму!»

Разбитое лицо его сморщилось. Косой опять потрепал по плечу:

— Эй!

«Не отстанет». Сергей сел и начал снимать туфли. Рядом довольно засопел Косой.

32

Вдоволь налюбовавшись новой обувкой, Косой мигнул Фаргесу.

— Эй, казанок, хляй на стрему. Бриться буду. Завтра суд, за небритую рожу еще пару лет накинут к законным, скажут: «Такое рыло да не бандит?» — Он расхохотался. — К чему гусей дразнить? И без того злые.

Фаргес со всех ног бросился исполнять приказание. Он влип носом в кормушку, — стараясь углядеть контролера в микроскопическую щель.

— Все лады. Кайфует на вахте.

Косой достал из торбочки обмылок, сел, искал глазами:

— Эй, где веник?

Веник стоял за парашей. Косой кивнул караульщику:

— Подай сюда!

Фаргес метнулся к параше, подал Косому веник и снова застыл у железной двери. Косой принял в руки жалкий, сносившийся веник и внимательно оглядел его. Лицо довольно сморщилось.

— Вот так тырить надо. По три раза на дню шмонают и не нашли, — весело похвалился он. — Учись, фраерня!

Косой осторожно поддел длинным ногтем что-то видимое на венике только ему. Отломился один из прутиков ручки величиной в палец. Это и был тайничок. Косой расщепил прутик вдоль волокон и вытряхнул на ладонь спрятанную внутри пористой сердцевины половинку безопасного лезвия. Он поймал пальцами блестящий кусочек бритвенной стали и несколько раз хищно чиркнул по воздуху.

— Эх, эх! Жаль, под рукой подходящего горла нет, — мечтательно пожаловался Косой. Он скосил глаза в сторону сокамерников. — Но, может, кто еще ссучится, класть начнет. Тогда пригодится. Эх, эх!

Камера индифферентно молчала.

Косой вставил лезвие в отщеп прутика, выдернул нитку из носка и обмотал головку самодельного бр-твенного станка. Хорошо! Косой удовлетворенно крикнул. Остальное — дело голой техники. Он взбил двумя пальцами пену на обмылке, протер щетинистый подбородок и осторожными движениями начал срезать черную поросль. Пошел такой треск, словно в камере разряжалась электрическая батарея. Побрившись, Косой снова надрезал один из прутиков ручки веника, спрятал лезвие в неприметную щель, помял веник в корявых руках, придавая ему естественный вид, и небрежно отшвырнул в угол.

— Вали на нары! — отпустил он Фаргеса.

Сергей внимательно следил за манипуляциями Косого. Он не упустил ни одной мелочи. Словно кто-то сторонний шепнул вдруг Самарину на ухо:

— Смотри! Внимательно смотри, это может тебе пригодиться.

«Что может? Зачем? — этого Сергей пока не знал. — Веник, — подумал он. — Лезвие в венике. Лезвие...»

33

— Все же Хусан не совсем чужой человек, — с замиранием сердца размышляла Марина. — Ведь Алеша его племянник, сын родного брата. Следовательно не может этого не знать. Неужели он не поможет?

В эту минуту она, впервые назвав Адыла отцом своего ребенка, призналась в том, о чем боялась думать, суеверно предполагая, что страшная правда, даже произнесенная мысленно, немедленно разрушит ее неверное счастье.

— Так и получилось, — горько прошептала она.

Случайный человек, походя, раскрыл ее тайну. Ах, как она была права, скрывая истину от мужа, оберегая от беды ни в чем не повинного малыша. И вот теперь вокруг громоздились только уродливые обломки прошлого. Марина запоздало подумала, что ей не лепетать следовало и соглашаться бог весть на что, а бросить решительное:

— Нет!

Зачем ей встречаться с дознавателем вне работы, для чего? Разве этим она не предаст Сергея вновь так же бездумно и глупо, как два года назад? Чем закончится опасная встреча с человеком, в руках которого судьба ее мужа?

— У меня нет другого выхода, — оправдывалась она. — Хусан уничтожит Сережу. Достаточно взглянуть в его пустые глаза, чтобы понять, что пощады не будет. Мне придется пойти на все, чтобы как-то смягчить, оттаять это каменное сердце. А вдруг обманет? Пообещает, что выручит Сережу, и ничего не сделает. Нет, не может быть! Ведь не изверг же.

До вечера Марина почти убедила себя, что бояться нечего. Милицейская форма как бы лишала Хусана пола и возраста. Ведь Марина обратилась за помощью к родной советской власти, а не к молодому мужчине с сухим и жадным блеском маленьких горячих глаз. Какие там личные желания и пристрастия? Хусан не имел на них права, не имел и все!

Ну, зайдет к ней вечером милиционер, так ведь не Адыл же, не проклятый насильник, с которого начались ее беды, зайдет милиционер! У Хусана наверняка есть на то служебные соображения. Согласившись на неофициальную встречу, он, естественно, не хотел, чтоб об этом знали, потому и вечер. Чего бояться? Поговорят о Сергее, Марина попросит дознавателя помочь мужу, без всяких задних мыслей попросит, как человек человека. На ее месте любая другая женщина поступила бы так же. Мол, помогите, товарищ Икрамов, муж не так уж виноват, сделайте для него что-нибудь! Она с детства помнит, этому ее учили всю жизнь — представители власти, слуги народа, моя милиция меня бережет! — ведь Марина и есть тот самый народ, которого берегут. Хусан обязан помочь!

Она уверила себя, что так и будет: негромкий уважительный разговор с глазу на глаз, обязательный зеленый чай, как прелюдия соглашения, может быть, рюмочка коньяка для создания некоторой раскованности общения, а вовсе не интима, причем здесь интим? Взаимная вежливость, желание разобраться, выяснить, помочь, ну, а уж на самый крайний случай, если Хусан все же намекнет, что не против получить, нет, не взятку, конечно, зачем же так грубо, а небольшой подарок, энную сумму — тогда Марина полезет в посудный шкаф, достанет приготовленный конверт и, словно невзначай, положит его на стол перед дознавателем.

Разговор с Полей на многое открыл глаза. Выйдя от Хусана, Марина пошла в сберкассу. В старом двухэтажном здании напротив Госбанка хранились все ее сбережения. Девятьсот двадцать два рубля семьдесят четыре копейки — неприкосновенный запас, составленный сквалыжной экономией семейного бюджета.

Мысль, что Хусан возьмет деньги, запала ей в душу. Она даже представляла в деталях, как это произойдет: Хусан, делая вид, что не заметил скромного пре-

зента, случайно накроет конверт локтем, Марина, не желая затруднять деликатного положения гостя, отвернется на миг, поправит, скажем, хлебницу на холодильнике, обернется — стол пуст, конверт исчез неведомо куда. О, как отлегло от сердца! Все в порядке, взял, дело сделано! Собеседники расслабленно поговорят еще некоторое время. Впрочем, пора. Хусан встает, находит форменную фуражку, прощается — ушел...

34

Хусан негромко постучал. За дверью тишина. Он снова постучал и, ощутив легкую боль в сухих костяшках пальцев, раздраженно ударил в дверь ногой. Удар пророкотал волной тугого звука по темному провалу лестничного пролета. За дверью прошлепали босые ноги, и робкий женский голос невинтно спросил:

— Кто там?

— Икрамов, следователь из милиции, — ответил Хусан, приблизив губы к дверному полотну. — Открывайте, Самарина.

— Зачем вы? — донеслось до него испуганно. — Что произошло?

В одиннадцать Марина разобрала постель. Сын прижался к налитой молоком груди и скоро уснул. Стараясь не разбудить, Марина осторожно переложила его в детскую кроватку. Хусана все не было. Она ждала его до двенадцати, решила, что дознаватель передумал, прилегла и незаметно уснула.

«Почему так поздно? — Она взглянула на часы. — Боже мой, третий час! Не открою! На дворе ночь. Почему так поздно? Почему?»

Марина ждала этого стука даже в тревожном, перебиваемом кошмарами полусне и мгновенно проснулась при первом же легком ударе в дверь, проснулась с таким нервным смятением, словно звуки не донеслись издалека, а возникли в глубине ее настроенного мозга.

Хусан досадливо дернул плечом.

— Мы же договорились!

За дверью молчали.

— Хочешь, чтоб муж в тюрьме сгнил? Ладно, надо было сразу сказать. Я пошел.

Хусан топнул сапогом, давая понять, что уходит.

— Подождите, — донеслось немедленно.

Дознаватель, твердо ставя сапоги, прошел на кухню. Самарина зажгла свет.

— Одну минуту, я сейчас...

Она метнулась в темную комнату, мимоходом поправила одеяльце на сыне и присела за туалетный столик у окна, густо заставленный всякой женской дребеденью: духами, пудрами, кремами, лаками, тушечницами.

Из окна падал рассеянный лунный свет. Он высвечивал в зеркале бледный овал испуганного лица и разбросанные в беспорядке светлые волосы. Марина поправила прическу, машинально мазнула по застывшим губам помадой. «Он ждет, ждет меня, — глухо билось в голове. — Он пришел и ждет». Она застегнула халатик на самую верхнюю, под горлышко, пуговицу и обессиленно уронила руки. Чувство обреченности охватило ее: Хусан не возьмет деньги, потому что пришел не за деньгами, а за ней самой. Что ему эта тысяча?

Она стояла в дверном проеме, перехватив рукой горло. От судорожных толчков сердца Марина чуть задышалась. Хусан смотрел на нее ничего не выражающим взглядом.

— Может, выпьете рюмочку коньяка? — спросила Марина, стараясь выглядеть спокойной.

— Я не пью, — ответил дознаватель.

— Тогда чаю?

— Не надо.

Не сознавая, что делает, Марина открыла ящик кухонного стола, достала конверт с деньгами и положила перед Хусаном.

— Вот, возьмите, пожалуйста, — сказала она, жалко и просительно улыбаясь.

Хусан несколько мгновений смотрел на конверт, словно не понимая, что перед ним, потом поднял на Самарину тусклые, мертвые глаза.

— Что это такое?

— Это вам, — прошептала Марина, мучительно, до корней волос покраснев.

Хусан вытряхнул из конверта сиреневую пачечку.

— Взятка? — спросил он негромко. — Вы понимаете, что я могу вас сейчас арестовать?

Марина побелела. Она несколько секунд молчала, потом чуть слышно прошептала пересохшими губами:

— Что вы от меня хотите?

Вдруг тонкая синяя жилка на виске Хусана запульсировала. И, увидев ее, Марина прикрыла веки и так, с полузакрытыми глазами, пошла в темную комнату, где спал сын и стояла их с Сережей кровать.

Хусан медленно шел за ней. Самарина остановилась у разобранной постели. Чуть слышно дышал в своей кроватке Алеша. Лунный свет выхватывал из темноты смятую подушку и простыню. Ни мыслей, ни чувств не ощущала Марина, когда расстегивала скользкие пуговицы халата: огромный кусок льда вошел в сердце.

Халатик упал на пол, Марина сдвинула бретельки комбинации, и прозрачная, потрескивающая крохотными искорками материя легко соскользнула с тела. Покрывшись гусиной кожей от прикосновения собственных ледяных пальцев, Марина сняла лифчик. Она легла на спину и закрыла глаза. Лунный прожектор вырвал из темноты раздавшиеся на стороны груди, по одной из которых пригоршней коричневых капель пролегла дорожка родинок.

Две больших, три маленьких! — восторженно считал муж убегающую от со ска к животу дорожку. — Две больших, три маленьких! — часами не отрывал Сергей от ее груди обмирающих от наслаждения губ.

— Две больших, три маленьких! — сейчас она отдавала Хусану то, что принадлежало только Сереже, отдавала, чтобы спасти его.

Тайная тропинка, россыпь боговых капель магнитом притянула Хусана. Он присел рядом с Мариной. Его пальцы, обжигая, легли на коричневую дорожку. Марина вжалась спиной в тугие пружины кровати, инстинктивно ускользя от этой чужой, страшной руки, и только теперь выплеснулась отчаянная мысль: «Что я делаю? Этого нельзя, нельзя!» Марина вскрикнула. Словно подброшенная, она рванулась из кровати:

— Нет, нет!

Хусан отшатнулся.

— Ты что, ты что? — испуганно забормотал он. — Ты что кричишь? Тише, тише!

В приглушенном голосе его мелькнул испуг и, уловив это, Марина окончательно освободилась от чар бессилия:

— Уходите, немедленно уходите отсюда! Вон, вон!

Она стояла перед Хусаном обнаженная, в розовых кружевных трусиках, стояла, не замечая своей наготы.

— Уходите, слышите, убирайтесь из моей квартиры!

— Тише, ты!

Глаза Хусана охватили нагую женщину, он бешено закричал зубами, не желая смириться с поражением в момент, когда всякое сопротивление Марины, казалось, иссякло. Не в силах перебороть желанья, Хусан застонал. Он ничего не понимал, он видел лишь, что Марина ускользает, и необоримый порыв самца, опьяненного запахом и близостью самки, бросил его вперед к белому и упругому, светящемуся в полутьме...

— Я закричу, закричу! Позову соседей! Спасите!

Короткий, резкий вскрик ударил по лицу и мгновенно отрезвил Икрамова. Он застыл на месте, жадно хватая воздух. Колени дрожали, по спине текла горячая испарина, мучительное чувство неудовлетворенного желанья коржило тело. С трудом пересиливая себя, Хусан переступил с одной негнущейся ноги на другую и хрипло выдавил:

— Не надо...

— Что, что не надо?

Марина не узнавала изменившегося Хусанова голоса.

— Не надо кричать. Я уйду, сейчас уйду, подождите.

Он с трудом повернулся и сделал шаг. Качнуло.

Марина прошептала:

— Что с вами? Вам плохо?

Хусан с усилием провел ладонью по щекам, стирая все следы разочарования, преобразившего в восковую маску его всегда напряженное лицо, и сделал второй шаг.

— Не кричите. Я вас не трогал, вы сами разделись. Я вас пальцем не коснулся.

Хусан добрался до выхода.

— Вы пытались меня подкупить. Вам никто не поверит, что бы вы ни говорили. — Рука его зашарила по двери. — Вы ничего не добьетесь, жалуясь на меня. Ваш муж в моих руках, и вы только ухудшите его положение. И никто не поверит, что я приходил.

Дверь скрипнула и отворилась. Черный силуэт в сером проеме. Сиплый шепот.

— Не советую распускать язык, ничего не добьетесь. У вас нет никаких доказательств.

Щелкнул английский замок. Повинуясь неясному чувству, Марина прижалась ухом к двери. Тихие, еле различимые звуки. Услышав их, она не сразу поняла в чем дело, а поняв, горько усмехнулась.

Дознаватель Икрамов, еще полчаса назад бухавший сапогом в дверь, теперь преодолевал ступеньки лестничных пролетов на цыпочках.

35

Утром она три часа отсидела в приемной прокуратуры, удивляясь, как медленно движется длинная очередь. На нее, однако, хватило двух минут. Выслушав Марину, прокурор угрожающе спросил:

— Выходит, в милиции работают бандиты?

У Марины округлились глаза. Не слушая объяснений Самариной, прокурор закричал:

— На органы клеветать! Посажу за это саму!

Он взялся за телефонную трубку, но почему-то никуда не позвонил.

— Будешь оплевывать милицию, сгниешь в тюрьме. Пошла вон!

Урок, полученный в прокуратуре, раздавил ее. Кругом джунгли, заросли, ловушки, враги. Все большей бедой грозят обернуться ее путаные шараханья.

«Все они друг за друга, — тоскливо думала она. — Сережа обложен со всех сторон. Я ничем не могу ему помочь...»

Марине стало дурно... Как могла она раньше не замечать всей призрачности своей безопасности? Теперь она боялась всего на свете. Что делать, кому пожаловаться, у кого попросить помощи? Они с Сережей висели над пропастью на тонкой паутинке, которую легко оборвать не только злонамеренной волей, а случайным капризом, минутной прихотью какого-то Хусана. И каприз был сильнее закона, на который они наивно полагались. Справедливость оказалась миражем, фикцией, наглой выдумкой, пустой символической, только разоружившей их. Какой закон теперь спасет ее мужа?

Марина не заметила, как завернула на Ноябрьскую, где позади «Зеравшана» стоял проклятый Адылов ларек. Улица уходила вниз, к Синему мосту, тихая и ленивая, как река со спокойным мощным течением. Купы платанов, покрытые сплошной коростой серой цементной пылью, придавали улице вид заброшенности и запустения. Чуть слышно журчал Улак-арык. Самарина шла как во сне, ничего не воспринимая, и только бился в глубине отчаявшейся души неразрешимый вопрос: «Кто мне поможет? Кто?»

Белое трехэтажное здание возникло впереди так внезапно, как будто за секунду перед тем выросло из-под земли, возникло и заполнило своим полетом зияющие провалы Марининых глаз. Она резко остановилась. Ведь что-то же влекло ее именно сюда.

Самарина смотрела на белую трехэтажку и в ней нарастало радостное решение. Оно казалось таким простым, таким единственно правильным, что Марина удивилась, как она не догадалась о нем раньше. Надо отбросить бессмысленную робость, возникавшую в ней раньше при виде плывущего в воздухе дворца с вертикальными ребрами солнцезащитных пилонов, с огромным красным полотнищем, лениво плывущим над крышей. Надо войти в храм справедливости, открыть душу и потребовать защиты. Где же, если не здесь?

Марина решительно направилась к широким мраморным ступеням входа: витринное стекло, полированный вишневый гранит. За стерильной прозрачностью двери — буковая клепка паркета, широченный ковер с длинным, безукоризненно чистым ворсом...

— Эй ты, стой! Куда прешься! К кому, зачем?

Марина беспомощно оглянулась. Как, и тут? Полчаса она безуспешно пыталась объяснить церберу-постовому, что ей непременно надо попасть на прием к самому главному городскому начальнику, что дело крайне важное и отлагательств не терпит, что решается судьба человека, что она, наконец, имеет право, как и всякая другая, законопослушная советская гражданка, войти в здание...

Страж лениво цокал языком, явно забавляясь объяснениями.

— Тебе не сюда надо. Иди в милицию, прокуратуру.

— Уже была.

Часовой построжел:

— Так чего тебе здесь надо? На милицию жаловаться пришла? Ты что, не знаешь, куда пришла? А ну катись, пока я тебя...

Тут привратник белого храма краем глаза ухватил бесшумно подплывшую белую «Волгу» с задернутыми зелеными шторками и, мгновенно позабыв о докучливой посетительнице, устремился навстречу машине, прижимая ладонь к виску и низко кланяясь. У ризницы на колесах милиционер столкнулся с успешным выскочить из машины и обогнуть капот водителем. Две услужливые руки одновременно потянулись к хромированной ручке, две головы гулко столкнулись, кланяясь вылезавшему из машины человеку с распирающим борта дорожного реглана животом.

Отлетела и покатилась на ребре милицейская фуражка.

Человек не заметил услужливых рук, низких поклонов, раболепных улыбок, здания, распахнувшего перед ним двери, согнувшегося человечка, готового помочь хозяину дворца осилить три входные ступеньки, он не заметил даже неяркого осеннего солнца, протянувшего нити золотых лучей прямо над его велюровой шляпой, — но заметил маленький грязный окуроч, случайно ускользнувший от бдительных глаз многочисленной прислуги.

Человек остановился как вкопанный.

— Кутига ска, джалап! — крикнул он, с яростью указывая пальцем на окуроч. — Ким колдырды?!

Милиционер, смертельно побледнев, бросился к окурочу.

— Хозир, хозир, ака...

Человек, не глядя, ткнул его кулаком в лицо.

— Сволочь, — сказал он по-русски. — Чтоб тебя завтра здесь не было. Скажешь Шакирову, пусть другого пришлет.

Он исчез в здании.

— Сердитый сегодня, — раздался позади Самариной опасливый шепот.

Она обернулась. Шептал шофер. Милиционер вытирал цветастым платком окровавленный рот. Марина тихо спросила:

— Что же вы не пускаете? Мне же нужно.

Милиционер отвернулся. Марина бочком прошмыгнула внутрь. В здании царил тишина. Марина словно попала в музей. Перила из мореного дуба, прижатая медными прутьями ковровая дорожка, буковые панели, лестничная площадка, сравнимая по размерам с ее квартирой.

Самарина поднялась на второй этаж.

Золотые буквы на черном стекле: «Приемная». Марина толкнула дверь. Строгий вопрошающий взгляд секретарши.

— Вы к кому?

Эта молодая, хорошенькая женщина была знакома Марине.

— Ой, как я рада, что вы здесь!

Через пять минут Аля была в курсе дел.

— Икрамов? — она замаялась. — Семья известная. Нет, к хозяину лучше не надо. Тем более он сегодня не в духе.

Напротив главной двери — другая.

— А сюда? — спросила Марина.

Аля пренебрежительно фыркнула.

— Мебель, — определила она вес и значение второго небожителя.

Марина не поняла.

— У себя?

— Где ж ему быть, — усмехнулась секретарша. — Всегда на подхвате.

— Как его зовут?

— Петр Иванович.

Все надежды Марины сошлись на матовой поверхности югославской замши этой двери.

— К вам можно, Петр Иванович?

Человек за столом заулыбался. Приветливость сочилась из каждой поры его лоснящегося, выхоленного лица.

— Конечно, конечно, — он слегка приподнялся, — проходите, садитесь.

Самарина присела на краешек стула. Глаза ее наполнились слезами.

— Я в безвыходном положении, — сказала она. — Вы моя последняя надежда.

37

Петру Ивановичу Сидорову с детства не давалась наука. Он не столько учился, сколько мучался. Просидев очередной бесплодный вечер за хитрой задачей по геометрии, Петька в отчаянии лупил себя кулаком по крутому лбу:

— Ну что ж ты?! Давай соображай!

Голова гудела, как вечевой колокол, но соображать решительно отказывалась. Сидоров хотел бросить школу. Но куда потом? На завод? Только не это! Работы Петька боялся еще пуще ученья. Пришлось поднатужиться. Кое-как школу осилил. Куда теперь? Во все вузы надо сдавать вступительные экзамены, в торговый еще и вступительный взнос, в один педагогический зачисляют по заявлению — Петька решил податься в учителя.

Сидоров закончил институт и распределился в Байбад. Следующие три года он постарался забыть напрочь. Ежедневное общение с молодым, задиристым и неуважительным племенем учеников показалось каторгой. Петр Иванович тогда совсем исстрадался и пал духом. С горя он хотел запить горькую, но одумался. Надо как-то приспособливаться. Может, удастся прокантоваться до пенсии в каком-нибудь профкоме? Петр Иванович огляделся. Увы, места приятательные по части безделья и не стыдного жалования — забиты стопроцентно. Так бы и сгнуться ему без следа в прокуренных учительских, да помог slučaj.

На ноябрьские праздники Сидорова как общественника и комсомольского активиста пригласили на главную городскую трибуну, с которой отцы города благосклонно взирали на протекающие у ног ознамененные толпы. Сидоров от радости едва не сошел с ума. Сколько порогов пришлось обить, сколько ботинок

вылизать, сколько нервов потратить! Петр Иванович переживал удачу, преданно глядя на устрашающие ряды залитых салом многоступенчатых загривков, расположившихся перед микрофоном в порядке убывания упитанности.

Вдруг произошла какая-то заминка. Микрофон умолк. Петр Иванович насторожился. Что случилось?

Хозяин города разгневанно смотрел на застывшего у микрофона комсомольского вожака. Якуб-комсомол в отчаянии хрипел: пропал голос.

— Вчера в ресторан ходил! — рявкнул хозяин. — Пиво холодное дул! С места выгоню!

Внизу текли красные колонны. Трудящиеся начали недоуменно задирать головы. Никто не понимал молчания трибуны. Лидер повернулся к соратникам. Под его взглядом оплавился бы бетон. Оскандалившийся Якуб превратился в соляной столб.

— Кто может? — свистящим шепотом выдохнул лидер.

Все побледнели. Вот так сразу, без предварительной тренировки? А вдруг случайно вырвется что-нибудь не то? Страшно. Соратники потупились.

— Кто-о-о?!!

— Я!

Петр Иванович решительно выступил вперед. Настал звездный час! Мирзоев окинул смельчака орлиным взором. Сидоров был бледен, но на ногах держался.

Мирзоев даже в тех краях слыл человеком смелости отчаянной — за два года руководства городом он выполнил три пятилетки и получил все, причитающиеся за это награды. Его вот-вот должны были забрать на повышение. Выхода не было.

— Давай! — приказал он добровольцу.

Петр Иванович пошел грудью на микрофон, как на вражеский пулемет. Окружающие опасливо попятнулись. Вокруг Сидорова образовалась нейтральная полоса. Он набрал в грудь кислорода. Сейчас или никогда. Сейчас!

После парада предстояло небольшое застолье в тесном кругу: почти все приходились друг другу родственниками. Мирзоев первым покинул святилище.

Номенклатура обтекала Петра Ивановича, как вода утес. Смотрели мимо, словно не Сидоров заткнул собою пробоину в торпедированном ковчеге важного планового мероприятия. Якуб-комсомол, проходя, мстительно ткнул локтем в бок героя отшумевшей батальи.

Петр Иванович затосковал. Спас, можно сказать, тонувшее судно и ничего? Матросы, ладно, а капитан?

Мирзоев, сходя с последней ступеньки, ткнул пальцем в спину.

— Бр-р-р, б-р-р, б-р-р... — донеслось до Петра Ивановича.

Словно солнечный дождь внезапно пролился на Сидорова. Вокруг зацвели улыбки. Почерневший Якуб подскочил к покинутому герою.

— Что стоите? — искривясь, засипел он. — Зовут. Хозяин сказал, с нами поедете. Идемте, идемте, покажу, в какую машину сесть.

Петр Иванович ног под собой не чуял. Только бы не оплошать, только бы где не ошибиться.

День закрутился праздником. С шашлыка перешли на домламу, с домламы на плов, с плова на маставу, с маставы на самсу, а там подоспел новый плов...

Петр Иванович не отходил от Мирзоева ни на шаг. Он обмахивал разопревшего партийного вождя носовым платком, подносил пиалу, закладывая за спину подушки. Якуб-комсомол только скрипел зубами. Он попробовал оттереть конкурента, но куда там — Сидоров прилип к Мирзоеву как банный лист к известному месту.

Мирзоев ласково кивал неофиту номенклатурных забав. Придворные настожились. Если им не изменял нюх, а он им никогда не изменял, — на местном горизонте власти всходила новая звезда.

Через день Петр Иванович работал в белом здании. За два года он прошел от инструктора до второго секретаря горкома. Мирзоев карал так карал, миловал так миловал. Правда, к тому времени Сидоров покумился с начальником.

Мирзоеву приелась очередная любовница. Малика ходила на третьем месяце. Местных ее родичей Мирзоев, не колеблясь, стер бы в порошок, но дядя красавицы сидел в областном управлении хлопководства. Шуму могло возникнуть много. Орлиный взор Мирзоева упал на аппарат: инструктор Сидоров услужлив до крайности и не женат. «Первый» вызвал Петра Ивановича.

— Пора расти, — задумчиво сказал он. — Установку знаешь? Кадры решают все! Вот так-то. — Он помолчал. — Мне нужен надежный помощник. Там...

Мирзоев кивнул в сторону приемной. Лицо Петра Ивановича вспыхнуло. В приемной только две двери — одна Мирзоева, другая... Возможно ли? Вторым человеком? Но ведь на живое место. А того куда? Правильно ли понял?

Мирзоев пожевал толстыми губами.

— Нужен солидный человек. А ты не женат. Нехорошо. С Маликой гуляешь, вот-вот ребенок будет... — он выжидающе посмотрел на Сидорова.

Инструктор молчал. Кто в городе не знал несовершеннолетней мирзоевской любовницы. Но цена устраивала.

— Вот-вот ребенок будет, а ты в кусты смотришь. А у меня работаешь. Нехорошо. Родители обижаются.

Сидоров облизал пересохшие губы, боялся спугнуть удачу.

— Я на Малике давно хотел жениться, — пролепетал он, — да не знал, как вы посмотрите. Стеснялся спросить.

Мирзоев расхохотался так, что в окнах задребезжали стекла.

— Хорошо посмотрю, — обнадежил он. — На свадьбу сам приеду. Потом подумаем, что можно сделать.

Петр Иванович поднял заблестевшие глаза. Мирзоев усмехнулся.

— Вчера Виктор Егорович на пенсию просился, — сказал он. — Да. Пора старику на покой. Придется отпустить.

Виктор Егорович был хозяином желанного кабинета. «Старику» не исполнилось и пятидесяти. Однако Мирзоева никогда не волновали подобные пустяки.

Голова Сидорова кружилась. Сбывались самые фантастические мечты. И какой пустяковой ценой! Малика... Мирзоеву кажется, что он невесть как облапошил глупого кацапа. Это еще посмотрим, кто кого облапошил. Невеста в этом году кончала школу. Несладкую ягодку и воробей не надклюнет, не только что коршун. Да и сколько их вообще осталось, ненадклеванных? Приданое все перекрывало.

Малика, услышав о предполагаемом альянсе, уперлась крашенными хной оранжевыми пятками. Она метила выше. Почему бы Мирзоеву не отослать старую жену в родной кишлак? Он безоговорочно обрушил хрустальные замки десятиклассницы. Усладе сердца Мирзоев внушительно пообещал:

— В землю зарю вместе с дядей. Забыла, кто я и кто ты? С огнем не играй. Бери, что дают.

Малика обиженно надула губки. Она уже видела себя «шахиней» и вдруг...

— Золотом осыплю, — успокоил пузатый Меджнун. — Первой женщиной в городе будешь. На свадьбу «Волгу» подарю.

— Белую? — заинтересовалась красавица.

— Белую!

— Ну, если белую, — Малика вздохнула и согласилась. — И еще четыре кольца, — она подняла пухлую ладошку и показала четыре растопыренных пальчика. — С камнями... красными.

Мирзоев потянулся к пальчикам губами.

— С красными, моя пери, с красными...

Через полгода у Петра Ивановича родился сын. Счастливый Мирзоев собрал бюро. Петр Иванович переехал в заветный кабинет.

— На зубок малышу, — разнеженно объяснил ему Мирзоев. — Я слово держу. Как машина, бегаает?

— Бегает, — успокоил начальника Сидоров. — «Волга» — и есть «Волга».

Прошло десять наполненных радостью лет. Петр Иванович очень приехался ко двору в сумрачных коридорах городской власти. У Сидорова обнаружился прекрасный слог, и усидчивости ему было не занимать. Доклады его блистали

всеми красками бюрократического словарного запаса, а здравый смысл из бумаг, к которым он прикладывал руку, изглаживался совершенно.

— Этого человека береги, — напутствовал уезжающий на повышение Мирзоев племянника, на которого оставлял белую трехэтажку. — Он за собственный расстрел проголосует, стоит только бровью повести. Такие полезные люди нам нужны.

Нынешний хозяин был шестым начальником, под которым ходил Петр Иванович. Бакиев превзошел пять предыдущих.

Сидоров вздохнул. Казалось бы, чего еще требовать от «второго»? С позвонокником Петр Иванович расстался при Мирзоеве. Теперь он, шутя, гнулсЯ во все стороны, как гуттаперчевый мальчик. Из-под пера Сидорова выходили одни мгновенно усыпляющие слушателей шедевры. При виде шефа он повизгивал от радостного умиления. Увы, ничего не помогало. Бакиев оставался мрачен и непредсказуем. Он был недоволен всегда и всем. Петр Иванович чувствовал, как над головой сгущаются тучи. «Невзлюбил, — обмирая сердцем, думал он. — Не пришелся я ему. Ой, выгонит». Сидоров удвоил старательность и утроил бдительность. «Не дать малейшего повода». Петр Иванович очень хотел пересидеть и шестого начальника. До пенсии оставалось не так уж много, каких-то десять лет. Можно было смотаться за защитой к Мирзоеву — первенцу в этом году исполнилось десять лет, но старика полгода назад хватил инфаркт. Выкарабкается ли? Мирзоеву было сейчас не до Сидорова.

К празднику Бакиев ждал награды. Награда пришла, но оказалась рангом ниже ожидаемой. Петр Иванович имел неосторожность авансом поздравить начальника и теперь ходил, как осужденный. Хозяин рвал и метал.

— Говорит, на прошлый год получал! — кивал вверх обозленный «первый». — Получал, получал. Кто не получал? Нашел о чем вспоминать! Сам прошлый год три ордена получал — этого не помнит. На этот год опять две награды. Себе не жалко, а Бакиеву жалко.

Он оглядел дворню злыми глазами. Все сочувственно потупились.

— Э! — махнул рукой обиженный руководитель. — Уходите все на свои кабинеты. Все равно от вас никакой пользы нет. Чтоб на глаза не видел!

38

Позавчера покачнулось здание, которое Петр Иванович строил и укреплял всеми способами долгие годы. Крошечная ошибка, даже не ошибка, а секундное невнимание поставило все на грань краха.

Сидоров весь месяц готовил юбилейную речь, которую Бакиев собирался обрушить на головы городского актива как бы в порыве внезапного озарения и импровизации.

Ничто не предвещало бури. Хозяин, шевеля губами, долго одолевал очередную страницу и с недовольным видом откладывал в сторону. Петр Иванович стоял рядом и тихо радовался.

Внезапно что-то остановило внимание шефа. Он поднес листок к самому носу и, как бы не веря глазам, вчитался в поразившее место. Побагровев, Бакиев ткнул пальцем:

— Это что такое?

Петр Иванович в испуге прильнул глазами к листу: «...великим русским народом»?! — строка ударила, как пощечина.

— Шовинизм разводишь? — зловеще прошипел хозяин. — Тебя для чего здесь держат?

Он отшвырнул доклад. Пачка листов разлетелась по залу. Петр Иванович побледнел до синевы, до удушья. Все еще надеясь умиловить разгневанного начальника, он бухнулся на колени и, высоко задрав тугой, упитанный зад, пополз по полу, собирая листы.

— Виноват, виноват, недоглядел, — бормотал он. — Я исправлю, исправлю, сейчас вычеркну...

Бакиев, грозно глядя в быстро двигавшееся виноватое сиденье, громко и нелюбезно высказал все, что он думает о начисто спившемся Большом брате и об его специально выведенной для азиатских условий удешевленной разновидности.

Петр Иванович обезумел. Он был готов вычеркнуть проклятые слова не только из доклада, а из самой жизни, но, к счастью для русского народа, это было не под силу ни услужливому Петру Ивановичу, ни его гневливому начальнику.

Сложив бумаги в папку, Сидоров медленно попятился к выходу. Губы дрожали. Петр Иванович надеялся покинуть кабинет хозяина без дальнейшего урона. Надежды не оправдались. Бакиев рявкнул:

— Иди на угол, сволочь!

У Сидорова подогнулись колени.

— Ака, ака, — слабо залепетал он. — Простите, ака...

Бакиев проткнул воздух похжим на сардельку пальцем.

— Быстро иди, собака!

Глаза «первого» выкатились из орбит. Он вскочил. Петр Иванович утратил способность мыслить. Деревянно вышагивая, он приблизился к дальнему углу кабинета.

39

За шелковыми портьерами, надежно укрытые от нескромных глаз, на полу лежали чугунные гантели. Ряд начинался килограммовыми и заканчивался десятикилограммовыми весами. Вся номенклатура городской власти отлично знала этот набор железа и боялась физкультурного угла пуще строгача с «занесением в учетную карточку».

Бакиев начинал учителем начальной школы. Именно оттуда удачливый «домулла» принес и внедрил в среду партийных бонз достижения собственной воспитательной практики. Заведуя исполкомом, он еще несколько сдерживал порывы к сильным педагогическим средствам, но, усевшись в главное городское кресло, Бакиев опробовал свою воспитательную систему на чемпионе районных соревнований. Атлет пал на колени на третьем часу спортивного подвига. За высокие спортивные достижения Бакиев собственноручно наградил рекордсмена почетной грамотой горкома партии. С тех пор городские руководители не раз показывали приличные результаты в новом виде спорта, хотя ни один из них и близко не подошел к исходному рекорду, что Бакиев, вздыхая, не раз ставил им на вид. Впрочем, «первый» резонно уповал на марксистское положение о переходе количества в качество. Он верил, что рано или поздно достижение спорта будет побито. Особые надежды Бакиев связывал с общественными организациями. Зав. горкомом профсоюза в последнее время посещал главный угол кабинета особенно часто и динамика роста его результатов обнадеживала.

40

Петр Иванович поднял на Бакиева полные невыплаканных слез глаза. Он сделал робкое движение, намереваясь положить папку с докладом на подоконник.

— Стой! Куда?!

Бакиев вихрем облетел крытый зеленым бархатом стол и очутился подле провинившегося.

— На зубы бери, сволочь! На зубы!

Он вырвал папку из рук Сидорова и, возбужденно подпрыгивая, тыкал ею в лицо «второго».

— Великий русский народ, а?! На зубы бери, свиная голова!

Задрожав, Петр Иванович вцепился зубами в красный кожаный бювар. Бакиев отдернул портьеру и бешеным взглядом пронесся по ряду гантелей.

— Эти бери, эти! — он указал на десятикилограммовки. — Эти!

Петр Иванович, не выпуская из зубов папки, нагнулся, захватил самое тяжелое в ряду железо и со стоном поднял. Руки его дрожали. Гантели качались над лысой макушкой. Папка норовила выскользнуть из рта, заставляя Петра Ивановича изо всех сил сжимать челюсти.

Бакиев пристально оглядел помощника. На лице разлилось удовольствие. Он не спеша вернулся в кресло. Телефон запел нежную мелодию. Бакиев поднял трубку, послушал минуту и бросил:

— У меня важный совещание!

Текли минуты. Лицо Сидорова багрово вспухло, слезы, блестя в ярком свете бронзовой люстры, ползли по пухлым щекам. Бакиев довольно прищурился.

— Великий русский народ, а?! — хихикнул он. — Великий, а?!

Петр Иванович изобразил глазами бездну раскаяния.

— Мм-мм-мм, — замычал он.

Наконец Бакиев смилостивился.

— Я не злой человек, — сказал он. — Положи гири на место. Вперед будешь знать, как правильный доклад писать.

Петр Иванович опустил трясущиеся руки, аккуратно установил гантели в ряд и только тогда осмелился выпустить папку из оцепенелого рта. На пороге кабинета он испуганно оглянулся. Бакиев весело подмигнул соратнику по партии.

41

— Я вас слушаю, — сказал человек за столом и тут же поправился, — вы по личному вопросу или?..

— По личному, — радостно выдохнула Марина, — я хочу...

— Простите, простите, вы что же, по личному вопросу и сразу ко мне?

— Да я уже была и в милиции, и в прокуратуре.

— Но почему все-таки ко мне? — с непонятной настойчивостью добивался Петр Иванович.

— Я думала зайти прямо к «первому», да вот... решила, что лучше... — сбилась Самарина.

— А, так вы у него не были? — успокоился Петр Иванович. — Понятно. Значит, вас ко мне никто не посылал, вы сами...

Самарина закивала:

— Сама, сама.

— Ну это неважно, — дернул плечом Сидоров.

Самарина собрала с духом и начала, в который уже раз, рассказывать свою одиссею. Впервые за последние дни она столкнулась в присутственном месте с чем-то иным, чем грубые насмешки, недоверие, враждебность, угрозы. Боже мой, Сидоров слушал ее, слушал внимательно, и какое же это облегчение — правдиво и честно открыть перед ним свое горе, рассказать о страшном Сережинном положении, о сплетенных Хусаном коварных сетях, раскрыть душу и передоверить решение своей судьбы мудрому пожилому человеку с седыми висками и внимательным взглядом из-под набухших синевой век.

Петр Иванович смотрел в окно. Лицо было тускло, и лишь блеск глаз выдавал напряженную работу мысли.

— Что же я могу сделать? — спросил он, когда Марина наконец остановилась. — Делом вашего мужа занимаются следственные органы, у меня нет оснований им не доверять. Вмешиваться в следствие не имею права. Не понимаю, чего вы хотите?

Марине показалось, что она ослышалась. Ведь Сидоров так хорошо, так внимательно слушал ее.

— Я же вам объяснила, — сказала она. — Это Адылов брат. Он обвиняет Сережу в попытке убийства милиционера! — Она задыхнулась. — Вы что, не понимаете? У них везде круговая порука! Да что же это такое, — заплакала Марина. —

Куда ни придешь, везде братья, сватья, родственники, земляки, однокашники, друзья, — все Икрамову не чужие. Нигде правды не добьешься. Как услышат про Хусана, так и говорить со мной не хотят.

Петр Иванович нахмурился.

— Вы не о том говорите. Ваш муж, насколько я понимаю, учинил безобразную драку, оказал сопротивление работникам милиции и даже пытался кого-то убить, а вы мне все время о каких-то мифических родственниках толкуете. По делу говорите.

— Так по делу и говорю, — всхлинула Самарина. — Крутом одни узбеки...

Петр Иванович обеспокоился.

— Вы так громко кричите, — сказал он. — Я не думаю, чтобы Икрамов умышленно, как вы говорите, нарушал закон. — Он взглянул на Самарину и отвел глаза. — И вообще, это не в пределах моей компетенции...

Марина недоверчиво смотрела на собеседника. Нет, не может быть!

— Вы что, боитесь их? — неожиданно вырвалось у нее.

Сидоров посерел. Лицо исказилось. Он словно уменьшился в размерах.

— Что вы, что вы? — сказал он, стараясь унять нервный тик. — О чем вы?

— Так вы струсили, струсили? — закричала Марина. — Вы испугались? Значит, вы тоже их боитесь?!

Петра Ивановича вымело из кресла. Он бросился к двери, в беспамятстве страха стремясь немедленно покинуть кабинет, но, не добежав до выхода, остановился и съежился.

— Вы не знаете, не знаете, — сбился он на шепот. — Вы ничего не понимаете. Разве можно против. У них везде свои люди. Они на все способны. Вы не понимаете. Я умоляю вас, немедленно уходите!

— Если вы так боитесь, что же делать нам?

Сидоров отчаянно замахал руками.

— Замолчите, замолчите, — умоляющим шепотом повторял он, бросая испуганные взгляды то на окно, то на дверь, то на телефонный аппарат. — Я вас умоляю, замолчите. Не надо так громко. Сюда могут войти.

Самарина, прижимая руки к груди, глядела на Сидорова изумленными глазами.

— Но ведь это же... Но ведь вы же... Как вы смеете бояться? — громко вырвалось у нее. — Ведь вы же русский человек! Русский человек!

Лицо Петра Ивановича приобрело зеленоватый, мертвецкий оттенок. Он бросил отчаянный взгляд на дверь. Челюсть мелко запрыгала.

— Что вы, что вы? — забормотал он. — Какой я русский? Не надо так говорить! Какой я русский? Никакой я не русский, я так, просто...

Он на цыпочках подбежал к Самариной. Странно было видеть легкость, вдруг появившуюся в движениях крупного обрюзгшего тела. Сидоров подхватил Марину под локоть.

— Извините, извините, у меня срочное совещание, надо немедленно выехать на завод, там уже люди собрались, ждут, извините... — повел он ее к выходу из кабинета.

Марина в отчаянии закричала:

— Вы бывший русский! Бывший! Вы бывший человек!

Таща ее к выходу, Петр Иванович бубнил:

— Вы правы, да, вы правы. Бывший человек. Мы все здесь бывшие люди, я согласен. Только не надо так громко кричать, умоляю вас, не надо так громко...

Марина очутилась за дверью. В замке глухо повернулся ключ. Самарина застучала слабым кулачком в гладкую замшу.

— Откройте, что же вы спрятались, откройте!

Кто-то тронул ее за плечо. Она обернулась.

— Пошли отсюда, — сказал уже знакомый постовой. — Пошли.

Он вывел Марину на улицу.

— Давай быстро уходи, а то плохо будет, дура.

Еще одной бесконечной ночью Марина лежала с открытыми глазами.

«Что же делать, Господи? — тоскливо повторяла она. — Господи, что же мне делать? Господи, Боже ты мой, Господи...» Она не заметила, как это странное чуждое слово «Господи» стало все чаще и чаще возникать в сознании. «Господи, — подумала она. — Господь... Бог. Бог? Хоть бы он помог, раз люди не хотят! Бог...»

Она вспомнила частые упоминания Нины Ивановны: «Если Бог даст. Ничего, Бог поможет. Надо Бога попросить...» Они составляли фон материнской речи, безвредную шелуху бытового разговора. За ними не стояло ничего осязаемого, и Марина всегда пропускала их мимо ушей, ни разу не задумавшись над тем, что они означают.

Бог, Бог — персонаж детских сказок, щуплый старичишка с длинной белой бородой, лысый, шамкающий. С детства она наблюдала, как эта комичная фигура, напоминающая Деда Мороза, подвергается всеобщему добродушному осмеянию. Его поминали на каждом шагу и в то же время над ним подтрунивали. Марину очень удивляло, что, несмотря на неопровержимые выводы науки, доказавшие смехотворность религиозных выдумок, все еще находятся люди, всерьез верящие в старца на небесах. На небесах, вдоль и поперек расчерченных трассами спутников и космических лабораторий! Бог?! Да какой там, в пустынной черноте неба мог уцелеть Бог? Космонавты давным-давно привезли бы его на землю! Какая загробная жизнь, когда, где? В мире нет никаких богов, ничего мало-мальски потустороннего, существуют только люди, люди и природа, люди и космос, все остальное бред и наглый обман, глупые выдумки темных невежд, которые и сами не верят в свою мрачную символику! Конечно, не верят, скорее всего только притворяются, что верят!

Марину удивляла неуступчивость Нины Ивановны в этом предельно выясненном вопросе.

— Да где же он, где? — горячилась дочь. — Покажи мне, наконец, это место!

Мать обидчиво поджимала губы, погоди, состаришься и ты, кому тогда нужна станешь, придет день, сама отыщешь, где Бог...

И вот Марина впервые почувствовала, что хочет отыскать. «А если Он действительно существует? — волнуясь, подумала она. — А вдруг мать была права? Что если надо только обратиться к Нему и попросить о помощи?»

Она постаралась припомнить, какие слова вполголоса бормотала перед сном мать, и пожалела, что никогда толком не прислушивалась, не обращала внимания, все только бы спорить, а понадобилось, и память пуста, да как же это?

«Отче наш, отец наш, даже смешно — Отче», — подумала Марина и испугалась, что этот самый, может, и взаправду существующий Отче рассердится на глупые слова и не только не поможет ей и Сереже, а наоборот — ухудшит их положение.

— Отче... Господи! — вырвалось у нее. — Почему все вокруг так несправедливо?!

«Не гневи Бога глупыми словами, — припомнила она козырной аргумент Нины Ивановны, — не восставай, не ропщи...» Не гневи. Да разве я гневлю, разве восстаю? Я только спрашиваю, только прошу объяснить, почему кругом царит несправедливость? Почему хорошим людям живется плохо, а плохим хорошо? Почему? А может, я неправа, — испугалась Марина, — может, об этом нельзя спрашивать? У меня беда, мне нужна помощь, а я все время пытаюсь что-то доказывать! Господи, какое мне дело до того, как и почему устроен мир! Я не знаю, что мне самой делать сейчас!

— Господи! — зашептала она. — Помогите мне, Господи, помогите. Я буду в тебя верить, я научусь молиться, только не бросай, не оставляй одну, помогите мне...

Она вспомнила, что верующие, обращаясь к Богу, становятся на колени.

Марина слезла с кровати, опустилась на колени рядом с кроватью сына и, подняв к потолку воспаленное лицо, иступленно зашептала в темноту:

— Господи, помоги нам... Господи, спаси нас... Господи...

43

Наутро Марина побежала в Адылов ларек и приказала мяснику идти к брату и попросить от ее имени прощения за прошлую ночь. Адыл вытаращил глаза, услышав слово «ночь».

— И ты, и ты! — кричала она в багровое, удивленное лицо. — И ты проси брата, чтоб он не трогал Сережу, ведь ты один всему виной, если бы не ты, ничего не было, что ты таращишь бараньи глаза, или не знаешь собственного брата?! Что ему нужно от Сережи, почему он впился в мужа, как вампир, иди, немедленно разыщи Хусана, проси отпустить Сережу, от себя проси, от меня проси, от кого угодно проси, только не стой на месте, не молчи, потом придешь ко мне, я должна знать результат, что же ты стоишь как вкопанный?!

Адыл, забыв снять кровавый фартук, кинулся закрывать ларек.

— Все сделаю, все сделаю, — забормотал он. — Сейчас пойду к Хусану. Не бойся, джаным, все сделаю. Вечером приду, расскажу...

Марина проклинала свою красоту. Что она принесла, кроме несчастья? Обезобразив ей лицо обычная бородавка, и никакой Адыл на нее бы не посмотрел и никакой Хусан не стал ни к чему принуждать. Бородавка на лице? Она содрогнулась. Нет, только не бородавка. Марина бросила косой взгляд в зеркало — к счастью, все в порядке, поверх черной головки сына отражалось кукольно-розовое чистое личико, и она поразилась собственной цветущей свежести. Надо же, замужняя женщина, дом, ребенок, душевные потрясения, горе, тяжелая борьба с судьбой и тут же — гладкая бархатистость кожи, ни единой морщинки, ни малейшего внешнего намека на тяжелую душевную рану, выглядит, как шестнадцатилетняя школьница, совсем девочка, даже смешно, ну кто поверит, что за плечами столько всякого...

«Господи, — спохватилась она, — о чем я, дура ненормальная, Сережина жизнь решается, все может рухнуть в одно мгновение, почему я не думаю о том, что ждет меня вечером? Ведь этот негодяй обязательно придет. Нет, нет, я не могу, физически не могу, просто не открою ему дверь, но тогда он совсем взбесится, и это скажется на Сереже!»

Ребенок капризничал. Обычно спокойный Алеша тихонько скулил, отказывался брать грудь, срыгивал, и она совсем отчаялась.

Болезненный вид малыша грозил обернуться новым горем именно сейчас, когда решается Сережина судьба и дорога каждая минута, а тут больница, врачи, уколы, ни на минуту не оторвешься. Марина прикладывала губы к влажному лобку сына, нет ли жара, не дай Бог, так и казалось, что есть. Боже мой, да за что же, за что?

Она передумала, перебрала в голове десятки вариантов, и каждый следующий казался хуже предыдущего. Господи, что же не идет проклятый толстяк? Обманул, не стал говорить с Хусаном? Адыл оставался последней надеждой, вспыхнувшей в ее воображении, и Марина уцепилась за нее так, словно она осветила дорогу к спасительному выходу. Идти, идти, а не тонуть в бездонном болоте отчаяния!

Марина в десятый раз выбегала в прихожую, прислушивалась, ждала.

44

Адыл неуверенно постучал. «Ай-ай, бедно живет, — думал он, оглядывая окрашенную водоэмульсионкой дверь. — Даже обивки нет. Ай-ай. Щели, зимой, наверно, дует, холодно. Сын мерзнет, — обеспокоился он. — Заболеть может, храни Аллах. Куплю обивку, пусть щели заткнет. Всего-то четвертак».

Дверь открылась быстро. Марина ждала его на пороге. Адыл топтался, занимая своей тушей чуть ли не всю прихожую, и Марина вновь подивилась, как он огромен, как чудовищно велик мешок выпученного живота, толсты пунцовые щеки, и с невольным ужасом подумала, что кусочек, часть этой живой массы перелита в родную жизнь Алеши.

Она отступила в сторону, подавив жадный вскрик:

— Что сказал Хусан?! — Не умом, а загнанным сердцем предчувствовала Марина страшный, лишающий всякой надежды ответ.

Адыл сел на диван. Марина, прижав сына к груди, опустилась на кровать, безмолвно глядя на мясника. Лицо ее было бледно и напряжено.

— Ну, что?

Мясник помахал рукой, давая понять, что сейчас все расскажет, вот только немного отдышится от подъема на четвертый этаж. «Вах, вах, как высоко живут люди, с ума можно сойти, пока заберешься, сердце лопнет». Впрочем, он слегка хитрил. Сердце действительно зашлось, но не только от высоты.

Сегодня утром Адыл впервые мельком увидел своего сына, Алишера, как он втайне называл ребенка. Алеша? Чужое, дурацкое имя давно переделано в родное и близкое — Алишер. Алишером звали великого Навои, а ведь он был не только поэтом, каких во все времена пруд пруди, он был еще и визирем султана! Алишер! — имя сына звенело, как золотая монета.

Делая вид, что никак не может отдышаться, мясник косил в сторону ребенка. Боязливый и просительный взгляд Адыла жадно улавливал малейшие приметы кровного родства: густую черноту волос на круглой головенке Алеши, смуглую кожу, милую раскосость маленьких коричневых глаз. Сердце Адыла наполнилось сумасшедшей радостью: «Мой сын, конечно, мой!» Не обошел милостью Аллах! Две дочери от Лолы, законные, родные, сладко любимые, но тем не менее дочери, увы. И вот сын, совсем рядом, в двух шагах от отца, сын, подаренный ему светловолосой русской женщиной, обладающей такой непонятной и колдовской властью над Адыловым сердцем!

Мясник на секунду вернулся в прошлое, вновь ощутил короткую безумную судорогу испытанного в подсобке наслаждения, щеки вспухли, лицо побагровело. Не помня себя, он потянулся к любимой женщине, чужой жене. Почему чужой, ведь только Адыл обладал ею по-настоящему, от него она родила сына, зачатого в ту жгучую секунду, почему чужой?!

Голос Марины с трудом пробился в сознание.

— Ты говорил с братом? Что ему надо от Сережи, почему он так ненавидит мужа?

— Ненависти нет, ненависти нет! — замотал головой мясник. — Не думай. Хусан всегда такой, с детства. Горячий, если против. Ненависти нет.

— Как же нет? Ведь он вчера у меня был. Что я, слепая? Извести хочет Сережу, а за что, за что? — Она всхлипнула. — Это ведь ты во всем виноват. Погубил меня ни за что, ни про что. А теперь Хусан хочет совсем добить. Это ведь тебя в тюрьму посадить надо, тебя, а не Сережу!

Адыл умоляюще приложил толстые руки к груди.

— Не ругайся, джаным. Ой-ё, не надо. Так дело вышло. Вину свою сам знаю, только сердце не терпело. У Хусана я сейчас был, большой гап делал, потом к тебе шел.

— Да что же ты томишь меня, — простонала Марина. — Что Хусан сказал, что?!

Адыл потупился.

— Сильно брат горячий, — пробормотал он. — Надо еще разговор делать. Завтра опять пойду, скажу, чтоб отпускал Серожка.

Марина побледнела и закрыла глаза. Руки разжались. Сын сполз на пол и ухватился за платье матери.

«Ничего не вышло. Значит, всему конец, — стучало в висках у Самариной. — Всему конец. Почему она подумала, что Хусан послушает брата? Она жертва в его руках, разве он упустит возможность насладиться ее страданиями?» Марина вздрогнула. «С ума она, что ли, сошла? Пусть Хусан получит все, чего жаждет,

пусть насладится ее унижением, покорностью, почувствует себя победителем, грозным самцом, неотразимой личностью, да Боже мой, кем угодно, только пусть отпустит Сережу!»

Алеша стоял у колен матери, глазенки с любопытством разглядывали мясника. Сердце Адыла на миг остановилось, на губы наплыла слабая просительная улыбка. Он неуверенно протянул вперед огромные, жирные руки и, забыв обо всем на свете, потянулся к ребенку, робко и униженно шепча:

— Бьяка келинг, оглым, бьяка келинг, Алишер... Отанга кель...

И такой страх, мольба и мучение были написаны на его преобразившемся, очеловечившемся лице, что Марина, рванувшаяся удержать ребенка, невольно остановилась.

— Бьяка келинг, менинг оглым, — вновь простонал Адыл, и Алеша, словно что-то поняв, внезапно заулыбался и неуклюже шагнул навстречу мяснику.

Замерев, Марина следила за сыном: первый шажок, второй, третий... Помедвежьи переваливаясь на крепких кривых ножках, Алеша шел на зов отца. Марина бросилась к ребенку. Она схватила его так, словно Адыл покушался отобрать сына.

— Не дам! — закричала Марина вне себя. — Не да-а-ам!

Адыл, шатаясь как пьяный, отступил к выходу, а вслед летело:

— Не да-а-ам!!

Адыл этого не слышал. Его трясло.

— Сын признал отца, Алишер признал Адыла!

45

Марина никак не могла понять, чего хочет от нее высокий, худой парень, поздно вечером постучавшийся в дверь.

Саид, отчаянно жестикулируя, пытался объяснить этой женщине с безумными, затравленными глазами, что пришел с добром и что он работает в одном цеху с ее мужем. Только сегодня, сейчас узнал, что Сергей попал в беду. Саид пришел выяснить, в чем дело, помочь и, если нужно, попытаться воздействовать на брата.

Марина вздрагивает. Страшное слово проникло в ее сознание. Как, еще один брат?! Не слишком ли много Икрамовых свалилось вдруг на ее несчастную голову? Нервы Марины не выдерживают.

— Убирайся, мерзавец! — кричит она, задыхаясь. — И будь ты проклят вместе со своим братом!

Марина захлопывает дверь.

Саид, донельзя огорченный, бормочет в пустоту:

— Я хочу помочь, помочь...

Он решает идти в милицию. Там Хусан, совесть его должна проснуться, ведь над нами Аллах, который видит все.

Руки Марины трясутся, сердце стоит в горле. Собрать всю волю в кулак, не дать себе расслабиться, растечься. Она уверена — Хусан непременно постучит нынешней ночью в ее дверь. Больше никаких истерик, никаких воплей. Волей Господа Марина должна пройти сквозь грязь и не запачкаться, и она пройдет, не дрогнув душой, пройдет и не запачкается. Ее цель — Сережина жизнь.

46

Поздно вечером Хусан вызвал Самарина на первый допрос. Голая комнатка с выкрашенными масляной краской стенами. Обшарпанный стол. На нем канцелярская папка. Хусан внимательно вчитывается в бумаги. Досадливо крикает. Справки с места жительства нет. Вот так всегда — бумажек столько, что обязательно какую-нибудь забудут.

Сергей взгляделся в Хусана. Следователь был ему знаком, даже слишком знаком — еще и сейчас болят выкрученные руки. Хусан поднял голову, усмехнулся.

— Вот, — сказал дознаватель. — Заявление Икрамова Адыла о разбойном нападении и зверском избииении означенного гражданина. Показания свидетелей, подтверждающие факт. Два показания сотрудников органов внутренних дел, задержавших преступника.

Сергей пытался вмешаться, но Хусан остановил его.

— Так, дальше. Справка из поликлиники о нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Икрамову Адылу. Они повлекли за собой временную нетрудоспособность, и в настоящее время Адыл (он поправился), гражданин Икрамов находится на амбулаторном лечении.

— Фальшивки, — не выдержал Самарин. — Все бумажки вральные. Ну было дело, я ему пару раз съездил по морде, он — мне, ну и что с того? Когда вы меня из ларька волокли, Адыл рядом шел, какая потеря трудоспособности? У меня самого лицо в синяках, тогда и мне давайте бюллетень.

Хусан выслушал, не перебивая.

— Вот протокол задержания правонарушителя Самарина С. В. Зачитываю: «При задержании оказал сопротивление работникам милиции, оскорблял их нецензурными словами, пытался бежать. А вот главное: покушался на жизнь гр. Икрамова Адыла при посредстве холодного оружия, а именно тесака для рубки мяса, похищенного с рабочего места пострадавшего. Тесак изъят и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства...»

Сергей онемел.

— К-какой тес-с-сак?

Хусан выдвинул ящик стола и выхватил нож.

— Узнаешь?!

Самарин ошеломленно уставился на тесак. Хусан радостно закричал, тыкая пальцем в нож:

— Пальчики твои здесь, пальчики, понял? Говоришь, зря тебя в камере держу? Не зря! Я экспертизу ждал, дактилоскопию! За срок содержания без санкции прокурора одну минуту не вышел! А сегодня санкцию получил. Икрамова голыми руками не возьмешь. Вот она, экспертиза, вот она, справочка — полюбуйся!

И, вода подрагивающим пальцем по строчкам, прочитал:

— Тем самым подтверждается полная идентичность представленных на дактилоскопическую экспертизу контрольных отпечатков среднего и указательного пальцев правой руки подозреваемого с имеющимися на рукоятке холодного оружия (ножа для рубки мяса) отпечатками папиллярных линий... Идентифицирован верхний правозавиток... Дальше читать или хватит?

Хусан откинулся на спинку стула. Глаза его горели.

— Налицо покушение на жизнь человека, да еще с применением холодного оружия. Мы помешали тебе убить! — крикнул он. — Говорил, законы знаешь. А ну скажи, что тебе по статье 194¹ положено?

Самарин облизал губы.

— Я не знаю никаких статей, — голос его срывался. — Это вы их знаете. Только все обман и неправда. Я никого убивать не собирался, никакого сопротивления милиции не оказывал.

— А почему на ручке ножа твои пальцы? — спросил Хусан.

Сергей замаялся.

— Быстро отвечай! — крикнул Хусан. — Чего резину тянешь? Правду сказать боишься, придумываешь, как ловчей соврать? Когда я тебя скрутил, этот нож из твоей руки выпал. Может, меня хотел зарезать, а? Что, не вышло? Я говорил, у Икрамова не вырвешься. У меня еще никто не вырвался.

— Этот нож я держал в руке, не отрицаю, — тихо сказал Самарин. — Только еще до вашего прихода. Когда мы с Адылом... — он сбился и замолчал.

Хусан коршуном кинулся на Сергея.

— Ага, раньше! Значит, подтверждаешь, что сначала Адыла хотел убить, потом мы под руку подвернулись, на нас кинулся. Хорошо, так и запишем.

Ручка быстро забегала по бумаге, Сергей смахнул пот со лба.

— Никого я не хотел убивать, — обреченно сказал он. — Нож сам на пол бросил, спроси Адыла.

— Спрошу, спрошу, — весело согласился Хусан. — Всех спрошу, только сначала с тобой разберусь. Скажи, убивать никого не хотел, зачем драку затеял, нож схватил? Как вообще в ларьке оказался?

— Как оказался? — медленно повторил Самарин. На этот вопрос он не хотел отвечать. — Вы не имеете права вести мое дело, — крикнул он. — Адыл ваш родственник.

— Не имею права? — губы Хусана хищно поджались. — А я и не веду. Я не следователь, а дознаватель. Следователь сам знает, кому допрос поручить. И вообще... — он засмеялся негромким, булькающим смехом. — Не имею права. На родной земле я на все имею право, слышишь, на все! Я тут хозяин, а не ты. Понаехали, учить нас будут. Адылов родственник. Правильно, родственник, только мы все здесь родственники, понял, — все! Выбирай, кто больше подходит?

— Что же, среди вас нет ни одного честного человека? — задыхаясь, выговорил Самарин.

Хусан усмехнулся.

— Все честные. Только мы друг друга не жрем!

— Я в Москву напишу! — крикнул Сергей. — В Москву!

Хусан презрительно пожал плечами:

— Дурак ты, дурак. В Москву? Нам же и пришлют разбирать твою жалобу.

— Добьюсь, чтоб комиссия приехала!

Хусан равнодушно цокнул языком. «Комиссия. Оденем в золотые халаты да назад отправим, первый раз, что ли? Это свои когда проверяют, без штанов остаешься, столичные дешевле. Слава Аллаху, знаем. Комиссия. Нашел о чем говорить, напугал. Они нас сами боятся. Приехать легко, уехать трудно. Тут им не Москва».

— Я комиссия, — сказал Хусан веско. — Другой не будет.

47

Из-за стены донеслись невнятные, приглушенные кирпичной кладкой крики. Хусан прекратил допрос и с видимым удовольствием прислушался.

Ошеломленный допросом, Сергей сначала не обратил на них внимания. Тут за стеной закричали так, что Сергей вздрогнул. Что там происходит? Глухой, ватный звук тяжелых ударов и новая серия истошных воплей. Крики перемежал монотонный, настойчивый голос. У Сергея мелькнула страшная догадка. Он утраченной радостью глянул на дознавателя и похолодел.

Хусан сидел, расслабив тело, с полускрытыми глазами, и маленькая, аккуратно стриженная голова его чуть заметно кивала в такт доносившимся из-за стены ударам.

— Что это?!

Самарин вздрогнул от звука собственного голоса. Он уже сам понял, что за стеной, и все же спросил.

Хусан приоткрыл глаза.

— Допрос, — коротко ответил он.

Внутри дознавателя все пело и смеялось. Ага, сообразил-таки!

В соседнем кабинете работал старший следователь Маматов. После его допросов сутенщики замывали кровь на полу и стенах следственного изолятора.

На следственном отделе с весны висело убийство. На прошлой планерке присутствовал городской прокурор. После его визита Маматов вышел из кабинета начальника с белыми глазами. Ему было поручено немедленно раскрутить повисшее дело. Кандидат в «паровозы» нашелся подходящий. Токарь с аллобергического, не дурак выпить и подражаться, уже имевший срок по 206-й. Он на ночь убийства не имел алиби, а главная улика заключалась в том, что его нашли пьяным в двухстах метрах от тела.

Крик за стеной перешел в дикий вопль и неожиданно оборвался на самой высокой ноте. «Придется вызывать врача» — догадался Хусан. Обычно боль-

шинство упрямцев становились сговорчивыми после первых же аргументов Маматова, но вот поди ж ты, изредка попадались и такие...

Хлопнула дверь, в кабинет вошел распаренный, запыхавшийся Маматов. Хусан поднял брови. Капитан раздраженно махнул рукой.

— Сволочь, дурак! — крикнул он. — Подписал бы — уже спал в камере. Пустая голова! А у тебя как? — повернулся Маматов к застывшему на табуретке Самарину. — Тоже крутит? — Он шагнул вперед. — Пиши признание, пададь! На милицию руку поднял? Раздавим, как собаку, по тюрьмам сгноим! — Маматов неожиданно ткнул в глаза Самарина растопыренной пятерней. — Чего мычишь?

Самарин отшатнулся и упал вместе с табуреткой. Маматов расхохотался. Раздражение его утихло.

— Чего лег? — спросил он у Сергея. — Вставай. Здесь мы приказываем, когда ложиться. Давай не самовольничай, а то плохо будет.

Продолжая смеяться, Маматов вышел. Хусан молча наблюдал за Сергеем. Самарин стоял с бледным до синевы лицом и опущенными глазами.

— Эй! — окликнул его дознаватель. — Спать собрался? Подожди спать, еще не все договорили.

Торопясь и захлебываясь словами, Самарин рассказал, что случилось в темной подсобке мясного ларька, рассказал, не утаив ничего. Он промолчал лишь о том, что привело его к Адылу. Имя жены ни разу не вырвалось из Сергеевых уст. Из самой глубины сердца исходил этот запрет.

Тонкие губы Икрамова злорадно поджались, он безошибочно уловил, какой темы избегает Самарин.

48

Хусан не забыл испытанного позাপрошлой ночью унижения. Он бесился с утра. Эта шлюха, подстилка, сама зазавшая в постель, вдруг отвергла его!

Икрамов скрежетал зубами, вспоминая, как спускался на цыпочках по бесконечным ступенькам, страшась, что проклятая стерва там, наверху, неожиданно выскочит на лестничную площадку в своем непотребном, голом виде и заорет что-нибудь ужасное, вроде:

— Спасите, изнасиловали!

Страх немного притих в Хусане только к вечеру. О, он давно забыл, как ходят на цыпочках! Унижение требовало отмщения.

Белая сволочь, сволочь, трижды сволочь, ведь уже была совсем голая, легла, раскинула ляжки. Я даже не успел к ней прикоснуться, нет, успел, успел, какая грудь, Боже мой, какая грудь, упругая и нежная, у моей Саёры пустые мешочки, четверо детей. Никогда не скажешь, что жене только двадцать три года, соски черные, в палец длиной, сморщенные. О чем я, о, Аллах, какое белое, сладкое, желанное тело видел своими глазами, было рядом, так доступно. Теперь я не смогу жить, никогда не успокоюсь. Умру, если не почувствую этих белых бедер и этого белого живота. О, Аллах, так и сводит все вниз, горечь во рту, не слюна, а хина. Ну почему, почему мне не удалось, ведь даже Адыл смог, смог, смог!

49

Хусан поднял на Сергея утрюмые глаза.

— Болтаешь, будто просто подрались, — сказал он презрительно. — Кого обмануть хочешь, Икрамова? Меня еще никто не смог обмануть. — Он наклонился вперед и впился глазами в Сергеевы глаза. — Хочешь, скажу, как на самом деле было?

Самарин молчал.

— А вот как было. Ты Адыла убить прибежал. Потому и нож схватил, что мысль твоя была — убить! Отомстить хотел. Он с твоей женой гулял, ребенка ей сделал, а ты ушами хлопал, думал — твой сын. Когда узнал, что Адылов, что жена твоя — шлюха...

Сергей стиснул зубы и начал медленно подниматься с табуретки. Навстречу так же медленно вставал Хусан. Они сошлись лицом к лицу над столешницей. Их разделяло пространство в ладонь.

— ...И вот когда ты узнал, что жена — шлюха, — проскрипел Хусан, — ты побежал убивать моего брата, вместо того, чтобы прикончить собственную лахудру!

— Она шлюха? — шепотом спросил Сергей. — Какое у тебя право так говорить? Моя жена честная женщина. Два года назад твой брат изнасиловал ее. Если бы я об этом узнал, он бы уже умер. Адыл взял ее силой, почему ты говоришь, что она шлюха?! — Он схватил Хусана за отвороты кителя. — Почему?!

Икрамов даже не сделал попытки вырваться.

— Силой? Как бы не так! Купил твою бабу Адыл, с головой и пятками купил! Да таких и покупать не надо, сами рады на шашлык напроситься. Русские женщины такие, под кого угодно лягут и глазом не моргнут.

— Ну, а нерусские? — глухо спросил Самарин.

Хусан усмехнулся.

— А ты попробуй уговори мою жену или Адылову с тобой переспать, тогда узнаешь, какие наши женщины.

— Ты, что ли, мою уговорил? — спросил Сергей.

— Ее и уговаривать не пришлось, — ответил Хусан. — Сама напросилась. Вчера ночью опробовал, сегодня опять в гости звала. Может, зайду.

— Что опробовал? — не понял Самарин.

— Бабу твою опробовал, жену твою честную, — со вкусом ответил Икрамов.

— Врешь! — взметнулся Сергей. — Врешь, гад! Докажи, докажи, а то убью!

«Сейчас я раздавлю его», — подумал Хусан. Настало время покончить с ничтожеством, червяком, осмелившимся бросить вызов семье Икрамовых. Пора!

— Когда с Марины лифчик снимешь, — сказал он, смакуя каждое слово, — на левой груди, пониже соска — пять родинок. К животу побежали, — он насмешливо поиграл пальцами на невидимых клавишах. — Побежали вниз, побежали. Две побольше, три поменьше, я вчера ночью их посчитал. До утра пять раз уложился. А ты сколько? — Хусан прищурился.

— Ты, ты... — жалко выговорил Самарин. — Ты...

Хусан с презрением стряхнул с себя бессильные руки насмерть пораженного человека.

Сергей медленно опустился на табуретку. Он поверил дознавателю сразу, поверил так, словно сам присутствовал при новом предательстве жены. Конечно, где один, там и другой, и третий, что ей теперь стоит? Две больших, три маленьких! Боже мой, как она могла?! Да есть ли мера человеческой низости? Маринка, Маринка!!!

Сергей застонал и закрыл лицо руками. Плечи его затряслись от глухих рыданий.

Хусан взглянул на Самарина. «Вот что такое человек. Как легко превратить его в труху, развалину, мокрицу, заставить ползать у ног». Мысль эта наполнила радостью сердце Хусана. «Велик Аллах, отдающий судьбы мелких, ничтожных людей в руки избранных, — с благоговением подумал он. — И я отмечен благорасположением Бога».

Хусан нажал на кнопку утопленного в край столешницы звонка. Вошел конвоир.

— Уведите, — сказал Икрамов, кивая на Сергея.

Тускло светит забранная стальной сеткой лампочка. В углу вольготно раскинулся Цыган. Торчит смолистая борода, бугрятся стальные мускулы. По обе стороны от него — зона опасности — метровые пустые промежутки. За королем — уголовные феодалы тоже не стесняют себя жилплощадью. Криминальная сошка лежит вповалку. У парашаи пустует красшек нар — место Самарина. Сергей присел.

Кемаривший Фаргес, услышав бречание ключей, приподнял голову. Увидев Самарина, он снова упал виском на локоть. Гоняют взад-вперед всякую фразерню, только отдыхать мешают. Прочие не пошевелились. Сергею показалось, что чуть дрогнули плотно сжатые веки Усмана и в открывшихся острых щелочках мелькнули искры. Самарин повалился на бок и тупо уставился на парашу.

«Значит, Марина опять предала, — подумал он. — Все ложь. Как ее теперь называть — любимой, гадиной, женой, шлюхой? Сначала Адыл, теперь Хусан, братья. Боже мой, братья. По-родственному, а, по-родственному, передают с рук на руки? Марину, мою Марину. А-а-а!» Он застонал.

С байкового одеяла грузно поднялся Усман-Цыган. Камера мгновенно проснулась. С какой ноги встал пахан? Цыган подошел к Самарину. Огромная рука легла на плечо Сергея.

— Расколотся?

Сергей хотел ответить, но не смог. Судорожный вздох сорвался с сухих, потрескавшихся губ. Вор несколько секунд внимательно вглядывался в Самарина. Камера напряженно ждала.

— Спежся, падаль! — бросил Цыган с презрением.

Тяжелый взгляд прошелся по камере. Все опустили глаза. Усман хрипло засмеялся.

— Что приуныли, ханурики? На то и фраера, чтоб колоться. — Он брезгливо отвернулся от Сергея. — Уже воняет от падлы.

Фаргес сорвался с нар и подскочил к Самарину.

— Точно, воняет! — завопил он, вынюхивая воздух. — Прет, аж дышать нечем!

Цыган благосклонно усмехнулся. Фаргес двумя пальцами взялся за Сергееву штанину.

— Уже потекло! — радостно сообщил он.

Самарин вяло дернул ногой. Усман помочился в парашу и вернулся в свой угол. Фаргес поднял крышку цинкового бака.

— Эй, фраер, может, попьешь? — пригласил он Сергея. — Охладишься от ментовской парилки?

Косой зашелся смехом.

— Ну, падла, хохмач!

Ободренный успехом, Фаргес еще некоторое время дразнил Самарина, но наконец и ему надоело издеваться над сокамерником. Фаргес закрыл бак, пора на боковую. Через полчаса камера спала.

51

Сергей понял, что виноват, безмерно виноват перед жизнью — ведь она неоднократно предоставляла шанс, которым он не воспользовался. Кого винить за собственную слепоту, кого, кроме себя?

Виноват, перед всеми виноват — виноват, что родился в простой крестьянской семье и тем сразу лишил себя преимуществ сына партийного или государственного функционера, виноват, что не смог примкнуть к сильным через высшее образование, удачную, продуманную женитьбу, через лесть, угодничество, подкуп. Кто мешал? — все ворота были открыты.

Упустил, все упустил!

После армии если не институт, так та же школа милиции — брали просто так, он смутно припомнил, как предлагали пойти — дурак, отказался. Дурак! — казнил он себя. — Сейчас бы на этих нарах лежал не он, а Хусан. Упустил удачу, закобенился, как же, девчата засмеют: — Фи, милиционер; корешки наморщат носы — не нашел честного куска хлеба, на дармовщинку купился, эх ты, Серега... А что Серега? Где он теперь, ваш Серега, и где те глупые девчата, те слепые тудяги дружки, где они теперь, когда вокруг только набрызг бетона на метровой толщине стенах да сторожкие шаги контролера за железной дверью?

Ума не хватило — попер на завод, в слесаря, в рабочий класс, зарабатывать мозоли да ранний горб на спине, как же: совесть, рабочая честь, справедли-

вость — дозарабатывался! А ведь и на заводе была щель: выдвигали в профсоюз, на освобожденную должность, в придурки к начальству — бить баклуши, и катил за это почет, деньги, дармовые блага.

Куда уж там — я такой, я сякой, у меня квалификация, это вам не по собраниям штаны просиживать, и как на грех тут же подвернулась беленькая, грудастенькая, не партийная мымра худосочная, а умри Серега на месте! — мамина дочка, и забыл все на свете: и про выборы, и про перевыборы, только сердце стучало редко и безнадежно — без нее не жить, без нее не жить! Бросился, как в омут головой, только брызги несбывшихся мечтаний серебром полетели в стороны. Любовь, любовь, как же — любовь! Пригоршня нецелованных родинок оказалась дороже всего на свете, и вот чем любовь обернулась — плати, Серега, по старым векселям, подошел срок, не ищи виноватых, виновато сердце, что от счастья ослепло!

«Голоштанник! — припомнил Сергей ядовитое тещино и впервые смиренно согласился. — Да, правильно, так оно и есть, именно голоштанник, а кто же еще?»

Виноват, беспросветно виноват перед Мариной — не смог обеспечить ей сытой, безопасной, спокойной жизни, не смог оградить от грубого насилия. Как мог он думать, что никто не покусится на алмаз, сверкающий в руках нищего бродяги? Сергей не научился, как Адыл, добывать ежедневно сотню рублей, он зарабатывал ее тяжелым физическим трудом целого месяца. Значит, виноват, что измотанный работой он не стал жене настоящей опорой, защитником, ни даже неутомимым любовником.

Виноват, виноват, кругом виноват!

И настала пора расплачиваться за эту, перед целым миром, вину. И Сергей согласился, что пора действительно настала.

52

Он потянулся к параше и нащупал веник. Бестрепетные пальцы сломали верхушку — в развале белых пористых торцов мелькнула зеркальная полоска металла. Сергей вытащил бритву, закатал рукав на левой руке и, ни секунды не раздумывая, сильно чиркнул по синему пульсированию вен. Раздался неприятный скользкий хруст, так, словно резали хрящи. Самарин невольно поморщился. Из разрезов хлынули сильные красные струи.

Горячий поток ожег кожу, и Сергей на миг испугался, но страх этот отлетел от души так же мгновенно, как и посетил ее. Он откинулся на спину, подложил свободную руку под голову, а изрезанную свесил с нар. «Марина, — подумал он. — Марина...»

Резкий запах крови заполнил камеру. Фаргес обеспокоенно поднял голову, не понимая, откуда он идет. Привстал и огляделся.

Разбросавшись по байковому одеялу, мирно лежал Цыган. Грудь тихо вздымается, глаза прикрыты. Человек, не обладающий звериным Фаргесовым чутьем на опасность, и на секунду не усомнился бы, что Усман спит. «Не спит, — испуганно мелькнуло в голове Фаргеса. — Как кровью тянет. Кого-то пришили. Кого, кто? Цыган, Косой?»

Рядом с бессильно повисшей рукой Самарина — лужа крови, от нее протянулась к двери тонкая черная струйка.

«Сам себя кончил, — понял Фаргес. — И пахан уже усек». Он закрыл глаза, сонно зевнул и медленно опустился на нары. Через минуту Фаргес начал еле слышно посвистывать носом. Веки Цыгана чуть заметно дрогнули. «Шустрая крыса. Счет. Такой пригодится. А фраерок-то кони кинул, на все сто. Фуфло. Все они такие». Цыган поморщился. «Слизняк».

53

В окно медленно вползал рассвет. В комнате серо и душно. Марина лежит на спине, закрыв лицо руками. Хусан видит курчавую, черную поросль волос в

подмышечной впадине и матовую выпуклость налитой молоком груди. Он закрывает глаза. Как ему хотелось встретить отпор, сопротивление! Он бы смял это сопротивление, растоптал его! Но Марина отдавала себя с ледяным равнодушием, так, словно тело в эту ночь перестало принадлежать ей.

Хусану хочется крикнуть, что Марина ничего этим не добила, что он обманул ее! «Все равно не отпущу мужа!» — рвалось из его стиснутых губ. Марина проиграла, по всем статьям проиграла, она ничем не сможет искупить перед Сергеем того, на что пошла в эту ночь, а значит, ее поступок не жертва, а предательство! Она побеждена и обязана покориться силе, власти, желаниям Хусана, дать ему ощутить глубокое удовлетворение, за которым он, в сущности, и пришел...

Икрамов рывком выбросил тело из кровати. Он взглянул на часы. Стоят. Совсем голова перестала соображать с этой бабой. Забыл завести. Он подошел и включил радиоприемник. Хусан покрутил ручку настройки. «Маяк» передавал музыку. А на других волнах? Музыка, музыка, еще музыка... Что такое? Хусан недоуменно пожал плечами. Везде концерты? Он вновь попытался поймать голос диктора. Все станции, как сговорившись, транслировали торжественную, мрачноватую мелодию. Хусану стало не по себе.

Он взглянул на Марину. Тело женщины так неподвижно, что кажется, она мертва. Хусану невольно вспоминается недавно виденное. В ущелье за дробильной фабрикой, гнавшие отару чабаны набрели на изнасилованную мертвую женщину. На место преступления выехал дежуривший в тот день Икрамов. Убитая лежала точно так же, как Марина, — деревянно вытянувшись на жухлой осенней траве и закрыв руками изуродованное лицо...

Хусан нервно дергается. Чепуха, ничего с ней не сделается. Он брезгливо кривит тонкие губы. Подумаешь, корчит из себя принцессу, дрянь!

Икрамов выходит на улицу. Легкий ветерок ласково обдувает лицо, край солнца медленно подымается из-за слабо парящей Ак-Дарьи и полукруглых покатых уступов гор Кураминского хребта, подымается все выше и выше, затопляя город лавиной звонкого, прозрачного, жаркого золота...

Хусан по шатким мосткам перебирается через Старый канал и сворачивает на Ноябрьскую. Впереди — здание городской милиции. Икрамов довольно улыбается. Хорошая пробежка, черт побери, полезная для здоровья.

Это его мир — улицы, на которых вырос, город, который покорило. Что с того, что Марина не рассыпалась прахом под ним, что с того? Она все равно досталась ему, Хусан захотел и добился своего!

Он повелитель, большой человек, хозяин застывшего белого тела, дома, в котором оно осталось, улицы, по которой идет так уверенно и смело, что ему все чаще уступают дорогу встречные. Он хозяин этого города, да что там — сегодня город, завтра область, послезавтра республика, а там и вся страна!

Из уличного репродуктора плывет навстречу дознавателю Икрамову торжественная траурная мелодия. Ушла в небытие Хусанова эпоха. Ветер, все сокрушающий ветер зарождался на дальнем горизонте.

Хусан не слышит музыки.

— Целая страна! — возбужденно ликует он. — Страна!

Непрекращающийся реквием сумрачным диссонансом накладывался на его свирепую радость...

54

Навстречу бежит Саид. Хусан остановился и нахмурился. Брат задыхается и что-то восклицает на ходу. Увидев Хусана, Саид замирает пораженный, затем с жалобным стенанием бросается к брату.

— О, Аллах, — кричит он. — Великое несчастье, великий грех, Хусан.

Саид хватает брата за руку. По лицу его текут слезы.

— Я чувствовал, что этим кончится! Великий грех, Хусан! Земля не простит!

Саид подымает ком сухой глины и протягивает брату.

— Здесь отцы! — кричит он. — Здесь прах народа! Не оскверняй его преступлением! Земля перестанет носить тебя!

Ошеломленный Хусан хватается брата за плечи.

— Что случилось, Саид, что случилось?!

Саид раскачивается и стонет.

— Великий грех, Хусан, ты загубил душу человека. Аллах не простит.

— Какую душу, какого человека, что ты мелешь?! — Хусан грубо встряхивает брата. — Говори!

— Сергей убил себя! — плачет Саид. — Я ждал тебя ночью у милиции. Ты ушел с заднего хода, и я не смог остановить тебя. А через час после твоего ухода Сергей убил себя. Ты принудил его к этому, на тебе смертный грех, ты великий грешник, Хусан!

«Ах, вот оно что». Новость потрясает Хусана. Он отпускает брата и задумывается. Через минуту Хусан приходит в себя.

— А мне какое дело? — кривится тонкогубый рот. — Я тут ни при чем, я его и пальцем не тронул. Убил себя — значит, виноват.

— Великий грех лег на твою душу, — горестно восклицает Саид. — Брат, встань на колени, повинись перед Богом, раскайся в злодеянии, брат!

— Ты с ума сошел! — Хусан злобно передергивается.

— Брат! — Саид падает на колени и тянет Хусана за собой. — Давай молиться, брат, вместе молиться, просить Аллаха о милосердии!

Хусан, скрипя зубами, выдирается из цепких пальцев.

— Сумасшедший, дивона, совсем спятил!

— Аллах не простит убийства неповинного!

— Что ты лезешь со своими глупостями! — вне себя кричит Хусан. — Мой Аллах — ЦК! Дивона!

Саид, стоя на коленях, умоляюще протягивает руки:

— Не богохульствуй, брат! Земля не простит, она отвергнет тебя! Земля отцов! Когда придет срок, в нее надо лечь чистым, Хусан! Молись!

Хусан окончательно приходит в себя.

— Какое тебе дело до этого русского?!

— Брат, брат, на пути власти — грязь! Спасение — на пути Бога! Сверни с черной дороги, Хусан!

— Прочь!

Хусан отворачивается и уходит. Саид, стоя на коленях, протягивает вслед дрожащие руки.

— Прости брата моего, великого грешника Хусана, — шепчет он. — Власть помutilа его голову, иссушила сердце. О, Худо! Смилуйся над несчастным.

55

А ветер, зародившийся в предгорьях, все крепчает, все набирает силу.

Так прощай же, навсегда прощай время, сгнившее на корню, прощай со всеми твоими иконостасами и регалиями, с фанфарами дутых исторических побед, с пышными ритуалами всенародных здравиц, с закулисной крысиной возней у сытных кормушек власти.

Ветер, ветер, ветер летит над страной! Шире двери, окна, души, глаза, сердца! Шире, шире, еще шире!

Уйти бы тебе, проклятое время, на полтора десятка лет раньше, сколько бы мы доброго за эти безрадостные годы сделали. Эх, да что теперь говорить! Туда, туда, в дождем моченный черный зев на известной знаменитыми могилами площади, сколько пролежишь, времечко, не придется ли скоро переезжать, как уж иным пришлось, да, впрочем, хоть бы и навеки, лежи, где лежишь, без движения, неспособное ничего и никому запретить. Или опять встанешь, опять потянешь к живым полусгнившую, мертвую руку:

— Стойте, живые, не смейте быть живыми, нежизнь лучше, безопасней, чем жизнь...

Ну уж нет — плиту сверху, гранита побольше, самого лучшего, не пожалейте денег на доброе дело, привезите плиту из озерной Карелии, парапет на Неве чуть короче станет. Да Бог с ним, с парапетом, важнее дело есть, и потолок плиты, потолок, а коли и под ней зашевелится, так кол осиновый сверху!

И музыки, музыки, больше музыки, больше траурной музыки, праздник, народный праздник, а что на Руси за праздник без музыки?! Праздник великого ветра летит по стране.

Ах, как зашевелились, как насторожились, как затревожились жирные, раскормленные крысы, прочно обжившие все этажи огромного государственного амбара.

Оплывшие от сала морды поднялись кверху, осматриваются, принохиваются, где, что, как, почему?

А ветер — по всем уголкам амбара, и на чердак, и в подвал — мор на крысиный род, мор, эпидемия, погибель...

Шепотки, сплетни, слухи, авось, выживем, авось, пересидим, слухи, сплетни, шепотки... И бессильная ярость, и звериная тоска по умершему времени.

Ветер, ветер, ветер над моей дорогой страной!

56

Захлопнулась дверь. Марина открывает глаза и глубоко вздыхает, словно возвращаясь из небытия.

Семейное ложе разорено, простыни свернуты в жгут. Измятая грубыми руками Марина сама чем-то похожа на перекрученную льняную ткань.

Ночью она стискивала зубы и сжималась, чтобы не поддаться бешеному напору, не загореться ненароком от опаляющего кипения чужого злого огня. Она знала, что Хусан не добился от нее того, за чем пришел. Марина отдала для спасения Сережиной жизни все, что могла, все, что имела. Никакие другие дороги, быть может, более разумные и достойные, никуда не привели.

Хусан обещал отпустить Сергея. Это выкуп. «Выкуп, — подумала она. — Выкуп перед небом. Бог потребовал жертвы и страдания, он ниспослал мне испытание и убедился, что я не лгу в сердце своем». Марину снова охватило странное светлое чувство, испытанное прошлой ночью, когда она, захлебываясь слезами, на коленях молила о помощи неведомого Бога. Кто-то откликнулся ей, и тихий, почти неразличимый голос этот навеки поселился в ее сердце. «Это искупление, — подумала она. — Искупление».

Марина бросила взгляд на детскую кроватку — сын спал, тихо посапывая. Марина с отвращением стянула с кровати постельное белье и, сбив его в большой безобразный комок, понесла в ванную. Бросила белье в тазик и, посыпав стиральным порошком, залила водой. Смыть, все смыть, все отскоблить, отодрать, очистить!

Она скинула халатик и встала под душ. Горячие нежные прутки воды легко щекотали кожу. Марина отдавалась ласковым прикосновениям, закрывала глаза, поворачивалась, и поток воды, перемешиваясь с ее слезами, уносил с собой страдания и горести. Он убежал по гладкому, поблескивающему зеркалу эмали, чтобы быстрой веселой струей нырнуть в круглое отверстие стока и навсегда унести все, оставшиеся без ответов вопросы, горькие переживания и страхи. В ней осталось одно только внутреннее напряжение любви, которое и поможет выдержать все испытания.

Марина закрыла воду и вышла из ванной. Она ожесточенно вытерлась большим махровым полотенцем, желая содрать с разгоряченной кожи память о прошедшей ночи.

Нежданый прилив тихой радости охватил ее. Далекий, ласковый голос шепнул чуть слышно:

— Ты чиста, чиста...

Сердце наполнилось благодарностью и надеждой. «Что, что? — волнуясь, подумала она. — Что я не сделала? Почему мне нельзя?» И вдруг поняла, что не сделала и почему ей нельзя прикасаться к ребенку. Марина опустила на коле-

ни, и простая, бесхитростная ее молитва полетела к небу и смешалась по дороге с тысячами других таких же молитв, полетела, как белый голубь, как мечта о чистоте, справедливости, счастье...

57

Марина не знала, что Бог сострадающий, Бог милосердный умер на кресте две тысячи лет назад и что ее робкая, доверчивая просьба, обращенная к небу, есть просьба о несбыточном, моление о чуде; чуде, казалось навсегда покинувшем мир.

Злоба, ненависть, зависть — новые всадники Апокалипсиса прищипывали коней.

Обращаясь за помощью к высшей, внечеловеческой силе, она не знала, как бессмысленно и беспощадно жестока эта сила, она не знала, что человеческое общество — стая скорпионов, пожирающих друг друга, и что если вышняя сила и взаправду вмешивается в людские междуусобицы, то лишь затем, чтоб сильней раззадорить их.

Марина этого не знала и поверила в милосердие, и вера ее незнания оказалась выше мудрого неверия знающих, неверия отчаявшихся в надежде. Она жаждала чуда, и чудо пришло к ней так же неотвратимо и просто, как дети рождаются, как трава растет.

В напряженной тишине вдруг возникла едва различимая мелодия; музыка — в безмолвии, нарушаемом лишь усталыми ударами раненого сердца, музыка — в душном воздухе разлитой вокруг беды, возникла и зазвучала в самом сердце молодой женщины. Теплая волна коснулась ее лица, скользнула по влажному бархату кожи, окружила, окутала, обволокла... И растворяясь в убаюкивающим покое, погружаясь в него все глубже и глубже, Марина благодарно зашептала:

— Господи, как хорошо... Спасибо тебе, Господи...

Солнечный луч раздвинул просвет штор, невидимые, могучие руки бережно подняли ее с колен. Тело освободилось от земного притяжения, и новая волна, затопившая комнату, увлекла Марину за собой.

Чуть покачиваясь, она стояла в воздухе — дымная пылинка в остром свете Солнца, стояла, не чувствуя под ногами опоры и нисколько не удивляясь этому. Сейчас Марина обнимала душою целый мир, в котором не было и не могло быть ничего невозможного.

Просветленным взором видела она сверху, из солнечного луча, и кроватку со спящим сыном, и лежащего на нарах Сережу, и свое, покинутое на минутку тело. Страдание ушло, на сердце стало легко и покойно, она знала: что бы ни случилось впредь с ней, Алешей, Сережей — они уже не будут одиноки и беззащитны, как прежде, ведь ее услышал Тот, кто выше, сильнее и справедливее всех, чья беспредельная воля осуществляется и в биении ее сердца, и в свете Солнца, и в дыхании Алеши, и в судьбе Сережи — Он услышал и откликнулся, и в замену счастья даровал ей покой, и она поняла, что покой выше счастья, и еще поняла, что прощена...

Верящему — утешение и нищему духом — царство милосердия, добра и любви.

58

Послышалось кряхтенье. Сынишка встал и уцепился ручками за перекладину кроватки. Мать подошла к сыну. Алеша потянулся к Марине, тоненько скуля: — Ма-а.

Марина выпростала грудь и поднесла к ней ребенка. Крутлое личико Алеши расплылось, маленькие губы потянулись к розовому соску. Послышалось довольное чмоканье. Марина прижала его к себе.

— Вернется наш папка, — сквозь слезы прошептала она. — Скоро вернется. Все равно он наш с тобой, наш!

Вырвавшиеся из глубины сердца слова открыли ей что-то очень существенное, важное, о чем она раньше даже не подозревала.

— Он наш с тобой папка, наш!

Ей стало ясно, что теперь она не боится ни Хусана, ни того, что стоит за ним.

— В волю твою, Господи, отдаю судьбу сына моего, — прошептала она. — В волю твою, Господи... сына моего...

Прижимая к груди ребенка, она подошла к окошку и, повинувшись внезапному душевному порыву, широко распахнула оконную раму.

Теплая ноябрьская погода, с низким красным солнцем и осенними ветерками, с редкими ночными заморозками, когда мелкие лужицы на тротуарах покрываются прозрачной пленкой хрусткого, тающего с первыми утренними лучами ледка, с несметными крикливыми сборищами черных грачиных стай, с ласковым и смиренным увяданием жаркого, уходящего в небытие лета, с последними облетами желтого листа, густо устилающего асфальты тротуаров и дорог... Осень, поздняя азиатская осень пришла в Байабад.

Мать и дитя — в проеме открытого настежь окна. Мать и дитя.

А музыка все плыла и плыла вдоль пустынных уличных магистралей, облетающих деревьев, выгоревших за лето коробок стандартных жилых четырехэтажек, взлетала над плоскими битумными крышами и уносилась дальше и дальше, к мерцающему горизонту, за которым просыпалась огромная страна...

Захваченный порывом ветерка, обрывок этой музыки влетел в комнату и коснулся притихшего на руках у Марины малыша, сына двух народов, двух рас, ребенка любви, коварства, ненависти и беспредельного человеческого терпения. И Алеша вдруг весело засмеялся, словно услышал не мелодию печали, не реквием, а гимн будущего, гимн надежды, той самой надежды, которой так недоставало его несчастной плачущей матери...

Сентябрь — декабрь 1986 г.

Юрий БАТЯЙКИН

ДО ВСТРЕЧИ НЕ В ЭТОМ МИРЕ

Тускло-рифмованные признания в любви к Отечеству, перебиваемые кисло-сладкими картинками родной природы, отчасти уже настолько умозрительной, что трудно уловить различие между бесчисленными «есенинскими» березками и ресторанными фикусами, сливающимися где-то в доисторической дали в мареве розосидельного ностальгического пейзажа. И напротив, арбатские мастера нелепозащитной речи, на обличениях административно-командной системы честно зарабатывающие свой кусок хлеба, торжествующая чернуха, полуразрешенная похабелъ, Ельцин с Горбачевым на литературно-политических качелях, как две гимназистки на Масляном лугу, в канун Великого поста: вверх-вниз, вниз-вверх, — захватывающее зрелище. А где-то сбоку, в третьеразрядных окраинных ДК, грустные вечера постмодернистов с полудюжиной слушателей, похожих на прошлогодний снег из популярной некогда французской баллады. Есть, правда, еще Литинститут и секции поэзии в Союзе писателей, есть и почти альтернативный, чуть-чуть другой Союз — гуманитариев. Но, пожалуй, — все. Этими пределами как бы заведомо заданы параметры современной поэзии, ее размеры, цвет и запах, и я, по несчастью будучи сам стихотворцем, отшатаюсь от любой новоизданной книги стихов, если никогда прежде не слышал имени автора. В общем-то ничего уже не ждешь и постепенно сживаешься с мыслью, что наше время бедно не только на продукты питания или товары первой необходимости — еще, видимо, скудней оно на так называемую пищу духовную.

И в таком-то настроении вкуса, которое иначе как тотальное отвержение, не определишь, я раскрыл рукопись Юрия Батяйкина. Раскрыл потому, что меня остановило ее название ПРАЗДНИКИ ОДИНОЧЕСТВ...^{*} Одиночество — слово практически не употребляемое во множественном числе, вероятно, потому, что само это состояние предполагается достаточно однородным, неразнообразным, скучным, а тут оно вроде бы даже и празднично, и повторяемость его празднований тождественна повторяемости моментов одиночества, которые поэт различает, как различает мать детей-двойняшек. Чего мы ждем, обращаясь к стихам еще не известного нам поэта? И что такое чтение стихов, как не ПРАЗДНИКИ ОДИНОЧЕСТВ?

Заглавие цикла оказалось ключом к его содержанию и в каком-то отношении — даже к самой форме стихов. На фоне иллюзорной всеобщности наших проблем и бед, сквозь разговоры о будущем Союза или русской культуры странно зазвучал одинокий голос человека, брошенного в мир, который для него радикально неприемлем, который ему ненавистен и который, по сути дела, — всего лишь размалеванная декорация на праздниках его одиночеств. Неподлинность нашего повседневного существования, раздробленность и пунктирность внутренней жизни, железный хаос казенщины — все это принимается большинством как некие непреложные нормы бытия, и нужно иметь поистине волчью хватку, животную жажду свободы, нечеловеческую тягу к гармонии.

Юрий Батяйкин обладает этими качествами, что резко выделяет его стихи среди доминирующей поэтической продукции. Сегодня, когда с экранов телевизоров, по радио, в либеральных и либеральничающих изданиях мы постоянно слышим, как вполне интеллигентные голоса проникновенно и сочувственно повествуют о годах террора, о пытках и казнях, об исторических изломах и вывихах, и когда мы сживаемся с этим проникновенным тоном настолько, что все происшедшее в действительности кажется вымыслом, чем-то очень далеким, нереаль-

^{*} Речь идет о неизданной книге Ю. Батяйкина.

ным и уже несущественным, — вдруг появляются стихи (большая часть которых написана до так называемой эпохи гласности), где шероховатая и почти лагерная речь, перебиваемая режущие-откровенными признаниями, демонстрирует нам ту языковую тюрьму, куда заключен, сам того не подозревая, каждый человек, говорящий и думающий по-русски. При поверхностном чтении стихи Батяйкина могут показаться тем, что принято называть гражданской лирикой. Однако их смысл определяется не темой и даже не тоном — болезненно-раздраженным, мучительным. Гражданский поэт внутренне не свободен, он зависит от той идеи, рупором которой считается; он может быть хорошим и может быть плохим поэтом, но он всегда поэт только «во вторую очередь», после прилагательного, определяющего его суть (крестьянский, пролетарский, религиозный и проч.). Ю. Батяйкин — поэт по преимуществу, поэт в первую очередь — и в эпитетах не нуждается. И действительно, можно ли назвать «гражданскими» такие, к примеру, стихи:

**В вагоне я еще принадлежал
тебе. Но, выйдя на вокзале,
я стал похож на глупого чижика,
вернувшегося в клетку. Ожидали**

**меня в столице... Лишь на кольцевой,
проехав круг, со мной расстался филер,
ущербной гениальностью кривой
не обладавший...**

Здесь главное — не страх преследования, хорошо знакомый многим, не ощущение потерянности и ничтожности собственного бытия в жерновах государственной машины, — главное здесь ритм речи, постоянные ритмические переносы, когда для фразы тесна не только строка, но и строфа, когда дыхание шире и судорожнее метрической клетки традиционного русского ямба. Настоящие стихи отличаются от ненастоящих «зеркальцем», вставленным в строку, то есть той степени рефлексии, что позволяет поэту видеть не только предмет своего высказывания, но и само высказывание как предмет — предмет для размышлений, обобщений, выводов. И оказывается, что мало сказать «это плохо» или «это хорошо», необходимо еще и обозначить сам процесс говорения, и только тогда слова поэта становятся поступком, а его работа «на разлом» ритмической клетки — актом свободного выбора, рывком к личностному душевному и духовному раскрепощению. Гражданский поэт в этом смысле ничем не свободнее ангажированного публициста, но Юрий Батяйкин, «переняв шаги документальной прозы Александра Исаевича» «и находя в антисоветском киче преимущество», вырывается за границы убийственной социально-политической однозначности любого толка.

Вчитываясь в «Праздники одиночества», мы получаем редчайшую возможность стать свидетелями, а при удачном ракурсе чтения — до какой-то степени и соучастниками внутренней борьбы поэта с навязанными ему (по рождению, воспитанию, языку) стереотипами советского менталитета, предполагающего имперскую определенность и однозначность каждого жизненного решения. Менталитета, отрицающего суверенность отдельной личности и право ее на творческие одиночества, иными словами — на моменты прозрения Истины, которая неизмеримо выше любых истин, предлагаемых в принудительном наборе извне. Рано или поздно эта противочеловеческая ментальность канет в прошлое, но останутся стихи — свидетели живые противоречивых и трагических прорывов к надвременной тайной свободе, о ней именно — как о главном предмете поэзии — писал А. Блок, ощущая ужас ее близкой потери и почти без надежды на ее восстановление. Но появление — явление? — таких поэтов, как Ю. Батяйкин, — вот проблеск надежды на то, что поэтическое слово в России снова обретает способность быть свободным в истинном значении этого слова.

* * *

В вагоне я еще принадлежал
тебе. Но, выйдя на вокзале,
я стал похож на глупого чижика,
вернувшегося в клетку. Ожидали

меня в столице... Лишь на кольцевой,
проехав круг, со мной расстался филер,
ущербной гениальностью кривой
не обладавший. В пролетарском стиле

воздушный поцелуй мне слал шмонарь,
по службе наносить на обувь ваксу
обязанный. Приветливый почтарь,
прошедший школу КГБ по классу

перлюстраций, волновался за
профессионализм. Любитель чуши —
слухач терзал мой телефон, глаза
мечтая обменять еще на уши.

Мой новый грех как будто бы к другим
моим грехам в столе из палисандра
не ревновал. Но, переняв шаги
документальной прозы Александра

Исаевича, умных и лохов
уверив, что и он агент Антанты,
то рвал стихи, то рвался из стихов
так яростно к возлюбленной, что Данте,

простив ему отвергнутый канон
и находя в антисоветском киче
преемственность, и тот жалел, что он
не мог себе такую Беатриче

позволить. Потому, что плоть и кровь
двоих, и, унижаясь до порока,
способны на высокую любовь
на фоне стен тюремного барокко.

* * *

Странный сегодня вечер: жуткая тишина
и одинокий призрак замершего по стойке
смирно у остановки ниггера. Что луна
свалится — вне сомнения. Жалко дворцы постройки

прошлых столетий. Может быть, их и нет,
этих храмин печальных, кажущихся на сизом
небе, чей свод усыпан звездами. Только свет
льется еще из прошлого с позолоченных клизм.

Верить или не верить грустным глазам? Иной мир проступает через облака и бреши в стенах театров. Опять же, ко всем спиной, и не такое привидится. Не у пеше-

ходного перекрестка, так на мосту: из вод, к набережной швартуясь, жадно всплывают зданья с профилями ундин на портиках, точно флот, ждущий три века часа выпалить: «До свиданья!»

Все-таки я счастливей. Раньше отправясь вплавь бассом по тучам, я и укроюсь в отчем доме, пожалуй, раньше. И чтобы эта «явь» там мне уже не снилась ни на минуту. В общем,

парадоксальность пагубна. Лишь суетным строфам время от времени небесполезны вздрючки, вроде теперешней. Стих — это больше фавн, чаще тоскующий по охладевшей сучке.

Впрочем, любовь невинна. И изо всех химер вряд ли любая чем-нибудь лучше «данной нам в ощущениях» вечности. Например, нежность Христа к убийцам. Чем не залог спонтанной

смерти во чье-то имя? Пусть это та же блядь... Главное в этой жизни — не пожалеть пророчеств. Да и подохнуть лучше, чем без конца справлять, окаменев от боли, праздники одиночеств.

* * *

О, море, что наполнено тоской!
Ни нежных писем, ни звонков в передней.
Шуршание в квартире, как в пустой ракушке. Но в отличие от последней,

в ней обитатель есть. И вольный дух,
не по своей сюда попавший воле,
не хочет жить, как потерявший слух.
И бесноваться. И учиться в школе

Покорности. Увы, здесь вьется нить
Арахны, что, сама с собой скандаля,
обречена бессрочно колотить
по клавишам железного рояля.

Есть в мире дом. У дома нет друзей.
Им не до альтруизма посещений.
Он может ждать забывчивых гостей
до смерти. До посмертных посвящений.

Ни Митридат, по капле пьющий яд,
ни переживший глухоту Иосиф,
что свой теперь возделывает сад,
не ободрят, открытку в ящик бросив.

Козлиный рай по-своему воспет.
С морским песком их разделяет бездна.
Киприд волнуется завтрашний обед.
А красота сложна и не полезна.

Пусть перламутр пылится на земле
И никого не зачарует звуком
морских сирен. Здесь некому во мгле
к поющей створке прикоснуться ухом.

* * *

Веселый луч скользнул по волосам
и возвестил, что наступило утро.
Еще себя не вспомнив, небесам
я улыбнулся, радуясь тому, кто

его послал. Безумное жильё
исполнилось сиянием и верой,
как будто здесь и не было ее —
несбывшейся мечты моей. Из серой

неласковой компании душа
рванулась в вечный свет невероятный,
из слез и прозябания спеша,
хоть жизнь еще корячилась, в обратный

непозабывтый путь. И для лица,
которому грозила одичалость,
снискала откровение Творца,
что сердце наконец-то достучалось

в его врата. Теперь я не один,
хоть вечер наступил и солнце село.
И облака плывут потоком льдин.
Желание отделаться от тела

и оказаться только бы не здесь,
увы, несвоевременно. На годы
еще моя рассчитана «болезнь»,
покуда я достигну той свободы,

когда (смогу ль себя переменить?)
я окажусь в неведомом, где наша
жизнь не важнее, чем воробьиный фьюить,
и не довлеют ни вода, ни чаша.

* * *

А за окнами снег. Не поймешь — хорошо или плохо.
Лишь отрадно смотреть, как заботится бережно Бог о
почерневшей земле. Проникаясь светлеющей дрожью,
как-то легче простить небесам свою жизнь скоморошью.

К завершению дня, когда сердце обычно болеет,
хорошо представлять, что тебя еще кто-то жалеет,
что за окнами нет ни толпы, ни Кремля, ни Дзержинки.
Только сумерки сыплются. Только кружатся снежинки.

Созерцание снега, наверное, связано с детским
восприятием зимы, словно чуда. Да больше и не с кем
проводить вечера. И глядишь, как из детского сада,
из клетушки на сумрачный, сказочный вихрь снегопада.

Если долго смотреть, можно в сумерках встретиться взглядом
с ирреальным пейзажем, что всюду присутствует, рядом,
открываясь во мгле идиоткам, шутам и поэтам,
наполняя Россию снежинками, небом и светом.

Ибо, ежели что на земле и является Русью —
это вечное небо, глаза, что измучены грустью,
да рождественский снег, что летит над ночным озареньем
и ложится на землю сверкающим стихотвореньем.

* * *

Я, кажется, действительно сдаю,
хотя не часто в этом признаюсь.
Я по утрам себя не узнаю
и отраженья в зеркале боюсь.
Я завтрашнего дня так долго ждал,
что не заметил, как прошли года,
и я устал, как устает металл,
как устают и камень, и вода,
не взятые природой на учет:
тот, что лежит, и та, что не течет.

* * *

Ну вот, и я перебрался с московской сцены
на новую и пора начинать премьеры,
а я все гуляю — целую и глажу стены
и счастлив тем, что не ведаю чувства меры.

Ты знаешь, теперь неприлично бывать на Невском —
он стал похож на прямую кишку и, кстати,
давно там некому фланировать и не с кем:
езде толкуются дельцы, дураки и бляди.

Здесь все как будто рехнулись, вконец рехнулись,
а, впрочем, скопление масс в одном месте — диво,
о, сколько тогда остается безлюдных улиц,
где снег кружится и падает так красиво.

Я с неких пор никакого не чту «бродвея»
с его пустозвонством и культом плеча и паха,
и мы здесь с Санкт-Петербургом, как два еврея,
что жмутся в тень от врожденного чувства страха.

Люблю я Питер! Здесь воздух приносит море,
и небо ближе, и дым пирожковых гуще,
и можно жить, пока виги дерутся тори,
а в Смольном бродит по залам последний дуче.

Ликует демос — навалом духовной пищи,
искусства нынче доступней хурмы на рынке,
лишь та, которая спорила с Беатриче,
теперь бессильней и призрачнее Сиринги.

Для Музы нет тошнотворней, чем глас народа,
как часто всуе подарка не замечаешь —
гуляй, Батяйкин, пока победит Свобода,
а то разбредется стадо — не погуляешь.

Аншлагов ждать поздновато, и знак вопроса
«быть иль не быть» проморгали твои подмостки,
но ночи и впрямь светлее, хотя и доза
снотворного та же и принята по-московски.

* * *

На выставки, в кино, на блядки
спешит толпа. Уик-энд. И без оглядки
домой лишь я бегу, посторонясь;
как прежде зол, но больше опечален,
все думая: как Чацкого Молчалин
так вразумил психушкой, что связь
двух наших судеб стала символична?!

Мне страшно, что привычка жить опрично
во мне укоренится. Мой мирок,
хотя и не мещанский, узок:
помятый чайник, словари да Муза,
которых навещает ветерок,
снежинки выдувающий из флейты
на темный путь моей узкоколейки,
в конвое рифм тоскующей, пока

я, сделав вид, что позабыл столицу,
пишу тайком письмо, через границу
семейству Чацких в форме дневника

переправляя с грустью. Раздвоенье
вращает шатуны, а настроенье
усугубляет долгая зима
над местом, где, отвергнутый Россией,
еще один «больной шизофренией»
приобретает горе от ума.

* * *

Евгению Рейну с любовью

Забегая назад, вижу осень в ордынском раю.
Теплый дождь. Хорошо и безлюдно. Стою
у Скорбященской церкви. От гадин

отряхнувшись, гляжу, как сверкают сады.
Вечер светится в каплях небесной воды,
как внутри виноградин.

Грустный фатум. Наивный природный обман.
Верно, парки напутали что-то. Туман
спряли к новому утру. Им, выдрам,

лишь бы судьбы тряслись на третейских весах.
Что касательно выбора звезд в небесах —
я свою уже выбрал.

Никому во вселенной она не посмеет гореть
потому, что моя. И ее ни узреть,
ни назвать мудрецам. По листочку

я сжигаю во имя ее все прожитые дни.
При церковных свечах и в бесовской тени
я стремлюсь в свою точку.

Не волнуйся, Господь. Для бессмертных стихов
хватит пищи — всех смертных грехов
дурака и мяса кровавого.

Все одно — на Ордынке ль прощаться с землей,
или в белую ночь затянуться петлей
на углу Дровяного.

Юрий СТЕФАНОВ

НОВЕЙШИЙ СОННИК

*Данилушке от папы —
чтобы слаще спалось
и поменьше снилось
таких ужасней.*

Моя дневная жизнь — довесок
К тому, что называют сном:
Лишайник, мшаник и подлесок
В немыслимом бору ночном.

О это сумрачное чудо,
Сомкнувшееся надо мной!
Не возвращаться бы оттуда
На бледный уровень дневной,

Не рвать бы в том лесу священном
Диковинных цветов и трав,
Что неизбежно станут тленом,
Отраву дня в себя впитав!

Но как силен соблазн жестокий —
Сберечь ночную красоту,
Вложив ее в пустые строки
На суетном дневном свету.

ВОЛШЕБНАЯ ЧАША

(Подражание Зоценко)

Очевидное-невероятное: треть жизни мы проводим в незрячем состоянии, каждую ночь добровольно залезаем в шкуру слепцов, заныряем под одеяло или что у кого под рукой, сворачиваемся калачиком, эмбрионом, поджав колени к подбородку, — и смежаем, как сказал бы поэт, усталые вежды. Нет, в этом что-то есть!

Ведь насильственное ослепление — тягчайшая кара, разве что оскопление пострашнее будет, хотя опять же, как посмотреть, о вкусах не спорят.

Вот я смыкаю эти самые вежды — и перед моим мысленным взором начинают трепыхаться соответствующие кровавые обрывки истории и мифологии.

Совоокая Афина велит выколоть глаза будущему прорицателю Тиресию: не подглядывай за купанием богини. Одиссей со товарищи вгоняет обугленный кол в единственную глазницу Верлиоки-Полифема. Эдип сам себя ослепляет. Ассирийские капралы сортируют по корзинам неприятельские органы зрения: зеленые — в одну, карие — в другую. А может, валят все без разбору в одну кучу. Око за око, око за оком. Византийцы, одолев болгар, выделяют по одному кривому поводырю на тысячу ослепленных пленников: грядите с миром в дома свои. Или подносят раскаленное бронзовое зеркало (не Полифем ли выгравирован на его оборотной стороне?) к очам опального царедворца, омрачая его взгляд в строгом соответствии со степенью вины перед басилевсом. Не отсюда ли слово «опала»?

Василий Тёмный, Кутузов, Нельсон. Навеки врезавшаяся в память строка из романа Павла Лукницкого «Ниссо» о зверствах басмачей: «Вынь ему глаза, Якуб». Послевоенные байнисты в черных очках на каждом базаре. Простая советская девушка, обесчещенная в темном переулке блатной сворой, — а потом еще ее и бритвой по глазам, чтобы не узнала на очной ставке.

Слепцы! Слепцы! Сплошь — одни слепцы!

Все это так ужасно, что нет сил продолжать.

Добавлю только самый живописный пример, вылетевший из головы по причине всегдашней моей спешки и крайнего верхоглядства, а ведь именно его и следовало бы поставить во главу угла. Он, во-первых, относится к довременной древности, сравнительно с которой побасенки про Афины смахивают на телевизионный обзор текущих событий. А во-вторых, в нем скрыта масса всяких символов, аналогий и уподоблений — увы — не вполне ясных даже автору этих строк. Но он, то есть автор, с самого начала предупреждает, что не намерен выступать в роли толкователя фактов, а уж тем более символов, поскольку не чувствует себя достаточно компетентным в сей туманной области, и кроме того, не хочет лишать тебя, любезный мой читатель, возможности попробовать свои силы на этом, так сказать, поприще. Ты будешь и соавтором, и комментатором моего новейшего сонника.

А что касается живописного примера, то он, как ни странно, относится к третьему глазу Люцифера, будто бы вылетевшему у него из головы точно так же, как у меня чуть не вылетело простое упоминание об этом случае.

Кому-то, видать, выгодна моя забывчивость.

Так вот, всем известный апокриф гласит, что когда предводитель мятежных ангелов сверзился, наконец, на грешную землю и потерпел при этом кое-какой физический урон, его собратья, оставшиеся верными Господу, подобрали — в качестве трофея, что ли? — третье око космического инсургента, представлявшее из себя, грубо говоря, громадного размера изумруд, — и выточили из него чашу, в которую, вечность спустя, Иосиф Аримафейский собрал бесценную кровь Иисусову. Это был тот самый Грааль, который одним из нас известен по операм Вагнера, другим — по научным изысканиям Рене Генона и Сережи Шкунаева, ну, а третьим, кто попроще, — по «Троице» Рублева (или репродукциям с нее), где этот сосуд не случайно находится как раз в центре композиции.

Апокриф утверждает, что именно с тех пор Дьявол утратил дар всеведения и не может больше запросто читать в душах человеческих. Так ему и надо!

Однако я отвлекся.

Итак, треть жизни мы по доброй воле уподобляемся всем вышеупомянутым слепцам — от Люцифера и Тиресия до послевоенных байнистов.

Хотя нет, воля здесь ни при чем. Это сама природа (или что-то стоящее за нею) предоставляет нам заманчивый шанс побывать в шкуре слепца, не испытывая и намек на испытанные им ужасы, но получив кое-какие льготы, причитающиеся в виде компенсации за понесенное увечье. Дело в том, что физически незрячий человек, даже и не ставший Гомером там или Мильтоном, не говоря уже о прорицателе Тиресии, вместе с утратой зрения освобождается от докучливой коросты (чуть не написал — красоты; впрочем, разница невелика) повседневности и, естественно, силится заглянуть куда-нибудь подальше, за пресловутую грань миров. Иным это удается.

Давайте же и мы с вами, дорогой читатель, закроем сейчас глаза и посмотрим, что творится за этой гранью.

Не знаю, как вы, а я обычно от нее просто-таки физически спотыкаюсь: только начнет смаривать сон, только развиднеется впереди простор иной вселенной, как вдруг резкая судорога сотрясает тело, словно кто-то норовит отшвырнуть меня назад: сюда нельзя, вход воспрещен!

Но сегодня мы рука об руку, общими усилиями минуем этот порог, помедлим на верхней ступеньке туманной лестницы, по которой топталось столько наших друзей — от Гомера и Вергилия до Нервала и Лавкрафта, — и, на миг замуравившись, ринемся вниз, в заманчивую бездну.

Нас ждут Узкие Врата и Страшный Мост, Царство Матерей и Мельница
Времени, а что там дальше — видно будет.

С Богом!

* * *

Узок мост, и тесны врата,
И клыки торчат изо рта
У привратника — и слюна
На звериных клыках видна.
А как станешь спускаться с круч,
Да увидишь заржавый ключ,
Да сверкнет тебе в очи меч —
Тут уж в пору обратно бечь,
Чтобы в новое лоно лечь,
Как зерну в распаханый дол —
Так советует «Бардо тодол».

МАМА

Мне пришла пора умирать. Тело мое, между сердцем и головой, превратилось в сплошную шею, а шея — в подобие пуповины или червя, прильнувшего к земле, почти уже с ней слившегося, — голого, незрячего, глухого. Я ничего не видел и не слышал, только осязал на расстоянии через воздушную стихию — осязал маму и смерть. Мама стояла надо мной с лопатой (для червя) или ножницами (для пуповины) или топором (для шеи) — она была Персефоной, Паркой, Судьбой.

Не вспоминаю «краткого просмотра» жизни — только червячья коротенькая мыслишка о том, что еще миг — и все порвется; ожидание, растянувшееся, как в рассказе Борхеса, на целую вечность. Но я был помилован и, вновь обретя человеческое обличье, встал и продолжал жить.

* * *

Я тяжело болен — так и наяву. Мама решается на крайнее средство. Я ложусь на зеленый невысокий пригорок, вжимаюсь в него. Мне страшно и, чтобы не бояться, я отказываюсь от всего себя, вместе со страхом: закрываю глаза и открываюсь маме и тому, что у нее в руках, — большой змее. Змея лижет меня в губы, целует. Она может укусить, если я испугаюсь. Я обмираю. Мама и змея для меня одно. Мне легче. Я поднимаю веки. Левая моя голень поражена: из нее кустится рыхлое голубоватое растение, вроде полыни, горькое, палящее. Змея забирает кустик в пасть, тянет к себе — я должен ей помочь. Выдергиваю зловредный стебель вместе с корнями (они в комьях моей сухой истлевшей плоти) — мне уже не больно, я здоров.

* * *

Я тяжело болен — так и наяву.
Все средства перебрав, велит мне мама
Лечь между грядок в жухлую ботву.
Лежу как мертвый: тихо, грузно, прямо.
Но страшно мне. Дыханье затая,
Сквозь сомкнутые веки ясно вижу:
В руках у мамы черная змея
Плывет среди ботвы — все ниже, ближе,
И вот уже меня целует в лоб

И лижет губы ртом своим безгубым,
 И я боюсь пошевелинуться, чтоб
 Не испугать ее движеньем грубым,—
 Тогда она укусит. Я мертвей
 Всех мертвых на земле и под землю.
 Я стал землей. Ни матерей, ни змей,
 Земля, одна земля передо мною.
 Из пораженной голени растет
 Полынный кустик, горький стебель хвори.
 Змея сосет его, вбирает в рот,
 Качает, как калитку на запоре.
 Не поддается. Надо ей помочь.
 И вот, весь в комьях омертвевшей плоти,
 Раскачан корень и исторгнут прочь.
 И тут же забываюсь я в дремоте.
 Не нужно ни лекарств, ни докторов.
 Уже не больно, мама. Я здоров.

* * *

Мама как-то проговорила, что нашла дорогу «туда» и часто «там» бывает. Я стал ее просить принести «оттуда» чьих-нибудь стихов, а зачем — не сказал: чтобы напечатать, выдав за свои.

Однажды вернулась и принесла две рукописные книги, сама переписала: «Записки охотника» и «Конек-горбунок» — ее любимые. Я чуть не заплакал с досады, замучил укорами:

— Ты бы то взяла, что в будущем напечатают. А этого добра в библиотеках полно.

А она:

— Братъ «оттуда» ничего нельзя, а смотреть — смотри сколько хочешь, вот я и переписала тебе по памяти две хорошие книжки, — у вас же их нет.

— А как ты, мам, сумела туда добраться? Старалась или само собой вышло?

— Да как-то само собой.

— А мне туда можно?

— Нет, ты болтлив больно, раззвонишь на весь свет, тебе нельзя. Наведешь туда дружков, все «то» царство испоганят. Потерпи.

Мне совсем стыдно стало, потому что все правда, так бы оно и случилось. А тут еще Володя К* покойный вздумал надо мной издеваться:

— Такой-сякой, бездарь, вор литературный!

Я озлился — и ну его лупить, не жалко, все равно мертвый, — выбил остатки души из тела, одна смертная шелуха осталась. Пришли на это чудо смотреть японские туристы, а я у них экскурсоводом, объясняю по-турецки, что к чему, Мандельштама цитирую. Пустая Володина оболочка, линовище, лежала на берегу студеного озера, у стен Новодевичьего монастыря, а по озеру плавали лебедята; они только что вылупились, видны были даже следы желтка возле клювов. И динозавры Володины бродили по ветхой Погодинке.

Тут же доламывали старый дом, и я из любопытства полез внутрь, авось, какую вьюшку удастся вызволить. Или пару изразцов.

— Сейчас мы из этого дома станovou жилу вытянем — он сразу и рухнет.

Вытянули — и пошли на меня валиться дровяные трухлявые пласты, не смотря на трухлявость очень увесистые, каждого бы хватило, чтобы пришибить насмерть.

Но я все разводил руками, словно всплывал с глубины, и пласты эти обтекали меня, оставляя невредимым. Вот и последние осели, и над головой остался

* Настала и его пора: в «Огоньке» напечатали. Живого-то не шибко баловали. Мир тебе, Володя, шалом! (прим. 1989 г.)

только слой ржавого железа — как водяная пленка, подернутая ряской. Я разорвал эту пленку и всплыл из развалин к небу.

МАЛЬЧИК И ПТЕНЕЦ

Те, кто учатся языку людей, сначала учат язык птиц

Юань Мэй

Мальчик молитвенно сложил корабликом ладошки и застыл, закрыв глаза и заострив к небу бледный носик, совсем замер. А когда очнулся, разжал полупрозрачные ручонки — в них оказалась невесть откуда (из четвертого измерения?) взявшаяся птица, диковинная. Небольшой тяжелый комок из перьев и с резким запахом — так, наверное, пахли в пост мясные прилавки. Правое крыло вдвое больше левого, птенец лежит в нем, как моллюск в раковине. А левое еле намечено. Он был красно-синий, только что сотворенный, он видел сквозь пространство и время и вещал мальчику на знаменитом «языке птиц» о том, что неведомо (да и не нужно) смертным и сонным.

Здесь особенно важно, что ладошки были сложены корабликом, ковчегом, яйцом. Соединил их — яйцо, разжал — птица. Он вылутился из пригоршни, словно из яйца: ребенок «высидел» его, как Дух Божий «высидел» мир в первом стихе Книги Бытия.

В ТЕРРАРИУМЕ

В крохотной клетке, под пронзительной лампочкой, на неестественно желтом песочке заново рождалась змея — выползала из серой обветшавшей шкурки, свеженькая, словно переводная картинка. Свидетелями ее мучительного возрождения были только мучные черви в продолговатом жестяном корытце, да две уже ко всему равнодушные лягушечки в углу, где не было для них тени, да я, грешный.

Таинство это настолько поразило меня, что я не стал даже обдумывать его, искать в нем аллегорию, углубляться. Просто смотрел — втайне завидуя — как вечная змеиная суть перебарывает тюрьму, голую тюремную лампочку под жестяным потолком, червей и лягушечек: торжествует, даже живописует самое себя в косноязычном затворе террариума.

* * *

Уробóрос,
 Пожирающий собственный хвост
 Среди борозд,
 Усеянный всходами звезд.
 Дивной силе змеиной
 Неведом ни рост, ни ущерб.
 Всеединый,
 И жнец ты, и колос, и серп.
 Камень жертвенный бурый,
 Жрец, и жертва, и каменный нож.
 И нутром ты и шкурой
 На меня, на поэта похож.

Зоопарк, зоопарк.

Зверей там всех истребили перед праздниками, понаделали из них разных разновидностей. Беличье рагу, антрекоты «Локис» — видно, кто-то из кулинаров успел в свое время на Мериме подписаться или выменял этот огоньковский шести-

томник на дюжину банок тресковой печени. Отбивные «Танзания» и «Уганда» — из полосатых ослов африканских. Удавы огромные, замороженные, распилены на аппетитные кружляши, будто в упаковке: на распиле розовое мясо, а обод из глянцевиной желтой кожи в декадентских черных росчерках.

И все — бесплатно.

Но не верил народ, проходил мимо, сглатывая слюну, и только у перехода на новую территорию (зоопарк был московский, самый, наверное, паршивый в мире), там, где уборная, — не без намека выбрано место! — кипела, вспучивалась многохвостая, как крысиный король, очередь: давали лосиные ребра, очень дешево, по цене свиных.

Сестра потом рассказывала, что и у них эти ребра «выбрасывают», огромные, толстые, семь потов сойдет, пока перерубишь топором, чтобы уместить в кастрюле — хорошо еще, если у кого мужик есть в доме для такой серьезной работы. Но уж зато суп из пары ребер — дня три вся семья сыта.

ДЕТСКИЙ САД

Новехонькая кирпичная халупа в два этажа, плоский ящик без намека на кровлю. Смотрю со своего высокого балкона, как по заляпанной битумом площадке хозяевами земли и неба расхаживают огромные, неопрятные после зимы воробны, норвят сунуть клюв в щель между кирпичами, где воробьиные гнезда, полакомиться воробьятиной.

И страшно мне, что вот может какой малыш высунуть головенку из окна — человеческий малыш, а не воробьиный, хотя и воробьишек жалко, — а ворона долбанет его клювом, затащит в свое битумное царство — и ну пировать у меня на глазах.

Ах, мелкашку бы сюда! А еще лучше — мой дробовик ижевский, который я сплавил сестре после развода: блазил он меня, страшно с ним было спать в одной комнате, вот и расстался.

Только пух и перья брызнули бы во все стороны!

СОБАЧИЙ КОНЦЛАГЕРЬ

Каждое утро прогуливаюсь мимо вивария на Погодинке, где воют денно и ночью пленные, израненные, издыхающие псы, и — нет у них Красного Креста, нет у них защитника, заступника, избавителя, собачье Махди.

Поначалу старался обходить стороной или, вышагивая мимо, думать о чем-нибудь другом, не вникать в эту собачью боль, — уж так было больно за них.

Потом пересилил себя и попытался через свою отраженную отвлеченную муку поймать нечто важное в этой собачьей и общебытийной трагедии.

И вот какие мысли.

Ни к чему хорошему не может привести медицина, основа которой — безжалостность; медицина, приучающая девушек-херувимчиков с первого же курса немилосердно потрошить лягушек, мышей, а потом кромсать и собак.

Херувимчики, ответьте вы мне, ну чем собачья боль отличается от нашей с вами? Разве что собака не может о ней словами сказать, а только мечется и воет. Кто хоть раз видел вот такую издыхающую на помойке вивария живую душу, тот (если сам хоть немножко жив) согласится — ничем.

Можно ли купить здоровье чужой болью? Не будет ли это здоровье худшим из недугов — смертью при жизни? Чем вся эта «медицина» отличается от колдовских методов т. н. «Возрождения», когда какие-нибудь там маркизы купались в крови младенцев, чтобы сберець цвет лица?

А самое главное: почему я должен как-то особенно жалеть людей, моих собратьев по отряду, роду и виду, если они утратили главное человеческое — и разум и живое сердце? Почему меня должны как-то особенно ужасать Освенцимы и Дахау, если тамошние страдания собратьев ничем не отличались, в сущности,

от здешних, собачьих, а сами эти собратья — от всеми оставленных четвероногих эзков медицинского концлагеря?

Человек, допустивший, чтобы его превратили в кусок дикого мяса, не более достоин жалости, чем куда менее дикое мясо в собачьей шкуре.

ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

«Ученый» ставит опыт на собаках и людях, приучает тех и других к каннибализму, — сам, видно, давно насобачился.

Страшный (ах, опять вырвалось это словечко, но уж теперь ничего не поделаешь!) — страшный, полубезумный пес — полубезумный, полуживой от голода. Перед ним истлевший труп, неизвестно чей, — и свежий собачий. Впрочем, собачий, оказывается, тоже не особенно свежий — холодильники в капище каннибализма не совсем безотказно работают. Пес мечется и воет, поджав хвост и ощерив клыки, в нем, согласно учению Павлова, перепутались все рефлексy. По замыслу «ученого», он должен выбрать что посвежее — собачатину.

И такой же человек (или человекопес — они почти неотличимы) перед выбором, или, как модно теперь говорить, перед альтернативой: свежая (теоретически) человечина или тухлая говядина (лосятина, собачатина, крысятина).

Но не в этом, конечно, суть — суть в том, что все участники опыта настолько похожи друг на друга, что я просто путаю, кто кого должен съесть, где пища, где едок, а где кормилец.

Нет, вру: кормильца со всеми остальными не спутаешь: он сытенький, круглый, добродушный, в крахмальном халате с двумя золочеными авторучками в нагрудном кармане, курит «Беломор» (привычка нищих студенческих лет), но перед тем, как закурить, аккуратно вставляет в мундштук жгутик антиникотиновой ваты.

НА ТУ ЖЕ ТЕМУ, ПОПРОЩЕ

И вспомнился какой-то «дядя Миша» из крепкого послевоенного домика рядом с колонкой, на углу Либкнехта и Володарского (раньше это были, скажем, улицы Трехсвятская и Воздвиженская): он был туберкулезник, ему все откармливали и скармливали собак (об этом часто судачили у колонки, в очереди за водой), но он так и помер от своей чахотки, хотя на вид был очень розовый и веселенький, — не в пример остальной улице, и в глаза не выдавшей мяса.

ПЕС — ДАОС

Мы тут с ним появились почти одновременно лет шесть назад, с разницей всего в несколько дней, — сначала я, потом он. (Будто одним порывом, одной волной прибило нас к берегам Новодевичьих прудов, занесло в эту благословенную пустынь, в дивный этот эрмитаж).

Он — помесь эльзасской овчарки с таксой или бассетом: длинное тулово с густой, изрядно поседевшей шерстью, брюхо чуть не волочится по земле, короткие кривые лапы, уши торчком, лоб огромный, как у Лао Цзы.

Он тогда уже был далеко не молод, вроде меня, и тоже, видно, разных разностей натерпелся. Сильно прихрамывает, ворчит на посторонних, особенно на девчонок в белых халатах, заскакивающих к нам во двор подзубрить перед экзаменами основы павловского учения. Собачий концлагерь, где они над ним опыты ставили, вон он — за углом, на Погодинке.

Другие беглецы, помыкавшись по задворкам день-другой, пропадали бесследно — уж не возвращались ли обратно в свою тюрьму, где им хоть пайка даровая обеспечена? А он — прижился, спит зимой под радиатором в подъезде, а летом греется на солнышке возле детского сада. Его кормит наперебой весь дом, он чудовищно толст — я никогда не видел столь упитанного пса — и это тоже од-

на из примет его избранничества. Кто выбирает свободу — получает к ней в придачу и хлеб.

Он всегда спокоен, он ничего не ищет и ни к чему не стремится. Дружит с одичавшими кошками из котельной, делится с ними едой, не боится воробьиц. Его не мучают скотские страсти. Он, думаю, и впрямь бессмертен.

Как мне до него далеко!

ПОРОЖДЕНИЯ ЕХИДНИНЫ

В библиотеке, битком набитой книгами о португальских владениях по обе стороны Атлантики, по берегам ее горьких вод*, я нашел крохотную австралийскую ехидну. Зверюшку заманили в проволочную клетку, вроде мышеловки, и забыли — или нарочно оставили — в пыльном зале. Она умирала от голода и жажды. Я отпоил ее собственной слюной — вот так же легендарная римлянка спасла своим молоком отца, засаженного, не помню уже за что, в какую-то там темницу.

Ехидна выросла и привязалась ко мне.

И когда судьба забросила меня в Австралию, моя воспитанница оказалась со мной. Что уж тут мудреного? В конце концов, это родина ее предков. Вдвоем мы пересекли ужасную пустыню Гибсона, где нас едва не затоптали обезумевшие от любовной горячки дикие верблюды. Мне пришлось застрелить в упор двух голенастых красавцев, скаливших на нас огромные желтые зубы.

У меня пересохло горло от волнения и жажды, и, едва добравшись до памятника первопоселенцам — внушительного бронзового фургона, заметенного песком, — я попросил напиться. Мне отказали, да еще устроили канитель с проверкой иммиграционных документов и замучили вопросами: почему ехидна? по какому праву я таскаю с собой по пустыням часть бесценного генетического фонда планеты? и т. д. Наконец отпустили, так и не дав ни глотка: вместо воды наградили справкой о неблагонадежности. А я и тому был рад, что ехидну не отобрали.

Она смахивает на обычного нашего ежа, только мордочка поострей, подлиннее иглы и не любит книг — никаких.

ПЛОДЫ МИЧУРИНА И КАКТУСЫ БЕРБАНКА

Прошлым летом проводил отпуск в Новом Орлеане, у давнего своего друга Дональда Камбича, в благословенном месте. Замучил меня приглашениями — приезжай да приезжай. Отчего ж, в самом деле, не смотаться? Дороговато, правда, далековато, но уж тут ничего не поделаешь.

Первое впечатление было: все врут газеты. Публика на улицах одета вполне прилично, чуть ли не половина в полушубочках, в модных джинсах с раструбами внизу, отчего ноги девушек похожи на слоновьи, да и походка слоновья — легкая, неспешная, но быстрая, я все эти штучки собственными глазами видел когда-то в Уганде.

И не так уж много полицейских. И никто не бьет негров в зубы. И не роется в помойках. Звенят трамвайчики, лопочут попугайчики, то да се.

Но когда пригляделся, понял, что все это — видимость. Где же знаменитые огни реклам, ночная жизнь и тому подобное, ради чего, собственно говоря, и приехал?

По вечерам на улицах горят вполне накала по два фонаря на квартал, магазины закрываются рано, ходить одному и впрямь как-то боязно. Во всех аптеках-закусочных написанные от руки объявляеица: «Одеколон «Флорида» отпускается только с одиннадцати часов».

Приехал как раз накануне Дня Независимости. Нигде не протолкнешься: очереди; понаехало этих самых мексиканцев и пуэрториканцев — видимо-неви-

* Ассоциации из «Пятнадцатилетнего капитана»? Я лично другого объяснения не вижу.

димо. Все стоянки забиты ихними автобусами. Кто опоздал, тому ничего не досталось, тот скупает абхазские апельсины и таллиннскую жевательную резинку — лишь бы что в рот положить, а местные шипят:

— У, чичмеки* несчастные, носит вас тут нелегкая, а нам самим жрать нечего... Спасибо, хоть проклятые русские подкинут другой раз кой-чего.

И снег на улицах не чищен года три.

И попросил меня Дональд: есть тут магазин у него под боком, «Секвойя» называется — вывеска кириллицей выписана — и в магазине этом можно за валюту, сиречь за обычные наши рубли, купить ну все, что хочешь: и колбасу копченую, и масло, и водку «Сибирскую», и, конечно же, икру, а чуть подальше прилавок с книгами.

И вот он попросил меня раскошелиться ему на такого поэта, Вальтера Уитмена, его любимого: а то ведь ни за какие деньги не достанешь, будь ты хоть сам Рокфеллер. Еще, говорит, Хераскова или там Калидасу какого можно раздобыть, если побегаешь, а ихних, отечественных, — ни-ни.

И я его ему купил, а вдобавок литровую бутылку «нормальной», как они там в Америке говорят, водчонки и блок отличных сигарет «Памир», не говоря уже о зажигалке с видиком Ростовского кремля.

И пока мы пили (а закусывали кактусами Бербанка, вареными, без колючек, — этого добра тут навалом, и дешево) — пока мы пили, Дональд читал мне вслух стихи любимого поэта, в которых говорилось что-то хорошее и светлое об американской демократии.

МУСОРНЫЙ СТАРИК**

Занятое местечко, в нашем городишке единственное.

Плоское стеклянное кольцо вровень с землей: подошвы бесчисленных гуляк, тысячелетиями сновавших по кругу, все по кругу, сначала вытоптали траву и сожгли перегной, потом прокалили и оплавляли кремнистую основу почвы, превратили ее в мутноватую, но все же проницаемую для глаза окружность — бесконечную, шагов тридцать в диаметре.

Ведьмино кольцо — вот как это раньше называлось.

Теперь-то, когда все протоптано, улажено, сглажено и отполировано, поверху никто не топчется, разве что я один. Придешь иной раз, станешь — и смотришь под ноги: там, как муравьи в лабораторном муравейнике, милые мои сограждане кишат, целуются-лобызаются, проходят в середину помещения — сверху ее не видно. Она похожа на внутренность грецкого ореха, если б орехи были пустые, только разгорожены хрусткими переборками; впрочем, такие встречаются, и довольно даже часто, когда поточит червь ореховые доли, странным образом напоминающие мозговые полушария, и обернутся они тружловатой гнильцой.

Там столики стоят концентрическими (пардон за научный термин) кругами, а поодаль, за переборочками — и кровати; там можно выпить, поговорить о текущей политике и о том, как сыграл местный «Спартак» с соседским «Локомотивом»; можно и с девушками познакомиться.

А вот я, хоть и часто убиваю время в этой гнилой скорлупке, все как-то не решаюсь поднять глаза на тутошних красоток, что-то в последний миг останавливает, брезгливость какая-то. Синеватые они все из себя, свет сквозь мутное кольцо потолка сочится еле-еле.

Вот и сейчас.

Посиживаю себе, покуриваю, пью пиво — совсем один среди черт знает скольких развеселых гильдий, братств и компаний. И входит небольшого роста старик с зеленой прозрачной бородой, в страшно потертой кожаной куртке, побелевшей на швах, заштопанной разноцветными нитками. Пуговицы же,

* Мексиканское племя, родственное тольтекам, ольмекам и уж не помню, кому еще.

** Выражение Анны Ахматовой.

как ни удивительно, все целы, кроме самой верхней, — вместо нее огромная английская булавка, словно у теперешних модниц.

Я сразу его узнал — это Лев Толстой.

Тогда, в Осташкове (или Остапове) он ослеп, но зато не умер. Так и живет до сих пор, бродит по городишку, побирается. Вот плетется с палочкой через весь зал, перегородочки похрустывают, кое с кем здороваются за руку, протянул и мне огромную легкую ладонь, хотя мы с ним лично вроде бы незнакомы. Я ее пожимать не стал, а поцеловал и положил себе на темя, это мне благословение от слепого старца.

И заплакав, говорю ему:

— Ах, Лев Николаевич, не верьте вы людям! Видит Бог — я вас люблю, вот только писания ваши графоманские (простите за каламбур) терпеть не могу, столько в них гордыни. Ну что такое эта ваша «Власть тьмы» или «Коготок»? Басни Хемницера не в пример драматичней. Даже поздние вещи пробовал перечесть недавно — и не смог, с души воротит, сплошная сатанинская скука.

А он:

— Да я и сам их ненавижу с тех пор, как прозрел, одно плохо: из песни слова не выкинешь. Что было — то было. Еще слава Богу, что избежал суда, напророченного мне той самой иконой из Киевской лавры, — видал, небось? Так что ты уж не больно сердчай на старика, лучше поднеси ему кружечку.

Стыдно мне, что ересиарх, на весь мир прогремевший, перед каким-то спившимся рифмоплетом унижается. Но легко от слез, прохладная ладонь прозорливца лежит на темени, врачюя буйный головной жар.

Сейчас закажу еще пару кружек, и мы с ним выпьем — он ведь любит пиво, всегда любил.

КАЗНЬ ДВУХ НИ В ЧЕМ НЕ ПОВИННЫХ ЛЮДЕЙ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ НЕОЖИДАННЫМ ВОСКРЕШЕНИЕМ

Сестру — она была чуть ли не вдвое старше меня — посадили в марте, а случай этот произошел уже летом, в июне, насколько помнится.

Были у нее хорошие знакомые, милая парочка, Манюня и Кимарик, таскались к нам чуть не каждое воскресенье, пили чай в саду, нюхали цветочки и обсуждали новинки отечественной и зарубежной кинопромышленности.

Но с тех мартовских ид ни их, ни кого другого в саду у нас не было видно, так что я мог в свое удовольствие строить шалаши под яблонями и выстреливать стрелы из старых помидорных подпорок.

И вот однажды — скребется кто-то под окном, не стучит, а именно скребется — чуть слышно. Выглядываю: стоит эта парочка, прифранченная, как в прежние времена.

— Ты позвал бы маму.

Зову.

С бесконечными реверансами, иносказаниями, придыханиями — объясняют. Оказывается, в комодке нашем, в правом верхнем ящике, под стеклярусными бабушкиными воротниками — пачка фотографий, и среди них та, где они сняты с сестрой после выпуска из ихнего гидромелиоративного училища. Так вот, нельзя ли им эту карточку подарить, а если нельзя, то хотя бы отрезать ихние головы и им отдать.

Христом богом молят.

Мама все это молча выслушала, ничего не ответила и ушла в огород. На пороге обернулась только:

— Отрежь им.

Я быстро нашел эту памятную фотографию и в том же ящике — ржавые кривые маникюрные ножнички. Проткнул побуревшую картонку, аккуратно обвел по кругу две симпатичные веселые головки и бросил в окно.

Кимарик, чуть покряхтывая, нагнулся, поднял два невесомых кружочка, достал из внутреннего кармана пыльника солидный бумажник, вложил их в са-

мый надежный отсек, спрятал бумажник, поблагодарил меня только взглядом (а Манюня и взглядом и реверансом), взял жену под руку — и они, такие счастливые, сначала поплыли, а потом как на крыльях полетели подальше от чумного дома — жечь на керосинке свои головки.

Сестре дали четвертак; время было такое; когдатошний Большой террор стал делом обыденным, на пятерки-десятки никто не разменивался.

Поразительнее всего эпизод этой истории. Сестра осталась жива, отсидела всего пятую часть срока, в пятьдесят шестом ее выпустили. А годков через десять — рассказала мне как-то мама, — выждав и осмотревшись, увидев, что уровень зачумленности не превышает приемлемых норм, — эта парочка, как ни в чем не бывало, как в старое время, снова появилась у нас в саду. И поскольку пришли с чистой душой и даже торт с собой прихватили, — не выгонять же их было. Сели пить чай.

Что тут, в конце концов, особенного? Бывало — по рассказам из первых уст знаю, когда вот так же, с тортиком, приходили пить чаек под яблоней те, кто сам и засаживал. Время было такое, ничего не поделаешь.

* * *

Вода была весенняя, веселая, снег таял, легко было идти под горку за ручейком, — совсем как в детстве, когда мастерил из старых газет кораблики и бежал за ними следом вдоль промоин в серых мартовских сугробах.

Так дошел до овражка, а там натекло небольшое озерцо. На берегу — длинный журавль, жердь с противовесом, достигающая до середины пруда, если отпустить.

И толпа вокруг.

Протиснулся, заглянул вниз: вода прозрачная, все как на ладони.

И увидел, что там, на дне, слабо копошились бесформенные и страшные куски мяса, подернутые перламутровой пленкой. Озерцо это было словно кухонная раковина, когда в ней моют говядину для щей. Куски эти жили под водой, дышали. Потом их цепляли концом журавля, вытаскивали на берег и отдирали мерзкую пленку, — больно им, наверно, было, как тем собакам в виварии.

Уже уходя, я лицом к лицу столкнулся с существом, побывавшим в волшебном озере. Это уж и не человек был, а прямо ангел какой-то. Я, глядя на него, замурился, до того он весь сиял и лучился.

И очередь стояла у журавля. Мужчины и женщины парами бросались в желтую раковину среди белых берегов и превращались в мясные полуфабрикаты, иначе не скажешь. А потом — в ангелов.

Вот бы и мне набраться духу, постоять в очереди (ничего, дело привычное), нырнуть в колдовской весенний котел. Но не решился, да к тому же поодиночке не подпускали. С тех пор как ни вспомню, чуть не плачу от досады. Какую возможность упустил!

ЖЕНЩИНА НА СТРОЙКЕ

Африка, откуда, как я сказал кому-то во сне, «на электричке не выберешься». Целыми годами, словно героини ефремовской повести, иду домой — и вот выбрался на большую прогалину, — только посреди еще торчат несколько деревьев. Просеку, что ли, расчищают? Или просто лесозаготовки? Вершина какой-нибудь араукарии подцеплена железным коромыслом. Поневоле вспомнился тот самый «молодильный чан». Скрипят зубчатые колеса, мотаются железные веревки. А у корней копошится что-то змеевидное, тугое, свитое в кольца. Вокруг мужики суетятся, покрикивают. А кто поодаль сидит, перекуривает. Ну все, как у нас, один к одному.

— Это — карликовый яванский слон, — объяснил мне кто-то из перекурщиков.

Цепь рывком натянулась, дерево повисло в воздухе, посыпалась с корней красная земля. Подошел поближе.

Оказывается, там было такое существо: словно бы огромная пивка, размером, действительно, с небольшого слона, вовсе однако не противная. Было нечто даже изящное в трудных извивах ее тела, которое суживалось к обоим концам и на верхнем конце переходило в плотный женский торс.

Женщина была похожа на школьную учительницу, на районную врачуху: широкое, но миловидное русское лицо, очень усталое; волосы собраны на затылке в аккуратный кукиш. К ней подошел худощавый серьезный парень — муж, наверное, — она слегка наклонилась к нему, он ее обнял за плечи, обмахнул ладонью потертую вязаную кофточку, сказал что-то ласковое. Лицо у нее было широкое, милое, усталое. А лет что-нибудь около тридцати пяти. Я представил, как по вечерам она подливает ему чай из самовара, а он, уткнувшись в газету, сыплет сахар мимо стакана.

ДОМ

Накопил-таки деньжонок и присмотрел себе дом. Старый, в два этажа, обшит серым тесом, в тихом переулке. Вниз, думаю, можно пустить квартирантов, а наверху нам всем места хватит. Жить да жить.

Размечтался и не заметил, как подкатил лихой грузовичок, понапрыгало с него рабочих, вмиг разобрали дом, побросали в кузов, увезли.

Оказывается, это была декорация: холст на жидких рейках. Вроде тех домов в Москве, на улице Горького, или в Киеве, на Крещатике, что с фасада облицованы глыбами дикого камня, — горы, а не дома, — а со двора посмотришь: гнилой кирпич, смрад из мусорных ящиков, пьяница мочится в уголке.

ГРАД МИРА

Девушка с обложки «Пари-Матч», роскошнейшая блондинка, рекламирующая сигареты «Салем», медленно едет в открытом автомобильчике. Курите «Салем», целуйте блондинок, благоухающих мятой!

Дернулся было к автомобильчику, да вовремя вспомнил, что валюты у меня отродясь не бывало. Валяется, правда, в ящике письменного стола старый американский цент с бизоном, найденный на пляже в Серебряном бору, но много ли на один цент купишь? Небось, на одну затяжку не хватит.

Но ведь покупает же кто-то? Иначе зачем рекламу раздувать?

Покупают, конечно. Вот розовощекий молодой господинчик с аккуратной эспаньолочкой, в нарядном тулупчике и крапчатой нерпичьей шапке мигнул ментоловой красотке — и пожалуйста: получил, причем бесплатно, не только целый блок сигарет, но, как и следовало ожидать, поцелуйчик в придачу.

В качестве задатка.

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ

Что-то произошло со временем. Впрочем, со временем всегда что-то происходит: то оно прыгает почище кенгуру, то годами стоит на месте, то еле ползет, как раненая ассирийская львица из Берлинского музея. Пошлость, конечно, да только никуда от нее не денешься. На собственной шкуре испытал.

Стремглав уносится от меня поезд. Я стреляю в него из ружья. А что поезду сделается? Замер на секунду, а потом ринулся на меня задним ходом. Щепочкой хрустнуло под грузными колесами ореховое ложе моего ижевского дробовика. Состав заметался по путям — не догадаешься, в какую сторону его швырнет. Все бросились врассыпную, сыплется песок с откоса, брызжет стекло, словно бн

переехал старинные песочные часы. Ах да, ружье-то старинное, дуло раструбом, не дуло — воронка, измеряющая время. Волшебное ружье со стеклянным дулом, а вместо дроби — песок.

Да что тут удивительного? Я сам превратился в существо, скрученное из тугих стальных проволочек. Почуввав смертельную опасность, я обрел способность летать. Я напряжился — легко мне это далось, будто всю жизнь только этим и занимался, — напряжился, напрягся — и взлетел.

Сверху станция — словно игрушечная. И если б мог крикнуть, я подсказал бы людям, куда бежать, как спастись: мне-то все видно. Но нет голоса, только противный металлический скрип, да к тому же в этом обличье я людям больший враг, чем обезумевший состав.

Они меня голоса лишили, а себя — и прошлого, и будущего.

Чем они занялись, едва меня увидели? Конечно же, понатащили Бог весть откуда сачков, сеток разных и вот мельтешатся, ловят меня, норовят сбить с неба, как майского жука. Черта ль им в сумасшедшем этом поезде? Да пусть хоть всех передавит — новых нарожают. Меня изловить — вот ихняя забота. Повыше от них, подальше.

В ИНДИЮ ДУХА КУПИТЬ БИЛЕТ

Не помню, где я его покупал, на каком вокзале, да и не важно это. На том же, где толклись когда-то в очередях апостол Фома, Афанасий Никитин, мадам Блаватская (из песни слово не выкинешь) и иже с ними.

А с индийского берега до Цейлона рукой подать — каких-нибудь метров триста. Там громоздилась древняя арка, рассеявшиеся каменные врата со львами по бокам и колесом судьбы посередине, похожим на крупную полевую ромашку. Сквозь проем видна выщербленная лестница из обомшелых плит, по ней беззвучно ползет вода. Грех было оказаться в двух шагах от земного рая, — ведь пишут, тот же Бунин писал, что именно там нарекал наш праотец Адам всякую тварь, — и не погулять по Цейлону.

С камешка на камешек, через Адамов мост, добрался я до великого львиного острова и оглянулся назад, на Индию. Из нее выпирали слоистые скалы — а là Блок и Богаевский или, вернее, а là Данте и Мантенья, — нельзя же забывать, кто на кого опирался в своих художественных исканиях. Над скалами вились птичьи стаи.

С неба в море упал сложенный вдвое канат: боги вздумали удить рыбку в мутной воде. И вид сверху, от подножья каменной лестницы, был такой: легкая зыбь, акулы в виде огромных килек, двое пловцов, непременный кинжал в руке одного из них.

Забыл сказать, что все это — телевизионный фильм. Гости — незнакомые, пожилые и почтенные — расходились, напяливая полушубочки, привезенные из Болгарии, Австрии, Австралии. Осталась только одна женщина-врач. Возле нее — стопка рецептов. И дернула меня нелегкая попросить у нее рецептик с промедолом: печень, дескать, замучила. Врачиха тотчас, словно только этого и ожидала, швырнула мне гербовую бумажку с уже готовой прыгающей подписью вниз, крупно, тушью — в МОРДОВИЮ.

СТАРАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ МЕЛЬНИЦА

И вот еще в каком обличье видел я однажды время.

Полез как-то в жуткую июльскую жару купаться — дело было на пляже под романтическим обрывом (да, да, то самое «Дворянское гнездо»), — под обрывом, сложенным из каких-то там девонских или пермских пород, из ноздреватых трухлявых плит, в которых, как писал писатель Паустовский, таится в спрессованном виде непостижимая уму человеческому безмозглая злоба и ненасытная алчность тех отдаленных эпох. И что-то такое, что омерзительней зве-

риной злобы и алчности, что-то отчасти даже человеческое, отчего человек хуже любого трилобита, — нечто очень грязное, сладострастное, садистское, матерщинное, где перепутаны и не теми концами сращены все начала: любовь, смерть, рождение, пожирание, извергание.

Все это я не то чтобы понял, а с дрожью омерзения почувствовал, когда вылез из воды — там еще сильнее напекло мне голову — и увидел на берегу, на месте фанерной пляжной кабинки некое совершенно сюрреалистическое сооружение: пластмассовые, будто игрушечные, часы, ходики в человеческий рост с оторванными боковыми стенками, так что была видна внутри сложная механическая трубуха: те же адские зубчатые колеса, рычаги, цепи, воронки, жернова, — но, повторяю, все сплошь пластмассовое, ядовитое и липкое. Ну и, конечно, угадывалось подобие некоего лица на циферблате, подобие похабного мурла, не хватало только бандитской кепочки набекрень.

И эта мельница времени, поминутно сплевывая крошащиеся розоватые зубы, упиваясь не столько смыслом, сколько нарочито исковерканным звучанием однообразных своих речей, бормотала с омерзительным хулиганским акцентом и присвистом нечто вовсе непечатное. В переводе на обычный (теперь уже полузабытый) русский язык смысл этого бубнения был такой: я вас зачинаю, я вас вынашиваю, я вас рожаю, так какого же хрена вы кобенитесь, когда мне захочется пожрать?

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОТРУДНИКА ИМПЕРАТОРСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Хотя, в сущности, какой я сотрудник? Приняли на работу подавальщиком книг, выписали синий халат и дерматиновую клейкую портупею с ножовкой в дерматиновых же ножнах.

— Это еще зачем? — спрашиваю.

— Затем, — объясняют, — что некоторые издания нуждаются в деформации посредством обработки ручной пилой-ножовкой. Но, — добавляют, — это объяснение годится для сотрудников, не получивших высшего образования, а вам можно открыть сокровенную тайну этого оборудования: ножовка потому в ножнах, что они из одного корня выросли, а к тому же носить ножовку без ножен — порезаться можно.

И долго еще что-то жужжали: ж-ж-ж...

А ведь у меня и впрямь университетский диплом в кармане. Я ни много, ни мало — бакалавр изящных искусств. Ничего особенного, конечно, однако звучит красиво. А они мне как особую милость выдали все это барахло и поставили вместе с глупыми девчонками вынимать книги из жестяных коробок, подвешенных к транспортеру, и раскладывать их по полкам.

Я день работал, два работал, а на третий озверел и сунулся к замдиректора — бабе неопределенных лет с лошадиным лицом и зубами, как у того дикого верблюда из пустыни Гибсона, — сунулся в ее кабинет карельской березы.

— Так и так, — говорю, — зачем же это меня пять лет учили, имперские кроны тратили? Я ведь не только знаю, кто вам Успенский собор построил и сколько в государственном Эрмитаже осталось нераспроданных полотен Рембрандта, но знаком с записными книжками Виллара д'Оннекура и могу вам растолковать мистическую сущность обыкновенной русской матрешки в свете успенско-гурджиевских псевдоучений о множественности человеческого тела.

Верблюдица довольно вежливо все это выслушала и говорит:

— Милый мой, неужели вы думаете, что мы вас вместе с вашими матрешками и синекурами собираемся здесь зажимать? Да ни в коем случае. Поработайте годок-другой, освоитесь с обстановочкой, научитесь любить книгу — и мы вас тут же переведем в библиографический отдел. А там еще годков пяток — и в референты перейдете. Да господи ты боже мой! Только торопиться не нужно. И прибавочку получите к тому времени: не шестьдесят крон будете получать, а шестьдесят три.

Ух, как я ее огрел ножовкой по зубам! Не зубьями, правда, а плашмя, чтобы не образовалось смешение корней и созвучий, но все равно крепко.

И вспорхнул на деревянные хоры.

— Долой, — кричу, — его величество государя императора и всю вашу гнусную братию!

Откуда ни возьмись — тысячи, многие тысячи сотрудников в синих халатах с ножовками в руках бросились подпиливать столбы, на которых держались антресоли. Они так лихо заработали, что мраморные полы вмиг покрылись толстым слоем пахучих опилок, и уборщицы со швабрами — тоже невесть откуда взявшиеся — принялись, мешая друг дружке и пыльщикам, сгребать золотистую труху в ведра и выносить ее во двор. Я сразу смекнул, что делается это для того, чтобы я, не дай Бог, не приземлился в опилки, словно какой-нибудь киноактер, и тем самым не остался жив.

Помост накренился, ждать больше было нечего. Я взвился под самый потолок, разбил ножовкой стекло и вылетел наружу.

Здания Библиотеки раскинулись по холму на целый квартал. Странное было ощущение: будто земля не внизу, а где-то сбоку, что ли; так, наверное, видит ласточка стену дома, подлетая к гнезду, прилепленному к этой стене.

А дальше — ров, наискосок прорезанный в теле холма. Травка на дне изрядно повытоптана. И тянет оттуда смрадом гниющего мяса и кошачьей мочи. Это львиный ров императора Рудольфа, в нем он держит своих любимчиков, присланных в подарок алжирским беєм. Император яхшается с алхимиками, меценатствует, подкармливает художника Арчимбольдо, любит разных экзотических зверюшек. И библиотека у него хорошая, ничего не скажешь. Особенно по части спецхрана.

Ни к селу ни к городу вспомнились лекции покойного профессора Пилипенко (отсидел в свое время, бедняга, добрых десяток лет за пропаганду отсоединения Закарпатской Украины от проклятых Габсбургов), в которых он возводил хитроумные творения космополита Арчимбольдо к росписям безвестной народной художницы Пелагеи Охрименко, жившей, помнится, в селе Большие Перемены в третьей четверти XIV века.

Мы-то с вами знаем, что это все не так. На Востоке приемчики ловкого итальяшки были известны издревле. Взять хотя бы ту персидскую миниатюру из музея Гиме, на которой изображен верблюд, сплетенный из множества забавных фигурок — людей, животных, бесов и ангелов. Если вам не довелось побывать в том музее, спросите у знакомых тартуский сборник, где помещена статья, довольно, впрочем, поверхностная, о влиянии Гератской школы на творчество Велемира Хлебникова.

Но я совсем отвлекся.

Сотрудники в синих халатах, размахивая ножовками, оттеснили берберийских зверюшек в дальней конец рва. Лица у всех обращены к небу, словно они молятся. Сорок две тысячи желтых верблюжьих зубов, запорошенных опилками. Неужели я целых три дня был таким вот верблюдом?

Повыше от них, подальше.

Верблюд, сплетенный из тысячи забавных человечков, воздел чуть ли не до облаков косматую шею. Снизу доверху прокатился по ней тугой комок слюны. Верблюд зажмурился, задрал голову, харкнул.

Слава тебе, Господи, мимо. Только тряхнуло воздушной волной и сразу отнесло на многие версты в сторону от ненавистного синего чудовища. А жаль все-таки, что на прощанье не съездил ему ножовкой по зубам! Прощай, Прага! Я на Востоке.

* * *

Лев крылатый и лев бескрылый
 Перегрызлись внутри меня.
 Не подступишься к ним ни силой,
 Ни добром — такая грызня.

Лев бескрылый и лев крылатый,
 Что за прок во вражде слепой?
 Я ли был вам тесной палатой,
 Ненадежною скорлупой?
 Я ли вас не кормил собою
 Наяву, тем паче во сне,
 Что ж не можете вы без бою
 И минуты прожить во мне?
 Не сидится вам, не ложится,
 Тучей перья, поземкой шерсть.
 Когти в кошку вонзает птица,
 Птицу кошка хочет заесть.
 Ух, как страшно мне! Как свирепы
 Схватки недр и корчи основ!
 Львы грызутся, трясутся скрепы,
 И скрежещут засовы снов.
 Львы грызутся — а тот, чье имя
 И под пыткой не назову,
 Безмятежно стоит меж ними
 Даниилом во львином рву.

УБИЙСТВО. ЧЕРНОЗЕМНОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

Кого-то я давным-давно убил и закопал на огороде. Там, среди кустов крыжовника, врыта большая бочка; раньше в ней держали воду, а теперь она совсем рассохлась, ушла в землю, — чем не гроб?

А кого, и когда, и почему — забыл. Надо полагать, что убитый — это я сам или часть меня — я ведь тоже, что греха таить, слеппен из тысячи юрких человечков. Вот один из них и успокоился в старой бочке.

Лежит и видит сквозь нетолстый слой перегной, как по мохнатым оранжевым ягодам снуют божьи коровки; слышит, как по ночам, в конце лета, состязаются кузнечики. Полежи, полежи: напрыгался.

НЕРЕЙ. АНТИЧНОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

Прямая дорога, и с обеих сторон — вода: слева извилистая речушка, вроде бы не совсем русская, оба берега обрывистые, поверху сосны, но тоже какие-то не наши; справа — тихий канал под ивами, в голландском вкусе. Словно кто-то сдвинул два куска земной поверхности, наспех заштопал их, стянул, а меня поставил на самом шве.

Навстречу все время всадники. Наверное, в первый раз в жизни люблюсь конской статью: маленькие, узкие, щучьи головки; крутые шеи с короткой гривой; тонкие ноги; округлые тяжкие крупы; тугие короткие хвосты — такие лошади на ханьских барельефах, на античных стелах.

Последней проехала амазонка. Ее лошадь все хотела напиться, а девушка со смехом понукала ее, била пятками в бока. Стремлян тогда еще не было.

Справа, на берегу канала, а может быть, на крошечном островке, поросшем «гусиной травой», спал старик. Помню, я поразился: вечер, место низкое, сырое, а он разлегся прямо на земле. Его совершенно седая борода текла по груди, животу, омывала голые ноги и сливалась с тихой пеной канала.

ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР. ПРАМАТЕРЬ

Приземлился на том берегу, огляделся. В общем, ничего особенного, похоже на какую-то подмосковную станцию по Казанской дороге, на Малаховку, ска-

жем, когда с нее, ближе к ночи, схлынет народ, пройдут на восток зарешеченные составы. Пыльная площадь, не особенно чистая, хотя и не видно окурков, шелухи от семечек и газетных обрывков. Что необычно — так это освещение. Будто и солнце веками не взойдет, и ночь никогда не наступит. Сумерки не сумерки, не поймешь что, вроде старой выцветшей фотографии. Ни света, ни тени.

Возле ветхой саманной стены сидит старуха в бесцветных отрепьях, в ногах у нее — дерюжный грязный мешок, она что-то продает. Хотя какая уж торговля, если народ схлынул? Пусто на площади.

Подошел, полюбопытствовал, оказалось, что старуха торгует детьми. Из мешка торчат русые, рыжие и черные макушки. И не дорого, по гривеннику, что ли.

Другая старуха, страшно похожая на первую, будто они родные сестры, подковыляла, поторговалась. Ей нужна была девочка. Она долго копалась в мешке трясущимися пальцами. Выбрала, сунула под мышку, растаяла в сумерках, буд-то и не появлялась.

Вот еще что забыл сказать: на Востоке как-то беззвучно. Казалось бы, старухи эти должны были, хоть и негромко, спорить, что-то друг дружке доказывать, — но нет, ни единого звука я не слышал, а ведь стоял рядом, над самым мешком.

ЛЕСТНИЦА

Была она точь-в-точь такой же, что привиделась Иакову — от земли до неба, но совсем пустая, без ангелов. Обычная, впрочем, лестница, я по такой карабкался в детстве на чердак: перекладыны шершавые и засижены курами, того и гляди сломаются.

Я взбирался по ней в небо, и ровно на полпути между землею и небом приключилась со мною хитрая штука, вроде той, что произошла когда-то у Данте с Вергилием, когда они спускались по телу Сатаны, цепляясь за его шерстяные бока. Не знаю, как описать, чтобы было понятно.

До этой роковой перекладыны я все поднимался, то есть голова у меня была вверху, а ноги — внизу, и с каждым шагом отдалялся я от земли, приближался к небу. А тут вдруг на мгновение повис в бездонном пространстве вниз головой, вверх ногами, как на самой страшной из карт Таро. Просто непонятно, каким чудом не сверзился с этой лестницы. Жуткое было ощущение, вроде того, когда в школе на уроках физкультуры заставляли кувыркаться на турнике. А потом, двигаясь как будто в том же направлении, почувствовал, что спускаюсь, и очень скоро оказался на земле.

Не удалось добраться до неба, но хоть живым остался.

ПСИХОСТАСИЯ

За последнее время народ так сжился с тараканами, что перестал почитать эту тварь чужеродным элементом, будто они испокон веку по стенам шастали, особенно ночью. Вред от них невелик, спид они, вроде, не распускают, чего уж там.

Ну, развелись себе и живут, да так даже веселее, особенно если ты сам развелся и выставили тебя куда-нибудь в Бескудниково, в жуткую хрущобу, в коммуналку, подселили к сумасшедшей старухе, аттестующей себя «потомственной акушеркой-революционеркой» и не дающей проходу ни на кухню, ни в туалет, не приморив, как таракана, очередной историей про знакомого фельдмаршала или адмирала, у которого она принимала роды, — короче говоря, приползешь зимой в этакую крупнопанельную келью, голодный, злой, как собака, разуверившийся во всем на свете, а они, голубчики, почуют тебя еще с порога — и бегут со всех ног навстречу, смотрят умильными глазками: не притащил ли, мол, хозяин, чего-нибудь поесть? Покормишь их чем Бог послал, сырку плавленого покрошишь — и легче на сердце становится, честное слово.

Всякая тварь славит Господа.

А вот комары — другое дело. Эта бестия, по слухам, и спид передает, и вообще от них житья нет с апреля по ноябрь, хоть закупай себе противомоскитный полог, столь красочно рекламируемый в журнале «Бурда», но ведь к пологу этому полагается не только кровать специальная, но и — подумать только! — обруч от давно у нас забытого гавайского задоверчения под названием хула-хуп, да мало ли что еще они там у себя в ФРГ придумают, а тут денег нет даже на обычную поллитровку. И так-то без жены и без водки не спится (чуть не написал — «не спидся»), а тут еще эти демонята. А с закрытыми окнами, как все люди, я не могу, мне требуется живое дыхание ночи, астральные касательства звезд и даже — смешно сказать — чириканье какой-нибудь пичужки на рассвете, хоть того же простецкого воробья.

Посоветовали мне натираться перед сном вьетнамской мазью «Золотая пентаграмма», а я, дурак, и послушался, забыв про свою тонкую психическую организацию. И вот какая хреновина вышла.

С превеликим трудом отковырял крышку, мазнул пару раз мизинцем за ушами, по лбу меж глаз и по шее, да и лег спать, хотя жгла эта дрянь изрядно. И пошло — поехало.

Я, еще не просыпаясь, понял, в чем, собственно, дело. На меня этот эликсир подействовал как самая настоящая ведьмовская мазь. В свое время — а прости-ралось оно от Возрождения аж до самого Просвещения — сходные составы кружили головы всяким там ренессансным психопаткам, и они таким манером летали на свои шабашы, телесно, вроде бы, оставаясь на постелях рядом с любовниками или, допустим, мужьями, хотя мое личное мнение таково, что мужей у них не должно было быть, поскольку нормальная супружеская жизнь служит известной гарантией от всяких оккультных заскоков. При наличии законного брака излишки внутренней энергии идут на выполнение сладостного долга, так что расходы на разную подозрительную белиберду сами собой отпадают. Вот, кстати, почему Церковь не советует мирянам проявлять колебания в данном вопросе: лучше жениться, чем распалиться.

Я же, как на грех, развелся в ту пору с женой, и энергии этой самой у меня порядочно поднакопилось.

Натерся я, стало быть, этой дрянью — и понесло меня. По всем нижним мирам протацило, да так явственно, так осязаемо, что хоть караул кричи. Пока летал, вспомнил тот пассаж из одной монографии про Иеронима Босха, где говорится, что и он этим делом злоупотреблял, да не абы как, а будучи зажиточным бургером своего Хертогенбоса, позволял себе импортные — из Мексики — препараты на пейотле, от которых, небось, забалдеешь похлеще, чем от какой-то хошиминовской «пентаграммы».

Неправо думают те отечественные «исследователи» сверхчувственного, которые считают все попытки соприкосновения с мирами иными чистым бредом и галлюцинацией. Дело в том, что нам, грешным, просто невозможно во плоти прорваться в запредельные области, даже сам апостол Павел где-то оговаривается, что не уверен, каким макаром он там побывал, мысленно или вкупе со своей брэнной аппаратурой. То же относится и к занебесному полету Мухаммеда. Ну вот, а в виде астрального своего двойника даже простому смертному удастся иногда, хотя бы «зайцем», проскочить за кордон. Двойник — личность почти невесомая, сильно разреженная, сродни эфиру, это еще Игнатий Брянчанинов доказал; ему — при известных, разумеется, обстоятельствах — стоит раз плюнуть, и он уже там. Ходит, глазееет по сторонам, пока не заберут: ваши документики, сударь. По какому праву нарушили раньше времени наши священные рубежи? И так далее. Но ведь кое-что успеешь до задержания увидеть. И прелюбопытные есть вещи, о которых даже у самого Агриппы не прочтешь и у Сведенборга не встретишь. К примеру, в тот раз.

Этот мир и тот — как два гантельных шара, только полые внутри. А между ними, в рукоятке — знаменитый мост, подобный лезвию бритвы (черт бы побрал милейшего Ивана Антоновича, испохабившего в своем романчике этот страшный символ!). И вот взяли меня однажды молодчики с пресловутыми

красными книжечками под ручки: пройдемте, гражданин. И поволокли в ту половину.

Страшной она предстает для тех, кого загоняют в нее всерьез, на последний, так сказать, экзамен, а кого просто так, вроде экскурсии, тем не особенно страшно, хотя бывают, не скрою, и такие ситуации, что даже во сне только и остается воззвать к Пресвятой Заступнице нашей, лишь бы вызволила, не дала там навеки остаться и тамошним тварям уподобиться.

Ну, короче говоря, прошел я из одной сферы в другую по коридору, выдолбленному внутри соединяющей их рукоятки, и очутился на том свете, где я, впрочем, не раз уже бывал. «Тот свет», надо вам сказать, это вовсе не какая-нибудь ярко выраженная inferнальная или, напротив, серафическая область, а так себе, закоулочек, тупичок для полудурков, детский сад.

Как мне смешна и противна самонадеянность тех невежд, кои, заглянув в эту местечковую заповедность, уверяют других олухов, будто имеют представление о том свете «en globe».

Вот чепуха! Да там миров этих, не побоюсь плагиата, целые квадрильоны, и каждый устроен на свой манер, — гроздьями, гроздьями пузырятся они в пресловутом нуль-пространстве, так что от любого из них до ада или до рая такое же нуль-расстояние, как от Малаховки до Сейшельских островов.

И вот я оказался в одной из таких виноградин, а там и впрямь что-то вроде обычного детского сада, хотя питомцы этого заведения, включая и меня, имеют вид вполне взрослых людей. Копаются себе в небесном песочке, чего-то там такое лепят или вырезают, словом, не сидят без дела. А надзирательницы — или как они там официально называются, воспитательницы, что ли, — так вот, эти дамы, хоть и без видимых крыльев, порхают вдоль сферических стен, совсем как осы, заползают в круглые дырки, снова выбирают на тот свет, поучают великовозрастных малышей, задания им всякие задают — и все это без особой строгости, однако ж и без намека на поправки. Не будучи причислен ни к ангельскому лику, ни к демонским чинам и крыльев не имея ни явных, ни символических, я кое-как докарабкался до середины сферы по хлипким жестяным лестничкам, оплетающим ее изнутри, заглянул в ближайший люк. Все проклятая моя любознательность: посмотрим-ка, мол, на бытовую сторону заповедной проблемы, какие у них жилищные условия, что за удобства, по сколько секстильонов квадратных на ихнюю сестру приходится?

Заглянул я в люк — а там оказалась квартирнка из самых заурядных, в стиле шестидесятых годов: журнальный столик с тремя ножками с читанным номером «Юности» и болгарской пепельницей в радужной поливе, продавленная кушеточка в таком же духе, телевизор с увеличительной линзой в углу. Небогато живете, госпожи осы! А они откуда ни возьмись — да как зашикают на меня, как заверещат: ты почему тут оказался? ты из какой группы?

И вытряхнули с порога вниз головой, куда только их незлобивость девалась.

И полетел я стремглав, чуя за ушами жжение от колдовского бальзама, камнем полетел на детскую площадку, только глаза успел зажмурить от великой жутки. Вот ведь какие твари, ни жалости в них, ни сострадания! Свист в воздухе, жужжание ихнее комариное — тоже мне, осы! — и ужас, от которого захолонуло в животе: доигрался, конец.

А очнулся живой и невредимый, открыл глаза: стою на странном сооружении вроде круга от огромной люстры — в областных театрах бывают такие машины — стою это я себе и прикидываю, куда же меня занесло. Сфера вокруг будто бы та же самая, но такое впечатление, что пока я летел на песочек, ее полностью, так сказать, реконструировали. Я оказался внутри вывернутого наизнанку старинного небесного глобуса, армиллярия. Он весь перетянут медными обручами, на побуревших пергаментных боках — созвездия, срисованные, как мне показалось, с атласа Яна Гевелия: разные там ладьи, мечи и чаши в барочном духе. Очень симпатичное место, в стиле ретро, как теперь принято говорить. И свешивается с зенита, где клубит свои кольца Змей, могучая медная цепь, а на конце ее — это самое колесо с крестовиной, и я стою на одной из четырех закраин, как пловец на вышке. Ни сдвинуться с места, ни повернуться, а смотреть

можно только прямо перед собой, куда ведет моя ветвь крестовины, — и вот, вижу я, на том ее конце торчит мой двойник, ну вылитый я, только голый. Или это я — его двойник, трудно судить. Но положение, честно говоря, жутковатое, и общая ситуация довольно опасная.

Впрочем, я моментально сообразил, что присутствую при собственной психостасии — так называется взвешивание души на загробных весах, хотя репродукции с египетских икон или романских фресок трактуют все это несколько по-другому. Ни Анубиса, ни архангела Михаила я не заметил, и это, признаться, несколько меня огорчило. Может, они где по сторонам стояли, а всего вероятней — парили под самым куполом, не берусь фантазировать.

Долго я так томился, по земному счету — минут пять или десять, а по ихнему — трудно судить. И начал, от нечего делать, вспоминать обрывки египетской мифологии, что там такое про двойников пишут. Ка, Ба и еще, кажется, Шу. А есть ли четвертая ипостась? И сколько нас тут — двое, трое или все четверо?

Забегая вперед, признаюсь, что, едва проснувшись, полез в «Мифологическую энциклопедию» — незадолго перед тем выменял эти два роскошных тома на житийскую икону Ивана-Воина (XVIII век, сохранности средней) у одного полоумного жучка, а точнее говоря — у своего же бывшего коллеги и собутыльника, только он ремесло наше бесхлебное бросил, сел на шею престарелой мамы и принялся вовсю книжонками спекулировать, — полез я, стало быть, в этот кладезь древней премудрости, шарил-шарил, но так ничего путного и не отыскал. Какое-то стандартное бубнение про вещи, в которых сам автор ни уха ни рыла не смыслит. Вроде того, как Фрейд священными символами распоряжается: этот на букву «икс», тот на букву «игрек»... Не пробовали они, нет, не пробовали обороняться от комариков «Золотой пентаграммой», а наобум вякать любой горазд. Ну, да ладно.

Простоял эту пятиминутку, поскучал в предчувствии Страшного суда, но его почему-то отложили, а меня без всякого предупреждения, но очень деликатно, спихнули на землю, где я увидел Олечку, свою дочь от того самого злополучного первого брака. Она меня, кстати сказать, давно уже дедом сделала, так что мой второй сын оказался младше своего племянника, но во сне я ее всегда вижу этойкой первоклашкой.

И взмолился ей:

— Объясни ты мне, деточка, значение всей этой ерунды, ты же здесь, вроде бы, свой человек.

А она мне:

— Рановато, папочка, тебе это знать, ты взрослый еще. Просыпайся-ка лучше, птички твои уже запели, таракашки по щелям расползлись.

Что было делать, проснулся.

А про те бесовские игрища, что перед тем видел, рассказывать не буду: кому любопытно, может полистать альбомы того же Босха (есть со сводками всех возможных толкований), почитать сочинения Густава Майринка, особенно рекомендую «Ангела в западном окне», или хоть Романа Вильнёва, ну а уж если и это недоступно — тоже не беда: лучше, чем Гоголь в «Пропавшей грамоте», никто всей этой мерзости не описал.

Вот уж он-то, я думаю, частенько совался куда не просят, но попадал исключительно этажом ниже, вверх его как-то не тянуло, разве что под конец жизни, да и то в чисто академическом плане, а не по велению живого сердца. Большую власть над ним бесы имели, ну и он их, когда удавалось, тоже любил прочесать против шерсти и в порядке взаимного обмена любезностями.

ФРЕЙДИСТСКОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИГРИВОГО ХАРАКТЕРА, С МОРАЛЬЮ

В книжном магазине напротив Казанского собора оборваны перила вдоль лестницы на второй этаж. А когда спускался, оказалось, что целый марш успели

снести. Пришлось прыгать. Кое-как соскочил, почему-то оглянулся назад, телепатия какая-то.

Брюнеточка небольшого росточка стоит на опасном карнизе, штукатурка сыплется понемногу.

— Эй, помоги спуститься!

Отчего ж не помочь? Вскинул руки, поймал ее в воздухе, а она и растпалась: на секунду-другую сцепила ножки вокруг моего пояса, как шакти на буддийских иконах. Я, дурак, посмотрел на нее пристально. Она поняла.

— А ведь женат, — повела глазами на кольцо.

— У жены каникулы.

— У меня тоже, но ты не горюй, я тебе сейчас приведу кого-нибудь взамен.

И сосватала мне сразу двух девок, но уж таких страховидных, что я поспешил отмахнуться, чем, видимо, ее обидел. Однако проводить себя позволила.

Миг — и мы очутились где-то возле Новой Голландии; спуск в пропасть; канат; там, внизу — фабрика, где она работает.

Ловко обхватила канат руками и ножками — вот, оказывается, откуда ее буддийские замашки — и уже кричит снизу:

— Ну, что же ты? Давай спускайся!

Ох, боязно: не второй этаж, много выше. Замахал руками, попятился. Тогда свистнула она, и ко мне на обрыв само собой взлетело велосипедное седло с продернутой посередине веревкой. Кое-как уселся, а перед этим, опять же сам не знаю почему, сбросил вниз очки. Чтобы высоты не бояться.

Только приземлился — подкатывается ко мне такой кошмарный бугай, что не приведи Господи.

— Томочку с законным браком можно поздравить, или как?

Воззвал я мысленно к Пречистой деве, сжалилась Владычица, проснулся.

Очень простенький, понятный сон, все в нем, как на ладони, даже и толковать нечего. Забавен только эпизодик с очками: сначала нужно ослепнуть, добровольно ослепить себя, чтобы броситься в преисподнюю за первой подвернувшейся девкой.

Хороший рассказ на эту тему читал я в одной из антологий Хичкока.

Едет по пустыне машина. Вокруг миражи, стервятники на буграх, кактусы. В машине — полицейский и беглый убийца, у которого впереди пересуд и электрический стул. Каторжник вышел по малой нужде, изловчился, оглушил кандалами стражника, потом пристрелил его. И попер на той же машине дальше. Ехал-ехал — попал в аварию, еле очухался, кое-как выбрался из кабины, поплелся пешком. Идет, а его догоняет старый монах, им по пути. Вместе пошли. Ночь уже. Место жуткое, неизвестное, гиблое. Монах этот каторжнику подозрителен — не выдаст ли? И вдруг — цокот копыт. Девка скачет на роскошном жеребце:

— Хошь подвезу?

Еще бы не хотеть. А монах этот принялся его отговаривать: не поздно, мол, еще, одумайся, не езжай ты с этой стервой. Только расхохотался убийца, вскочил к ней за спину, помчался. Держится за талию, чувствует: девка-огонь.

— А как насчет побаловаться?

— Это праздник, который всегда с нами.

Сошли с коня, намиловались до седьмого пота, он и задремал от усталости. Проснулся — а рядом с ним не огневая девка, а полусгнивший труп.

Вскочил, закричал, побежал. Свист вдогонку. Обернулся: она снова в седле во всей своей прежней красе. Подманивает рукой — садись:

— Перед тем, как податься в Лас-Вегас, заглянем в одно интересное местечко.

Некуда деваться — сел, поскакали. Мигом домчались до того буерака, где он угодил в аварию. Смотрит — грабленая машина, та самая, лежит вверх брюхом, грифы вокруг суетятся, тащут через разбитые стекла чью-то трубуху. По татуировке на запястье узнал самого себя. И монах этот снова мимо идет.

— Спаси! Спаси!

Да теперь уж ему никто не поможет. Чистилище-то пройдено. Понеслись они прямым ходом в преисподнюю. Ах, слаб человек, ах, глуп!

МОСТ

Огромный мост через все море, внутри него — залы, переходы, толчея, кински разные со всякой белибердой, речи, киносьемка даже. Ну, еще бы: построили наконец! Теперь на тот берег можно переходить всем скопом, в любое время, не замочив ног. Еле выбрался из адского месива.

Но, слышу, — разговорчики поодаль:

— Первый-то враз обвалился. Да и этот, небось, недолго простоит: на скорую руку склади.

И точно: едва я отступил на берег, как мост начал рушиться, медленно, кусками, словно в кино (вот, оказывается, зачем тут эти проныры с камерами). Мало этого: с моря идет, косо нависая над головой, страшная волна. И еще откуда-то (с другого края моря? — но оно ведь бескрайнее) — ей навстречу вторая. Сшиблись, сомкнулись, не стало ни моря, ни моста: сплошные водовороты.

Хорошо, что успел заметить на берегу небольшую горку, вроде тех, что рисуют на иконах, «лещадка» на искусствоведаческом жаргоне, забрался наверх, отсиделся. Так удобно устроился — сиди и болтай ногами. Только очки приходилось то и дело протирать: брызги даже туда, черт бы их побрал, долетали.

КОСИ, КОСИ, НОЖКА

Это было давно. Еду я на конке по Верхнедворянской, в Орле, — там теперь разобрали рельсы, нагородили посереде улицы серых цементных урн с роскошнейшими цветами, сделали ее совсем непроезжей, а только прохожей, вроде Арбата, стала она Ленинской, — еду я по Верхнедворянской — и вдруг захрапели лошади, дернулся и остановился вагон.

Выглянул в окно — бабы в оранжевых распашонках поверх замусоленных ватников ползают по мостовой, замывают темные пятна, там и сям заляпавшие бульжники. Дело было после дождя, и поэтому с первого взгляда все это смахивало на ту картину Вермеера, где в уютном проулке две голландки надраивают кафельный приступочек перед стареньким кирпичным домом, а в дверном проеме сидит третья — с рукодельем.

Но дальше стало совсем не похоже, потому что поодаль от колеи оказалась голая человеческая нога, женская, отрезанная по самое бедро, и она судорожно дергалась, как паучья ножка. А еще дальше женщина обнимала грязную окровавленную грудку тряпья, мяса и костей, — еще живую. А кондукторша — усатая бодрая старуха — вспомнила детство и пропела фальцетом:

— Коси, коси, ножка — туда тебе дорожка!

Очень страшно... А впрочем, такое ли нас ждет впереди?

Однако рельсы, после того случая, перенесли от греха подальше, за реку. О Господи, то ли еще будет!

Спаси и сохрани.

* * *

Во сне или в бреду —
 Блажен и бред, и сон —
 Те строки, что в виду
 Имел старик Платон,
 Приходят. Во хмелю
 Нейдут из головы
 И гонят — улю-лю! —
 Через поля и рвы.
 Не брезгают глупцом
 Во время катастроф:

Да будет он живцом
 Для ловли хищных слов,
 Да будет хлевом он,
 Засадой для волков,
 Да будет деревом он,
 Достигшим облаков.
 Ударит гром вверху,
 Прогнивший ствол сразит
 И всю его труху
 В огонь преобразит.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Описывая ужасное, нельзя повышать тон — иначе получится смешно. Этот закон только для Шекспиров не писан — но на то уж они и Шекспиры, не нам чета. О страшном надо говорить в самых нейтральных выражениях, как о самом обычном. Этим приемом блестяще пользуются и Камю, и Сартр в «Запертых дверях», и Лидия Чуковская в своей повести о машинистке, забыл название, — да мало ли кто из опытных мастеров. И, напротив, сильно проигрывает Леонид Андреев, то и дело срываясь на истерику, — а ведь его драмы по глубине, по остроте мысли, по насущности проблем нисколько, на мой взгляд, не уступят сартровским.

Вот и я.

Что ни эпитет — то либо «огромный», либо «ужасный». Сказки для маленьких детей. Хичкок в обработке для школьников. Впрочем, сказки тут совсем не к месту приплетены: там-то как раз все очень ровно и даже иронично в самых кошмарнейших местах: Баба Яга Иващечку живьем в печь сует, а он, не будь плох, морочит ей голову, уверяет, что не знает, как на лопату сесть, просит показать на примере и, в конце концов, сам же ее в печь и засаживает.

И одно оправдание: литературщины в этих моих писаниях, положим, хватает, но литературы — вовсе нет. Это просто так, кошмарчики перед настоящим сном, записать их поскорее, чтобы не мучили потом, избавиться, забыть. Ни в какие рамки они не лезут и, черт бы их побрал, ни к чему не обязывают. Вы думаете, я сам много понимаю в том, что видел? Да, наверняка, меньше вашего. Пришла вот на днях настоящая литературная дама, умная и милая, даром что из начинающих, и вмиг растолковала мне мой рассказец про ехидну. Ехидна эта, оказывается, — мое творчество, глубоко личное, для постороннего глаза неприглядное и ненужное, а я его выпиваю сокровенными соками своими, своей слюной. Так ведь оно и есть, если разобратся.

ИСТОРИЯ О КРЫСАХ С РАССУЖДЕНИЕМ

В погребе завелись крысы. Первым делом они, как водится, слопали огромного серого кота, приبلудного, которого даже собаки побаивались. Затем мышей, милых нахлебников человеческих, Ходасевичем воспетых, Волошиным истолкованных, истребили безжалостно, будто и не родичи они им. Крупа в щелястом сундучке возле печки — с «крысяками», крысиным пометом: весь зимний запас опоганили. На вид они вовсе не такие мерзкие, как пишут в книгах, скорее, наоборот — холеные, с лоснящейся шерсткой (благородный серый тон японских кимоно), с умненькими глазками, и вообще они очень умные — как воробьи. Вот загадили крупу, знают, что после них к ней никто не притронется — это же с умыслом сделано, у себя в норах, небось, не станут гадить.

Раньше, или, как говорит мама, в «стародавнишние времена», они выныривали из погреба, из ледяного своего подземелья, только ночью — побаивались человеческого глаза. А теперь им хоть бы что. Глаз человеческий помутился, ничего в нем от прежней силы не осталось. Побоятся еще человеческой руки,

поэтому ближе чем на два — на три шага не подпускают, а если дальше стоишь — и в ус не дуют, будто они хозяева в доме, а не люди.

Адам, нарекая всякую тварь, дал имя и этой гнуси — назвал их крысами, «грызами», т. е. грызунами, — смысл их в том, чтобы грызть, подгрызать, чтобы греча стала горькою, чтобы всякий груз полезный обратился в грыжу, в мешок с крысяками, в грусть, в горечь. На средневековых миниатюрах грызут они древо жизни, еле держится ствол, источенный временами, а все стоит. Да ведь раньше и на время была оборона, хитрая была крысоловка — календарь, хомут зодиака на зверином жерле вечности. Ах, нет теперь даже и календаря, все ненастоящее крутом, все, прости Господи, соплями склеено.

Уйти из дому, бросить и загаженные припасы, и подгрызенную утварь, а перед тем — подпалить все это к черту, все равно ведь прадедовская ветхая постройка скоро пойдет на слом. В газете какое уж лето подряд печатают мечтания главного архитектора о том, какие тут диковинные голубые города вырастут на месте наших развалюшек, новая земля и новое небо, почище, чем в Апокалипсисе.

ПИКОВАЯ ДАМА (ЭТОТ РАССКАЗЕЦ МОГ БЫ НАПИСАТЬ И Я САМ)

Ночью с поезда сходят пассажиры. Мне холодно. По улице грохочут шаги, разлетаются белесые брызги. Булькают водосточные трубы. Крысы грызут паутину. В тумане мычат коровы. Все вокруг боятся Пиковой Дамы, хоть и не говорят об этом. Одним она кажется женщиной, другие считают ее чудовищем, третьи утверждают, что она — огромное насекомое; непреложно одно: все, видевшие ее, погибли.

Я лезу в канализационную трубу, мои плечи упираются в стены, я горбун. Я ищу Пиковую Даму; я не хочу ее убить, как другие, мне бы только ее увидеть. Труба расширяется, становится резиновой кишкой; теперь мне уже не выбраться из внутренностей Пиковой Дамы. Должно быть, я уже умер, как те, что, не оставив следов, исчезли до меня. Кишка делается все толще, тверже, принимает геометрическую форму, превращается в подземный переход, по которому я качусь навстречу смутно белеющему отверстию; оно все сужается и сужается. На грани падения мне с трудом удается задержаться, ухватиться за края. Я окаменел. Я совсем голый, неприкаянный, одинокий.

Я сижу, свесив ноги в пустоту. Подо мной — беспредельная равнина и необъятное желтое небо, безлунное. Ни звука. Пустое пространство, на котором темными буграми вырисовываются дальние леса. Но отсюда я смогу увидеть Пиковую Даму. Я совсем один, на мне коротенькие штанишки и тяжелые башмаки, я не знаю, сколько мне лет.

Я вижу ее, Пиковую Даму! Она идет. Ее черное тело волочится по равнине, подминая травы. От нее падает узкая тень, как от огромной марионетки. Мне кажется, что я различаю ее позвоночник. У нее длинные сухие руки, на которых болтаются волосатые кисти. Не кисти — пучки шерсти. Вместо головы — мохнатая кудель, держащаяся на одной ниточке. Тень растет, удлиняется, наклоняется, вот-вот окажется прямо надо мной. Меня охватывает страх при виде этого призрачного тела. Как всякое чудовище, Пиковая Дама одинока. Я почти что влюблен в нее, но в то же время боюсь, как бы она меня не заметила, не полезла за мной на трубу. Зачем я ей нужен? Я с ней, потому что вижу ее. Нет, я вижу только ее тень, которая на нее не похожа.

Крестьяне рассказывали, что пытались ее убить, убивая это огромное дряблкое тело, но только попусту потратили силы. Теперь окрестные деревни обезлюдели, а кто в них остался — попрятались по домам. И показываются лишь днем, собирая то, что осталось на брошенных полях. Никто, однако, не уверен, что Пиковая Дама желает зла своим жертвам. Ее боятся бессознательно, как смерти.

Я наклоняюсь, чтобы получше ее разглядеть. Но теперь она кажется мне очень далекой, напрасно я тянусь к краю пропасти. В трубе, позади меня, что-то шевелится. Когда я резко оборачиваюсь, один из моих башмаков ударяется о

стену, и вся труба начинает гудеть. В долинах отдается эхо. Я дрожу, не в силах ни отступить, ни двинуться вперед. Что-то мохнатое, горячее, липкое хватает меня под мышки и поднимает, у меня нет сил отбиться. Я теряю сознание в объятиях Пиковой Дамы.

ДУРНАЯ БЕЗДОННОСТЬ МИРА. ПЕРВОЕ ВИДЕНИЕ РАЯ

Пошел как-то раз на рыбалку, и по дороге страшно захотелось пива. Подвернулась забегаловка, неопрятный, но совсем пустой шалманчик; захожу, спрашиваю полкружки. Грязная, в тон своему заведению, хозяйка засуетилась вокруг. Сейчас, сейчас. Готовит бутерброды, мажет покоробившиеся от старости куски хлеба какой-то дрянью, готовит салат черт знает из чего. Уходит за пивом. И сутки проходят, и другие, и третьи — ее все нет. А тут еще новость откуда взявшиеся пьяные рожи, ну прямо из гоголевских кошмарчиков, лезут лапищами в миску с салатом, икают и сопят. Ах, сообразить бы мне сразу, куда я попал, не прикасаться бы к поганой этой отраве. Отдал им закуску: жрите, только отвяжитесь. А время все идет. Наконец выплывает хозяйка, приносит долгожданный стакан: слава тебе, Господи! Чуть не выхватываю заляпанный сальными отпечатками граненый сосуд у нее из рук, подношу к губам. Глотаю и тут же сплевываю: вместо пива в нем омерзительная теплая и сладковатая жижа, вроде какао. Но крепкая, голова тут же закружилась. Расплатиться бы поскорей — и попасть к вечерней зорьке на заветное клевое местечко. Но хозяйка, по своему обыкновению, пропала. И снова жду ее целую вечность, все моя щепетильность проклятая, неудобно уйти втихую. Ага, появилась! Только теперь это уже не хозяйка, скорее хозяин. И уж такой радушный:

— Да куда же это вам тащиться на ночь глядя? Клев давно закончился.

И правда, темным-темно за пыльными окнами. А он все долдонит:

— Охотник вернулся с холмов,

С моря вернулся рыбак,

Все, окромя дураков,

Поспешают в кабак.

Кинул ему рубль, вышел, все равно теперь, куда идти. А он не отстает, вьется вокруг, вынужден показывать дорогу. Ковыляем вниз по черной улице, обсаженной древними вязами, и хоть бы один фонарь где-нибудь, хоть бы окно какое зажглось. Булыжник под ногами постепенно превращается в металлические сочленения, вроде гусениц трактора или танка, они оживают, начинают понемножку двигаться, шевелиться. Отдельные куски мостовой переползают, скрежеща, с места на место. Одни — вправо, другие — влево, но вся их дребезжащая масса неуклонно, как льдины в ледоход, сползает вниз по течению.

Не удержался на ногах, упал. Шушат ржавые льдины, хрупают каменные зубы, ледяные сочленения несут меня вниз, к глухо чавкающей дыре. О, пасть адова! Врата-челюсти, особенно страшные, потому что механические. Перемололи меня, и я, уже лишенный привычного обличья, соскальзываю в подземелье, в преисподнюю глотку.

В самом низу очнулся, встряхнулся. Бог миловал, все страхи позади. Иду себе просторным крытым переходом. Очень светло, много народу — и все выряжены будто на карнавал. Масса духовных лиц, католические прелаты, кардиналы какие-то, как в фильмах о средневековье.

Я — Александр Блок, я ищу Прекрасную Даму, она мельком привиделась мне, когда я погружался в адову пасть, я только теперь об этом вспомнил.

Останавливает меня кто-то из местных, с виду итальянец; не по-современному живое и умное лицо, фиолетовый балахон, профиль с ренессансных медалей, — останавливает и показывает нечто соответствующее пресловутой «красной книжечке», какую-то, в общем, хреновину, дающую ему надо мной безусловную власть. Делать нечего, приходится выслушать этого лилового клирика. Долго и красноречиво, на отменной латыни, с массой риторических выкрутасов, убеждает он меня, что «Ее» здесь нет, что «Она» давно уехала, что смеется надо

мною, что я веду себя как мальчишка и что, если говорить начистоту, никакая «Она» не «Прекрасная Дама», а, по словам поэта:

...долгоносая девчонка,
Колченогая, с хрипотой в глотке,
Большерукая, с глазом, как у жабы,
С деревенским нескладным разговором, и т. д.

Постепенно до меня доходит, что я снова очутился в Австро-Венгрии, в кра-
савице Праге. Но время действия теперь — XVIII век.

Когда мой собеседник начинает пересказывать мне историю Энея, то и дело
возвращаясь к тому, как этот деятель загремел в ад, мимо пролетает карета,
«Она» выглядывает из окошка, машет рукой. А я не могу броситься вслед — под-
земельный латинист крепко ухватил меня за рукав и долдонит:

...сновидений лживое племя
Тут находит приют, за каждым углом притаившись...*

Наговорился, отпустил. Только расставшись с ним, я понял, до чего он по-
хож на хозяина забегаловки: только побрился, умылся, вырядился в шелк, насо-
бачился цитировать Катулла и Вергилия.

Бегу, бегу со всех ног, сворачиваю в большой зал, расписанный по всем че-
тырем стенам. Фрески работы Арчимбольдо — вот это открытие! На репродук-
циях я ничего подобного не видел. Изображены четыре стихии, по одной на
каждой стене: огонь, вода, земля, воздух — со всеми их обитателями и стихий-
ными духами.

Вода.

Нечто вроде прилавка с косо приставленной зеркальной доской, создающей
впечатление зыбкости и бездонности. На нем навалом рыба соленая, копченая,
вяленая, мороженая — но живая. Отдельно — икра и молоки, тоже странным об-
разом живые. Груды раковин, поросших нитями мха; я отчетливо вижу каждый
их завиток, каждую шероховатость, наималейшую крупинку извести, из которо-
го они состоят. Особенно страшны ободранные копченые селедки в перламутро-
вой плеве. Они извиваются, дрожат, тщетно пытаются скрыться в глубине зер-
кала, заслониться лепестками чужих тел.

Бросаюсь к следующей фреске. Силуюсь как можно пристальней взглядеться
в нее, проникнуть во все бесконечное разнообразие форм мира, запечатленных
здесь, в пражском подzemелье, волшебной кистью Арчимбольдо. Но тут случает-
ся ужасное. Если при первом взгляде показалось, что все росписи разные, что
каждая полна неповторимых чудес, то теперь я вижу, что повсюду, как на деше-
веньких обоях, множится один и тот же зловецкий завиток, один и тот же инфер-
нальный мотив: безобразные отростки покрытых известью раковин, груды жи-
вого мяса, корявые сучки и комья земли, паутина лишайников, — и все это по-
дернуто черно-красной копотью.

Мечусь по кругу, бьюсь о стены, как муха об оконное стекло: нигде нет вы-
хода. Я сам стал завитком этого чудовищного узора. Еще миг — и все будет кон-
чено. И только тут вспоминаю, что, собираясь на рыбалку, не забыть бы сунуть в
карман старый складной ножик, мамин подарок ко дню рождения, — мне тогда
десять лет исполнилось:

В путь отправляйся, Эней, ихвати меч свой из ножен:
Вот теперь-то нужна и отвага, и твердое сердце!

Бью ножом по стене. Ага, это же не фреска, это панно на гнилом холсте,
холст лопается, расходится. Хватаюсь руками за края, раздираю. Но там, чуть
поглубже, еще одна ветхая завеса, размалеванная точно такими же символами
мертвой жизни. Кромсаю, раздираю, погружаюсь во чрево этой однообразной
мертвописи. Режу, рву, буравлю. Все без толку. Нет конца. Все те же шерохова-
тые отростки, то же дикое черно-красное мясо. Дурная, дурная, дурная бесконеч-
ность! Детское мое оружие не в силах победить ее бездонность.

* Переводы из «Энеиды» Сергея Александровича Ошерова, мир его праху.

В последний раз ударяю ножом и опрометью кидаюсь прочь, все равно куда. И выход сам собой находится. Оказывается, я просто свалился в наш погреб — ступеньки осклизлые, ненадежные — свалился и потерял сознание, долго пролежал на холодном полу. Крысы там так и шастают.

За дверями погреба — июнь, тихая улочка, поросшая травой, удилище возле стены, милая родина. Соседская девчонка топчется в сухом русле ручейка, силится пальцами босой ноги ухватить гладкий камешек. «Долгоносая девчонка» — прав был лиловый прелат. Закукарекал где-то петух. Облачко набежало и тут же растаяло. Тихо. Детство. Рай.

TUNICA SACRA

Одно время, давно уже это было, зачастил я в капище Инволюции, то самое, где «львы на выротах», дварапалы с выпученными глазами. Ассирийские мясники ставили у дверей «Шеду», пятиногих быков, но это уж так, к слову пришлось. А за воротами — броневички. Смотрительницы поначалу только диву давались:

— Вы что, на лекцию?

— Вы с какой экскурсией — не из Днепропетровска? А то тут один взял и потерялся, потом с милицией искали.

— Нет, — отвечаю, — я просто так, я сам по себе, интереса ради хожу, а не в порядке мероприятия. Любопытно взглянуть на выставленные в вашем храме реликвии.

— А!

Потом привыкли.

Я, собственно, ради одной вещи туда таскался, ей был выделен особый киотец в зале Великого Обобщения. Не знаю, как сейчас; сейчас мне туда недосуг, да и нагяделся; впрочем, там ремонт уже года три тянется, и все закрыто. Там тоже перестройка идет.

Это была до белизны застиранная рубаха, простая николаевская гимнастерка, но вся расшитая сакральными знаками, будто не фабричное хабэ стебали, а раскроили ветхий подзор со свастиками, хризмами и чакрами, с прадедовских времен висевший в красном куту под иконами где-нибудь в пустозерской глухомани.

Хотя нет, при чем тут Пустозерск, при чем тут старинные подзоры, вот же табличка внизу: Тамбовская область, и год обозначен — то ли двадцать первый, то ли тридцать какой-то, не разберешь, темновато.

А носил эту спецовку кулацкий выродок, с оружием в руках поднявшийся на защиту прав человека — защищать свою сотку земли, ломать хлеба на столе, лампадку под образами, буренку в варке*, — поднялся в ту пору, когда права эти самому сиволапому Ваньке еще казались естественными, священными и неотъемлемыми.

Так и представляется мне: изба темная, «карасинчику» с четырнадцатого года не завозили, искры от лучины шипят в жестином поддоне с водой, баба сидит под светцом, ранит быстрой иглой линияющую тряпку — и кровавым выпотом проступают на ней древние знаки: то шестилепестковая чакра, развернутый в плоскости символ четырех углов мира, его высоты и глубины, то свастика, круговращение вселенной вокруг ее божественной оси, то залог воскресенья, пасхальная хризма.

Преображает она николаевскую гимнастерку в одеяние воина-жреца, идущего на последнюю брань. А он обрез достал из подполья, смазывает лампадным маслом.

Вот вчера по телевизору в который раз внушали, будто добро непременно восторжествует над злом. Кто же спорит. Да только добро — это довольно абст-

* Крытый скотный двор.

рактная идея, и не всякому ее живому защитнику и поборнику дано дожить до обещанных по телевизору торжеств.

Истребили и этого — последнего — воина, и рубаху с него содрали с такой же мясницкой сноровкой, с какой ассирийские цари свеживали своих пленников, — содрали и выставили на посмеяние в тусклом зале своего капища.

Да ведь и смеяться некому. Никто туда не заглядывает, разве что в порядке мероприятия. А и заглянет — не увидит.

Один я здесь стою, молюсь на эту рубаху, и воистину веет от нее духом святым: tunica sacra.

МОСТ. КНИГА ЖИВОТНАЯ. ВТОРОЕ ВИДЕНИЕ РАЯ

Привиделось лет шесть назад, и запись о важном этом событии где-то, думаю, валяется, но не отыщешь по нашей тесноте, а сюда вставить необходимо. Привожу по памяти.

Бессонница и долгая — хоть и невольная — аскеза помогли мне впервые в жизни в полном сознании перейти мост и ступить на тот берег.

До середины шел, как все — вразвалочку, поплеывая за перила, и хоть по сторонам глядел, но ничегошеньки не видел, словно слепой. А ближе к середине ступил на гнилое место, до пояса ушел в дыру, изорвал бока и ладони ржавыми гвоздями, занозил колючей щепой, — еле выбрался и враз как будто прозрел.

Слева стояла, по самый подгрудок в воде, корова с телкой, а справа — две такие же, но разной масти; ростом они были повыше мостовых быков и большого на меня страху нагнали: а ну как бросятся? Но нет, спокойно, не шелохнувшись, стояли и смотрели поверх меня печальными коровьими глазами.

Мост сделал загогулину почти под прямым углом, и на самом повороте опять был провал, но я его издали разглядел и перепрыгнул. В последний раз оглянулся: три мои жены и дочь так и не шелохнулись. Вот и застава мостовая у того берега: деревянный барьерчик, проходная будка и сторож или, лучше сказать, вахтер, — телогрейка, седая щетина на щеках, ржавые ключи на поясе.

— А, — говорит, — здравствуйте, товарищ Стефанов, давно мы вас ждем.

И указывает на громадную замусоленную книгу.

— Платите пошлину и распишитесь вот здесь.

Я стал судорожно шарить по карманам, неужели ни копейки нет? То-то будет удовольствие несолоно хлебавши назад тащиться! Но — совсем как в романе какого-нибудь Диккенса или Гюго — отыскалась в дыре за подкладкой (вот счастье-то, что пиджак протерся!) монета, гривенник позеленевший, лепта моя убогая. Протянул ее вахтеру и спрашиваю:

— Так где расписаться-то?

— А вот тут, — тыкает желтым от махры пальцем.

Ищу, бегаю глазами вверх и вниз по странице: нет меня. Сплошь идут Стефаники, Стефановичи, Стивенсоны... Даже какой-то Стефан Мурму затесался... Аж холодным потом прошибло. Пропал. И собрался было возвращаться назад, на верную погибель, как вдруг словно что толкнуло под руку. Взял вахтерову самописку, обмотанную лейкопластырем, высмотрел местечко и чиркнул:

— Стефанов, такой-то и такой-то.

Глядь — напротив моей фамилии сам собой сложился столбец с «биографическими данными» и марка, вроде профсоюзной, только уж больно красивая, будто Рублев рисовал.

— Ну, хитер, ничего не скажешь, — усмехнулся Св. Петр, — проходи, коли так.

А на том берегу — милая родина, тихая улочка, поросшая травой, и колоколенка в углу огорода.

Пошел, благословясь.

* * *

По ночам, когда не спится,
Все нейдет из головы,
Все мерещится мне птица
Наподобие совы.

Дивным зрением совиным,
Взятым до утра взаймы,
Я блуждаю по теснинам,
По змеиным кольцам тьмы.

Трех миров они пронзили
Триединый окоем,
Но увидеть их не в силе
Те, кто зрячи только днем.

В них нельзя не заблудиться,
Но страшнее наяву
Прямиком идти без птицы,
Что похожа на сову.

Свет извне идет лавиной,
Гасит светочи внутри.
Птицу вещую Афины
Днем не взять в поводыри.

Меркнет мудрый взор совиный
В тусклых проблесках зари.

1970—1986; 1989

ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ДИКОЙ СЕРНЫ

Рассказ

Игорь Петрович Обув любил региональные производственные совещания, — вернее, то, что было с ними связано: загадочную суету аэропортов, полусонные уездные города, гостиницы, рестораны...

И — женщины.

Как правило, в «заезде» попадались одна-две мордашки, за которыми можно было приударить, почувствовать себя снова не Игорем Петровичем, а кем-то другим, более беззаботным и независимым, ведь возраста еще не так много — меньше сорока.

На этот раз складывалось удачно. Южный российский город, где уже цвели каштаны, а воздух был такой свежий, что пах огурцом. Гостиница стиля «репрессанс», подвытершаяся, но все еще солидная, достойная регионального совещания. Когда же Обув вошел в номер, там уже был сосед, и оба сразу понравились друг другу. Тоже пустячок, а приятно. Выяснилось: коньяк оба предпочитают армянский, хотя любят и молдавский; оба не храпят во сне и тщательно промывают бритву; оба не в первый раз на совещаниях и видят в них одинаковые достоинства.

Разница была только, что Роман Матвеевич Единархов был уже сед и плотен и после коньяка ценил покой.

Совещание потекло привычно: президиум на красном фоне под лозунгом-головоломкой «Слово коммуниста — его дело»; трибуна, рутинно меняющая ораторов; звон графина о стакан; папка из липкого дерматина, а в ней блокнот, куда Игорь Петрович записывал нужное — для отчета и интересное — для себя.

Но интересного было мало, зато было время рассматривать зал. Вон там Некурящев, от него подальше: занудлив, бесполезен и противен тем, что хватает собеседника за одежду. Рябушев Иван Пантелеевич сильно сдал, совсем серый сидит... Шахраманов Шариф Туктарович, восходящая звезда Госплана, с ним надо пообедать. Много новых лиц, молодые какие-то... что ж, время такое, пофартило молодым.

Некоторые молодые вертелись, шептались, кусали авторучки. М-да, не впитали пока нужного лоска, отметил Обув. Вон тот головой покачал, кривится... Эмоции! Старые львы как сели в кресла, так словно окаменели. За два часа не пошевелиятся зря. Даже если сам министр перед ними со сцены помочится — мускулом не дрогнут, только в кулуарах сдержанно скажут: «Что ж, у начальства не без причуд...»

«Матерые перестройщики!» — весело подумал Обув, глядя на каменные затылки.

И вдруг — задело.

Он увидел.

Игорь Петрович любил именно эти первые моменты узнавания будущего романа, когда ничего еще толком не известно, когда такого можно навообразить! Потом все будет скучнее, глупее и наверняка пошлее.

А пока душа пусть поет.

Он не сдержался и, хотя это было не в его привычке, толкнул не изменяющего ему и в зале Единархова и шепотом сообщил:

— Нашел.

Роман Матвеевич сразу понял и кивнул, не повернув свой римский профиль. Обув почувствовал себя мальчишкой, но все равно было азартно и радостно.

В начале перерыва он спокойно, как будто сообщал о каких-то рутинных делах, сказал Единархову:

— Светлая. В синем. В пятом ряду.

Тот, полуобернувшись, пустил беспромашный взгляд.

— М-м... вкусная.

Но было все не так просто. Существовали еще какой-то пухлый с тонкими губами и бачками и курчавый с залысинами; оба так и вились вокруг светлой в синем. Но хуже, что с ними обнаружился еще стройный, седой в сером. Это было серьезней.

И никто из них не был знаком Игорю Петровичу.

«Ах, вернисаж, мучитель наш, вы не одна, какой пассаж!..»

Напевая про себя эти навязчивые словечки, Обуев прослонялся перерыв в фойе, издали поглядывая, как вся компания вьется вокруг светлой. Подойти так и не удалось.

Отсидели вторую часть. Отобедали.

— Ты куда теперь? — спросил Единархов.

— Да так... пройду по улицам, в магазины заскочу.

— А... Ну в добрый час, а я — отдыхать.

Игорь Петрович любил ходить по незнакомым улицам, открывая для себя невиданные прежде виды. Особенно ему нравились уютные старинные центры, он мог долго стоять перед каким-нибудь напыжившимся теремом, хмыкая и восклицая про себя: вот ведь, звери, строили! И почему, интересно, лепные финтифлюшки у них до сих пор не отваливаются? Хотя на лице он старался особых восторгов не отражать. Умный, серьезный человек всегда помнит, кто он в данный конкретный момент: профсоюзный турист или участник совещания.

Город славился конфетами, жена велела купить конфет — и он нашел их. Купил старшему сыну складной нож, а младшему — набор для удочки и модель подводной лодки.

Когда Игорь Петрович вернулся в гостиницу, небо уже заливал закат, похожий на манную кашу с малиновым вареньем. Роман Матвеевич лежал в постели, читая — Обуев посмотрел — модное «Новое назначение» Александра Бека.

— Что так поздно? Гляди: ужин пропустишь!

— А!.. Не голоден.

Игорь Петрович махнул рукой абсолютно откровенно. Сидеть одному в ресторане, похожем на станцию метро, зная, что вокруг единственной приличной женщины увиваются другие!

— Ну, как город?

Игорь Петрович в подробностях рассказал старшему товарищу: где был, что видел, показал покупки. Единархов одобрил: все куплено со смыслом, практично.

Потом, глядя, как Обуев потянул покрывало с кровати, Роман Матвеевич сказал с каким-то тайным сомнением:

— Ты что — уже ложишься?

— Немного почитаю... А что здесь делать?

— Да так... Ты, вроде, нашел общество более приятное, чем я?

У соседа голос смягчился до бархатного баса, и Игорь Петрович почувствовал в этом голосе теплое электричество воспоминаний.

— Не так это просто, Роман Матвеевич.

— М-да, бывает непросто...

И снова в голосе послышалось приглушенное эхо тайны.

Совещание шло степенно, гладко. На второй день стало окончательно ясно, что неожиданных поворотов не будет.

«А раньше так хотелось ветерочка! — подумал Обуев. — А вот — задуло, и уже ценишь тишь. Непостоянна натура человеческая!»

Глаза его все чаще поворачивались в одну сторону, где он видел шею и край прически. Впрочем, у него бывало и раньше, что глаза поворачивались, и он считал это вполне естественным даже на совещаниях. Даже на таких солидных. Единархов, очевидно, почувствовал его романтическую расслабленность, а может, вспомнил вчерашний разговор, потому что после объявления перерыва вдруг спросил:

— Вон та милая блондинка, если не ошибаюсь?

— Увы, да, — сказал Обуев, видя вокруг «той милой» все тех же немилых, — но расклад...

— Да, расклад, — согласился Роман Матвеевич. — Хотя люди вроде знакомые. Потапченко из Сельхозпроекта...

— Какой из них?

— В кудрях.

— А седой?

Седой явно был главный соперник.

— Амедашвили, тоже ихний.

— Познакомьте, Роман Матвеевич. Что для этого нужно?

Единархов сощурился, как ласковый кот.

— Хороший коньяк и — денег не жалеть.

— Не пожалею.

— Тогда вечером в город не ходи.

Вечером они вместе вошли в ресторан часов около семи. Распорядитель предложил им места в центре, под самой огромной люстрой в нежном хрустальном инее. Зал уже наполнялся. Обуев еще от дверей увидел, что светлая со всей свитой сидит в углу. И платье на ней теперь было светлое, не синее, конторское, как днем.

— Что будем? — спросил Роман Матвеевич, открывая толстые створки меню, похожего на папку «К докладу».

Обуев хотел было сказать, что аппетита нет, но это было бы совсем смешно: возбудился, как мальчишка.

— Коньячку грамм двести, лимон, салат.

— Нормально для заправки, — одобрил Единархов. — Ну и я тоже. За компанию, хе... сам знаешь, кто удавился!

В углу уже шумели, говорили громко.

— Как оркестр придет, мы к ним подсядем, — сказал Роман Матвеевич, выпив первую рюмку и угадав мысли Обуева.

— Я в вашей власти, — подобострастно пошутил Игорь Петрович.

Время тянулось, и он для поддержания беседы спросил:

— Роман Матвеевич, вы-то присмотрели себе кого-нибудь?

— Я больше м-м... рубенсовских люблю.

Наконец пришел оркестр, быстро расселся и грянул что-то оптимистичное, но приятное, если б так не визжала труба.

Единархов поманил официанта. Он и Обуев расплатились, а Роман Матвеевич спросил:

— Можно принести бутылку коньяку вон за тот столик?

— Извините. Не могу. Там я не обслуживаю.

— Даже здесь ведомственность развели... — поднимаясь, насмешливо сказал Единархов. — Пошли, Игорек, нанесем визит.

Обуев послушно встал. «Зря ввязался, столько народу...» — пролетела мысль.

Но веселый азарт тут же подхлестнул, ударил вместе с коньяком в голову и в грудь.

Огибая столы, они пошли под взвизги трубы туда, где сиял шевелюрой седой и светлым туманом мелькало платье. Роман Матвеевич шел неторопливо и ровно. Обуев невольно стал подражать ему, но все равно казалось, что слишком машет руками и виляет ногами.

«Вот ведь, старая выучка... идет, как оперный царь!»

Когда подошли к веселой компании, музыка кончилась и долетел обрывок разговора:

— ...он мог бы ему угол загнуть на личном деле, но обошлось.

— Здравствуй, Нугзар, — сказал ровно, как и шел, Роман Матвеевич. — Пируете?

— Ба! Роман Матвеевич! Дорогой!

— Можно присесть?

Глаза седого сверкнули, как хрустальная рюмочная грань.

— Конечно! Мы ведь ныне исходим из безумпции демократизма!

Из остряков, подумал Обуев.

— Это вот Игорь Петрович, мой коллега.

Обуев слегка поклонился.

— Очень приятно, — сказали голоса.

Светлая в кремовом платье сначала подняла глаза на подошедших, потом стала смотреть на вазу с фруктами, наконец взяла яблоко и стала чистить.

— Роман Матвеевич, садись! — седой уже встал и щелкал пальцами. — Где он там, этот парень?..

Официант летел мимо, Обуев интимно подхватил его под локоть.

— Пару стульев, друг, и бутылку коньяка. Лучшего в городе.

Он сунул ему в руку четвертной.

— Понял.

Тут же официант подхватил два стула по соседству и поставил, куда надо. Роман Матвеевич сел рядом с седым, а кудрявый и пухлый с бачками потеснились, усадив Обуева между собой.

— Сейчас приборчики!.. — прокричал официант, потому что снова зашпарила музыка.

Игорь Петрович сказал какие-то вежливые слова, засмеялся нерасслышанной шутке курчавого. Он чувствовал, что взгляд его слишком часто возвращается к светлой напротив. Она тоже один раз рассеянно поглядела на него.

Перед Единарховым и Игорем Петровичем появились приборы и рюмки. В них сразу же налили водки (на столе стояли только «Пшеничная» и вино), но отказываться было неудобно.

— За встречу!

Игорь Петрович выпил, оскорбив вкусовые ощущения. Скорей бы коньяк принесли!

Оркестр перестал раскалывать воздух, трубач и контрабас бросили свои инструменты и куда-то ушли.

— Простите, из-за этого шума, называемого музыкой, я плохо расслышал ваши имена, — сказал Обуев соседям.

— Потапченко, — сказал кудрявый, — Иван Григорьевич.

Пухлый был Ратмир Львович Самотохин.

Обуев перевел глаза напротив, но седой Нугзар вдруг закричал:

— Молчите! Все молчите! Пусть отгадает, как ее зовут. Если с трех раз не сможет — выпьет вот эту бутылку!

«Эге, да они все из одной конторы», — по фамильярности тона догадался Игорь Петрович.

— Давай, дорогой!

Игорь Петрович едва заметно усмехнулся. Примитивная проверка на кретинизм.

— Знаете, я как-то ехал в поезде, и в купе со мной ехали два брата, которых звали Лаэрт и Гамлет. Я их спросил: «Скажите, а сестра у вас есть?» Говорят: «Есть». «Ее случайно не Офелией зовут?» Они страшно удивились: «А вы разве ее знаете?»

Новые знакомые — Потапченко, Самотохин и Амедашвили — засмеялись, но Обуеву было все равно, смеются они или кашляют. Главной наградой здесь был быстрый взгляд глаз напротив. Каких глаз! Как будто вдруг Игорь Петрович заглянул в чужую тревожную вселенную. И туда он был готов в ту же секунду улететь.

— Э! Э! — Нугзар погрозил пальцем. — Ты нас не путай! Отгадай, как девушку зовут.

Обуев поглядел на светлую, но она снова опустила глаза. Обуевские соседи заухмылялись, и даже Единархов хохотнул.

«Устроили балаган, собаки!» — злобно подумал Игорь Петрович.

Он хотел снова отшутиться, но тут увидел, как губы под опущенными глазами чуть вытянулись, приоткрываясь.

«У»... или «с»?..

И тут же догадался: «с» — светлая — Светлана.

— Тут и думать нечего. Зовут Светланой.

— Ай, молодец! — восхищенно закричал седой Амедашвили. Потапченко заквакал дегенеративным смехом, а его въедливо-коричневый пиджак мелко затрясся.

Игорь Петрович, сидя среди веселящейся компании, смотрел на светлую, а видел как бы со стороны себя с карими, чуть глубоко посаженными глазами, с чистыми холеными волосами, в которых уже тут и там продергивалась седина. В этом была его сила — уметь видеть себя со стороны, и он это знал.

— За знакомство! — Седой вскинул рюмку.

Выпили.

— А чем вы занимались до тысяча девятьсот восемьдесят пятого года? — с нарочитым акцентом спросил Амедашвили, непонятно кого желая изобразить, может быть, Лаврентия Павловича, а может быть, и Самого.

Обуев догадался, что в него опять тыкают шпагой, желая испытать на глазах у дамы.

— Укреплял развитой социализм.

Спрашивавший довольно кашлянул и сказал, обращаясь к Единархову:

— Бойкий у тебя друг. Такие, наверное, и в анкетах пишут: «социальное происхождение — из перестроечной интеллигенции».

— Разве плохо, что бойкий? — резонно ответил Роман Матвеевич. — Время-то, сам видишь, какое.

— Слушай, верно говоришь!

Разговор переключался к двум старым знакомым, угаданная Светлана рассеянно смотрела куда-то в зал, но Обуев почувствовал, что им заинтересовались. Он и сам не мог объяснить, как почувствовал это. Так, как чувствуют запах... Нет, не так. Как чувствуют сквознячок из вдруг приоткрывшегося окна... как вдруг ощущают близкую отгадку сложной задачи... Какая она?

То, что светлая молчала, не лезла в разговоры, нравилось Обуеву и интриговало. Какой у нее голос? Может быть, она немного шепелявит? Обуев вспомнил одну свою знакомую, которая шепелявила, и это очень возбуждало.

В ресторанном шуме задрожала нота, оркестр незаметно вернулся к брошенным инструментам, но уже с певцом, который стал тут же клевать ногтем микрофон. У певца зоб плавно переходил в белую крахмальную грудь. Приглашен из местной оперы по случаю совещания, подумал Игорь Петрович.

Но куда же провалился халдей с коньяком?

Остряку Амедашвили появление солиста подсказало новую забаву.

— Ваня, дорогой, видишь, там сидит Семен Семенович Дейниковский из Лесбумпрома? Сделай ему приятное, попроси маэстро спеть «Славное море священный Байкал».

Потапченко, к которому относилась эта властная просьба, не заставил себя ждать. Из всех ассессоров за столом — самый коллежский, догадался Игорь Петрович.

Кто-то тронул его за плечо.

— За задержечку извиняюсь. Самый лучший, «Арагви». Пришлось в бар посылать. С вас еще двадцать.

Обуев выхватил портмоне, как пистолет, и лиловая бумажка искрой проскочила между двух рук.

— Держи, старик. Спасибо.

Официант с поклоном отъехал.

— Прошу извинить за нахальство, — сказал Обуев. — Как говорится: от нашего стола — вашему столу...

При виде коньяка подал голос пухлый Самотохин:

— Предлагаю эту (ткнул в «Арагви») после выпить у нас в номере. Идет?

— Ай, молодец! — закричал Амедашвили. — Голова!

Но не было понятно, к какой голове это относилось: к пухлой с бачками — самотохинской или к кудрявой с залысинами — Потапченко, потому что как раз в этот момент мощный голос раскатал на весь зал:

— Сла-авное море священный Байка-ал!..

Соседи Обуева тут же захихикали, но Игоря Петровича не привлекал их межведомственный юмор. Он заметил, что Светлана смотрит на него, и тоже отвел ей взглядом, чуть повернув голову. Он знал: если смотреть, немного скосив глаза, то получается многозначительнее. На этот раз глаза напротив задержались, прежде чем ускользнуть.

У Игоря Петровича против воли судорожно дернулись скулы.

Он, видимо, на какие-то секунды отвлекся и поэтому не понял причины оживления за столом и восклицаний:

— Встает, смотри, встает... Сюда идет!.. Да не сюда вовсе... Идет, идет, гляди!.. Разобрало Семен Семеньча! Бровью игра-ает!

Действительно, между столов пробирався плотный человек, сделанный из квадратов; брови у него пытались компенсировать лысину. Подойдя, он сказал с благодушной угрозой:

— Это вы, пьяницы, песню заказали?

— С чего вы взяли? — за всех с вызовом вскинулся Амедашвили.

— По вашей щенячьей радости понял.

— Ай, дорогой! Ай, Семен Семенович! Ну, молодец! — восхитился седой. — Садись!.. (Семен Семенович сел, и ему сразу налили.) Пусть эти руки, обгаренные народными деньгами, поднимут эту рюмку и — выпьем за совещание!

— Почему же обгаренные? — все так же благодушно спросил подошедший.

— Газеты читаем! — хихикнул Потапченко.

Семен Семенович прикрыл глаза.

— Газеты сегодня одно пишут, а завтра, глядишь, другое. А государство никто пока не отменял.

Амедашвили захохотал, чокнулись, выпили, и он сказал:

— Не обращай внимания, дорогой: дружеская критика в рамках гласности.

Семен-Семеновичевы глаза снова прищторились, скрывая дьявольский сдержанный блеск.

— Позвольте, гласность не имеет рамок.

Амедашвили опять ничего не оставалось, как захохотать.

«А не глуп!» — с удивлением отметил Игорь Петрович, разглядывая едко-синий костюм Дейниховского и брови крыльями. Амедашвили сквозь музыку отпустил еще какую-то шутку (слышно было только: «...это у нас бывает: не успеем начать новое дело — уже оговариваем, за счет чего списывать убытки...»), но Семен Семенович все так же ровно сказал:

— Да погоди ты с ерундой. Говорят, дачи будут отбирать. Ты что-нибудь слышал?

Слово сразу стало душиться и роиться: дачи, дачу, о даче... Или уже пошучивал хмель?

— Может, все-таки к нам перейдем? — подал в вопросительной форме предложение Самотохин.

Действительно, чтобы продолжать беседу в таком же темпе, пора было перебираться в другое место. Свой этикет имеется не только в Виндзорском дворце. По этому этикету (по своему, а не по виндзорскому) вожденная Светлана также должна была сказать что-то вроде: «Как спать хочется... Мужчины, вы не будете сердиться, если я...»

Игорю Петровичу не хотелось, чтобы она ушла, он стал передавать ей это мысленно и так — косо скользнувшим взглядом. Он видел, что светлая поняла, и услышал, как она тут же произнесла (голос был прохладно-чистый и не шепелявил):

— Нугзар Александрович, я сегодня плохо спала, поэтому...

Но она не успела договорить, а Обуев — как следует огорчиться. Амедашвили так страшно посмотрел на нее, что голос пресекался, а вместо — зарычал его баритон, в котором снова прорезался совершенно мастерски сделанный опереточный грузинский акцент:

— Жэнщина! Нэ буди во мнэ тыгра!

Центр маленькой галактики не соглашался остаться без планет.

— Нугзар Але...

— Ныкаких! — прокричал седой. — Компанию рушить нэ дам! И Семен Семенович, и наш друг Игорь э...

— Петрович, — подсказал сам себя Обув.

— ..умоляют вас, Светлана, остаться, — приказал безжалостный грузин.

— З-золотая наш-ша, оставайтесь! — поддакнул Самотохин, ласково выдыхая шипящие.

Светлана подняла и опустила плечо.

— Ну, если вы все так...

— Браво! Вот это жэнщина!

Тут же стали подниматься из-за стола; тихо исчезла бутылка «Арагви»; официант появился, пошептал седому, потом будто бы обменялся с ним рукопожатием и стал с лица восторженно улыбочив.

Когда пошли к ресторанным дверям, Игорь Петрович очутился позади Светланы. Он поглядел на ее ноги в чулках с зигзагами и попытался сделать глубокомысленный вывод: «А уж она, наверно, не так тиха, как кажется».

Седой Амедашвили кричал уже под церковными сводами фойе:

— В Ленинграде я останавливался в гостинице «Ленинград», в Фергане — в гостинице «Фергана», в Киеве тоже... А это — «Витязь» — что за название, слушай?..

Потапченко что-то поддакивал ему из подмышки, будто подкудахтывал; так и стояло между колонн: гу-гу-гу... Игорь Петрович понимал (поскольку пил меньше), что уже начинается гротеск, и усмехался внутри.

Когда поднялись и Самотохин под шуточки стал ловить ключом замочное душло, глаза Обува и Светланы снова сошлись, и Игорь Петрович вроде разобрал вопрос: остаться мне? Или жалобу: не хочу я туда! Или и то и другое, или просто кокетство... черт их разберет, женщин, как у них бывает иногда все запутано и сложно!

Вломилась, наконец. Включили свет, сели на кровать, на одинокий стул, на тумбочки. Пока Самотохин мыл в ванной стаканы, Потапченко грел и тискал бутылку, а кто-то включил телевизор для уюта.

Вернулся Самотохин и заметался с дуновением по комнате — Игорь Петрович увидел в своей руке стакан с бриллиантовыми каплями, и ему тут же налили (он заметил: второму после Семена Семеновича).

— Ну, панове Халявские! — хихикнул Потапченко. — За здоровье гостей! За совещание!

— За совещание! — поддакнул Самотохин и «нырнул»: — Эх!..

Амедашвили выпил, выдохнул, и его буйный нрав опять не удержался:

— Видишь, Семен Семенович, а журналисты говорят, что у нас, бюрократов, нет творческого самоистязания!

У Семена Семеновича глаза заиграли добрым светом:

— Что ж, и у журналистов перестройка, о чем им еще писать?

— Ничего! Пускай болтают! — срезонировал на эти слова Потапченко. — Государство-то все равно держится на нас!..

Он стал тереть покрасневший лоб, курчавости его торчали, как корона, и Амедашвили захохотал:

— Французские короли, Ваня, говорили: государство — это я!

— В своей области — да! — со сдержанной гордостью подтвердил Самотохин.

Игорь Петрович заметил, что Светлана с недопитым стаканом в руке обреченно смотрит по сторонам, и почувствовал злобную беспомощность и мгновенную ненависть к сидящим рядом пьяным идиотам и не менее пьяным умникам. Когда его глаза вдруг встретились со Светланиными, он понял, как она сказала: уведите меня отсюда. Но такой увод именно сейчас был бы нарушением неписаной корпоративной этики.

«Вот черт! Паршиво как получается!»

Обув незаметно скорчил Светлане гримасу: увы! сам бы рад удрать, но не могу!

«Вот закончится моя бутылка, — подумал он, — и можно будет сказать, что устал... или... вот оно! — что Романа Матвеевича не хочу поздно беспокоить...»

Семен Семенович Дейниховский вдруг наклонился к Потапченко, словно намеревался шепнуть что-то интимное, но вместо этого сказал громко:

— Иван, золотой-серебряный, слетай, сынок, в ресторан еще за бутылочкой такого же, теперь моя очередь угощать.

Обуев в душе скрипнул зубами. Лицо он сделал приятное, с улыбочкой, как у всех: побуждения Семена Семеновича были понятные и самые похвальные, любой порядочный человек счел бы себя просто обязанным так поступить.

— А я, наверное, пойду... — жалобно сказала Светлана, когда волна оживления спала.

— Све-тла-на! Све-тла-ноч-ка! — тут же грянул мужской хор. — Об-би-жа-ешь!..

Не вырвется, понял Обуев. Страшное дело — свой коллектив.

Светлана снова поникла, а Потапченко выскользнул в коридор.

— Ну, а мы пока покурим, — сказал, поднимаясь, Семен Семенович. — Балкон тут есть?

— Некурящие остаются развлекать Светлану, — поддакнул Самотохин.

В номере остались Обуев и Амедашвили.

— Вы, значит, с Романом Матвеевичем работаете? — спросил седой.

— Вообще-то нет, мы знакомые, — сказал Обуев.

— А вы откуда?

Игорь Петрович назвал.

— А...

Обуев вежливо смотрел на него.

— Ну и как у вас все эти новшества?

— Какие?

— Хозрасчеты, сокращения?

— Идут.

— Не с того конца беремся, — заметил Амедашвили.

— Это уж как повелось, — вежливо согласился Обуев.

— Да вы же сами знаете: на Западе считается нормальным, если существует 12—13 процентов безработных. Вот где бездельники, которых мы кормим! Вот где ключ. А у нас по привычке набросились на управленцев, на интеллектуальную верхушку. Согласны?

— Ну... — неопределенно ответил Обуев, задетый этой агрессивностью.

— Логично?

«Вот упрямый, как муравей», — подумал Игорь Петрович.

— Ну, в общем...

— «Логично, а может быть, даже справедливо», — насмешливо ответил за него Амедашвили, давая понять, что воспринял обуевскую сдержанность как робость.

Крутые шоколадные глаза раздражали Игоря Петровича, он старался изо всех сил это скрыть и сказал с улыбкой:

— Мы забыли о даме, ей эти разговоры неинтересны.

— Нет-нет, интересны! — воспротивилась Светлана.

«А она все-таки прилично клюкнула. Тепленькая», — понял Обуев.

— Ну так что, как вы думаете? — снова прилип седой. — Будет толк на сей раз?

— Есть реальные перспективы...

— Ха-ха! — захохотал он. — «Реальные перспективы» — это одно из самых удачных наших изобретений. Вместе с таким, например: «В значительной степени удалось убедиться...»

Стукнула дверь, это вернулся Потапченко.

— Ага! — закричал он раньше, чем защелкнулся замок, и запел, ставя бутылку на стол, будто делая ход ферзем: — «Все могут короли!..»

Отмахиваясь от занавески, с балкона тут же полезли Семен Семенович и Самотохин.

— Семен Семенович, разрешите открыть?

Дейниковский с усмешкой поглядел на пальцы Потапченко, сдавившие нарезную пробку.

— Разрешаю.

— Не надо!.. Мне не надо... — запротестовала Светлана.

— На палец, — приказал седой Нугзар.

Телевизор стрекотал и бубнил. Когда Потапченко разливал, все на минуту замолкли, и можно было разобрать, как с экрана говорят что-то о культе личности и необоснованных репрессиях. Самотохин строго обернулся к глупому ящику:

— Ну, понеслось! Опять о том же. Закормили уже!

Но Семен Семенович мягким движением остановил:

— Правильно ты, Ратмир Львович, заметил: закармлили. Нас кормят байками о мертвецах. О горьких мертвецах. О сладких мертвецах. О кислых. Мы уже объелись ими и не можем раскусить подлинный вкус жизни. А вкус — вот он.

Рука Дейниковского подняла коньяк.

— Поехали!

— Bravo!

— Здорово сказано!

— Все равно все помрем... от нитратов и от экологии, — заметил Потапченко, выдыхая круглым рыбьим ртом.

— Нэ трагедируй, Иван, — сказал Амедашвили почему-то опять с акцентом.

И опять убедительно-спокойный наплыл голос Семена Семеновича:

— Никакого конца света не будет. Америка нитраты десятилетиями жрет — и ничего. Видели, какие ребятишки крупные пошли? Защитная реакция природы. Так что — ничего, выживем.

— Ребята крупные, а потолки — все ниже делают, — сострил кто-то.

— Ну — за выживание?

— Поехали!

— Либо мы выживем, либо нас выживут...

После очередного «приема» Обуев почувствовал, что «поплыл».

Какие-то слова толклись в воздухе, а смысл кривился, ускользал. Самотохин что-то спросил, Игорь Петрович ответил: «Да»; потом Амедашвили что-то сказал — он засмеялся, увидев, что все смеются. Потом потянулся смутный, нескончаемый, неупругий какой-то спор, из которого до разума доходили отдельные крики:

— ...все эти коллективизации, раскулачивания, вся эта кровь...

— Чепуха! На Руси к тиранам и крови не привыкать...

— Все теперь марксы-ленины стали!..

— Главное — своих он зачем? Вот и сгубил репутацию, лежал бы себе спокойно в мавзолее...

Пора уходить, решил Обуев.

Он облизнул губы, собрал мысли и сказал — как ему показалось, четко и непринужденно:

— Светлана, разрешите вас проводить?

Он увидел измученно-благодарный взгляд, и в груди стало торжественно и гулко, как в колоколе. Седой Амедашвили, конечно, не сдержался, закричал: «Ага!» и потом — что-то вроде: «Я подозревал!» Прочие тоже забормотали, как голуби, но Обуев не слышал, не слушал и не хотел слушать, только говорил, как заведенный: «До свидания, очень приятно... славно...» Теперь он мог уйти вполне достойно: вел себя уважительно, коньяком поил и сам пил, поддерживал беседу; никто не вправе сказать: вот, мол, парень наглый, как молодой шиповник.

Он не очень хорошо помнил, как раскланивался под тошнотворное шипение телевизора, помнил только, что изо всех сил старался, чтобы не было суеты, а — солидно, как у Романа Матвеевича, соседа. Но когда за ним и Светланой захлопнулась дверь, коньячный пар в голове стал выдыхаться, мысль полезла ясная. Да и не пил он никогда коньяка, что ли?

— Крутые ребята у вас! Живьем никак не хотели отпускать.

И язык не запинаясь в общем, хотя от «е» к «р» переходил с небольшим усилием.

— А я, кажется, напилась... — сказала Светлана и так виновато улыбнулась, что у Игоря Петровича сердце стукнуло два раза вместо одного.

«Что это я вдруг... размяк?»

— Ну зачем вы меня раньше не увели?

В этом голосе было все сразу: и настоящая досада, и самое обычное кокетство, и что-то еще.

Черт возьми! Вот загадка для материалистов: каким это образом простая капризная складка в углу чуть подкрашенных губ вдруг рождает такое ужасное электрическое поле?

— Можно я возьму вас под руку?

Ну конечно можно, лапочка, цыпочка, золотая моя!

Какие-то скрипочки привычно заиграли у Игоря Петровича в душе, и чуть похотливо мурлыкнул саксофон.

— Знаете, Света, давайте будем на «ты»?

И — не дожидаясь, пока она пролепечет: «Ладно...»:

— У тебя какой номер?

— 411.

Теперь надо не дать опомниться, подавить волю светским трепом. Главное — не дать хоть на секунду отвлечься и задуматься. У женщин мысли, как тараканы — не знаешь, куда побегут...

— Вовремя, Светочка, мы удрали, верно? А то пришлось бы слушать их мнение насчет сотворения мира. У вас в конторе все такие болтливые?

— Не знаю... Гласность, наверное.

— Э! Не путайте гласность с голосистостью! Они Арал загубили — и ничего. А я в морду дам кому-нибудь — и попаду под суд. Какая гласность, я вас прошу!

Она засмеялась. Обуев уже заметил, что она понимает юмор, и ценил это.

— Какой у вас приятный одеколон, Игорь, — вдруг сказала Светлана.

Вот так всегда у них — то гласность, то вдруг — одеколон.

— Это «Джой», — он хотел добавить: говорят — один из самых дорогих одеколонов в мире, но отчего-то не добавил.

До чего же длинные эти идиотские коридоры!

— А ты видела последний голливудский фильм с Никольсоном — «Ведьмы Иствика»?

— Нет...

— У-у! Потрясающе! Рассказать? Но фильм-то страшный, смотри! Про дьявола.

И он даже заскакал вприпрыжку, раскинув руки, показывая, как дьявол-Никольсон побегал по своему дворцу. Давно Игорь Петрович не дурачился с таким наслаждением, и он даже специально пробежал еще несколько метров, когда Светланин голос сквозь придушенный смех шепотом закричал сзади:

— Мы уже приш-ли!

Обуев вернулся, сияя улыбкой.

— Женщины, — сказал он тоже шепотом, подходя к Светлане до невозможности близко. — Женщины всегда казались мужчинам ведьмами, потому что мужчины не в силах их понять, — он помолчал чуть-чуть и добавил совсем уже страшным шепотом: — Я имею в виду настоящих женщин!

И тут же — нормальным, нахальным голосом:

— А кофейку не найдется?

Это называлось: «ошумутить».

— Найдется, — немного растерянно сказала Светлана.

Еще бы! Он прекрасно знал, что каждая из них возит с собой банку растворимого и кипятивник.

— Отлично.

Он взял у нее из руки ключ и открыл дверь номера.

В номере Обуеву понравилось: аккуратно и мило; как понравилось и то, что

Светлана не стала смущаться и говорить разную пустую чепуху, а сразу серьезно занялась кофе.

Игорь Петрович сел на стул и стал рассказывать дальше про фильм, повышая голос, когда Светлана уходила в ванную ополоснуть стаканы или набрать воды.

Потом внутри кто-то трезвый вдруг опомнился: что ты мелешь спьяну? понимает ли она?

— Может, я надоел — про одно и то же?

— Нет-нет, еще!..

И ее глаза сказали то же самое.

Игорь Петрович почувствовал себя гениальным Никольсоном.

— Ну ведь черт знает что! — воскликнул он с откровенной досадой. — У них и нечисть-то всегда валььяжная, холеная, а у нас — злобная, мелочная и плебейская.

— А Булгаков?

Ну конечно, Булгаков, Булгаков! Начитались все Булгакова.

— Да, пожалуй...

И тут же он почувствовал себя Воландом, положил ногу на ногу.

— А знаешь, почему так? Потому что у нас сильнее всего всегда была власть предрержащая... посильнее всяких потусторонних... (захихикал) у нас дьявол и райсобеса не одолеет. Знаешь, как говорят: клин вышибают не клином, а указанием сверху.

Он торжественно показал: сверху.

— Вам сколько сахара?.. Садитесь на кровать, сейчас будет готово.

— Мы на «ты», Света... Два куска. Не утомил еще?

Он и сам знал, что не утомил. Что она видит, современная конторская женщина? Контора, очереди, муж, детские сопли. Он и сам знает, что она ждет от него: сильного и нежного героя, дьявола, который ослепительно смеется, страшно рассыпает искры и с головокружением падает вместе с ней в пропасть...

— Я тебе лично настоятельно советую этот фильм посмотреть... Да что там! Я тебе достану кассету. Ты в Москве живешь?

— В Москве...

— Ну! А то в нашем кино — мрак, болото. То был сплошной рабочий класс, а теперь кто? Нытики, маньяки или секс. Арцыбашевщина!

— Это что?

— Что?

— Вот это слово.

— А!.. Писатель был до революции. Хоть он и засекречен, а царствует.

— А вы читали?

Ага, клюет, хоть и все на «вы»! Непростая штучка... Так ее — Никольсоном, Арцыбашевым, кто там еще?

— Читал. В музее книги, по знакомству.

Ну, теперь передышку надо, а то можно уехать в чересчур интеллектуальные дали. И — о чем-нибудь таком, женском...

— Кофе отличный!

— А вы знаете, — вдруг сказала она задумчиво, — я так люблю на совещания ездить... Все время ждешь, что встретишь новых, интересных людей... Как-то чувствуешь себя женщиной, а не как на работе.

Ага! — заторжествовал Обувев и даже пропустил ее «вы». Ласточка моя, правильно! Вот он я и есть — новый, интересный.

— Я лично тоже люблю.

— Зачем вы повторяете: «я лично»? Уже второй раз.

Он засмеялся.

— Не знаю, заразился, наверное, от наших прежних лидеров... Если они все время — «лично», то я — чем хуже?

Она сидела как раз полуотвернувшись. Шея, щека... полуоткрытые губы, глаза, опустившиеся в чашку. Но главное — все-таки шея, словно отполирован-

ная его взглядом. Он уже словно ощущал, как дотрагивается до щеки возле этого нежного уха. Как раз удобно сидит. Ну и потом уже... все ясно.

— Еще кофе?

Что это? Сколько он так сидел и молчал, как тюфяк? Расслабился, чучело поддатое!

— А! Давайте еще. Гулять так гулять.

Она стала наливать, и теперь он видел руки. И опять он ощутил, как берет их, целует ее пальцы, какие-то удивительные, мудрые и ненаглые, с уже прорезающимися морщинами и обручальным ободком.

Она подала ему кофе, и он посмотрел на эту мутную бурую воду, как на яд — с тоской, — и откуда-то из района первой пуговицы пиджака стала растекаться по телу непонятная болезненная усталость.

«Так вот где душа живет», — успел насмешливо подумать он.

Тут — еще похлеще — в горле вдруг набухло. Так бывало в детстве перед тем, как захочется заплакать, и Обуев испугался, что заболел.

«Вот черт! Растяпили балкон, сволочи, пьянь!.. Все тот, кудрявый».

— Вы пейте кофе, я уже положила сахар.

— Да, я пью, — отозвался Игорь Петрович хрипло и угрюмо.

Весь он головокружительно и бесконечно летел туда, к теплой, чуть наклоненной шее, а тело сидело неподвижно и тяжело.

«Вот сейчас надо... а то будет считать кретином дешевым», — заметалась мысль в голове, и от нее стало так противно, будто гонял один бильярдный шар по пустому полю.

«Вот сейчас...»

Он увидел себя со стороны: глаза, как у больного спаниеля.

Он понял: что-то нарушилось и пора бежать, пока не прорвался нарыв в горле, а то он начнет делать невесть что: заплачет, встанет на колени...

— Ну, ладно, я пойду...

— Да-да, идите, спасибо.

Игорь Петрович попытался угадать в ее глазах презрительную досаду, но ничего не нашел.

— Ну, до встречи, — мучительно сказал он, вставая.

— Ага.

Она пошла за ним к двери и, когда он обернулся на пороге, кивнула. Он пробормотал что-то вроде: «Привет».

Бредя коридором, Игорь Петрович снова по привычке посмотрел на себя со стороны и ужаснулся: какое-то отвратительное кино! И в голове возник и стоял дурной звон, какой бывает в метро, когда высыпают пятаки.

По полумертвой от сна гостинице, мимо статуино-призрачных дежурных под желтыми лампами он добрал до своего номера и у самой двери будто очнулся. Да что это такое случилось? Что за кретинизм! Дур-рак! Дешевка!

Сосед Роман Матвеевич еще не спал, очки торжественно глядели в книгу — все в то же «Новое назначение». Прямо бабушка Красной Шапочки, отчего-то раздраженно подумал Обуев.

— Вы что не спите?

— Дочитать хотелось. Да... вот было поколение! Суровые люди. Где-то завидую им!

«А где-то — ?...» — продолжил про себя Игорь Петрович.

Единархов зевнул и благодушно ухнул.

—И тебе завидую, Игорек. Прежде, когда куда-нибудь еду, все, бывало, на женские ноги смотрю. А теперь смотрю — не валяется ли где брошенная доска — для дачи. Хо-хо...

Обуев ответил резиновой улыбкой.

В открытое окно струился робкий провинциальный шум лип. В Москве шум был другой — как будто у города бурчало в животе. Но лучше уж бурчало бы, тихий этот лепет вдруг стал нестерпим, как китайская пытка.

— Может, окно закроем?

— Да что ты! Свежий воздух. Где и подышать, как не здесь.

— Да, да... — согласился Обуев, раздеваясь.

«Что это я психую? Водка, что ли, у них такая?..»

Он обрадовался, как ребенок, когда Роман Матвеевич, заворочавшись, уронил на тумбочку книгу и погасил свет...

На следующий день немного качалось, слегка плыло.

Все-таки местная водка, — решил Обуев. — Не ложится на коньяк.

Из чего ее делают только? — думал он в буфете, расковыривая ложкой сметану. Вот так — травят народ, а потом удивляемся, что никто работать не хочет!..

Но в глубине, как пугливая рыба, шныряла совсем другая мысль — о том, что на соседнем этаже в таком же буфете сейчас вот так же о чем-то думает Светлана.

В мойке загремели ложки, у стойки привычно сипел голос:

— Вот говорите, что кофе натуральный, а в нем какие-то отруби. Разве могут быть в кофе отруби?..

Все это настолько не совпадало с тональностью обуевской души, что он бросил сметану, не доев.

Ну, народ! Ну, плебеи!..

Но и на заседании было некомфортно. Голоса, как один — тошнотворные, лица глупые — подобралось, что ли, так? Временами Игорь Петрович вдруг переставал понимать слова, что сыпались с трибуны. И это было совсем уж удивительно. М-да, не ложится на коньяк...

Дальше — хуже. На втором выступлении Обуев ощутил, что внутри будто завелось постороннее тело, отвратительное и ненужное, пускающее по всем сосудам болезненный яд. Чтобы развеяться, он заблуждал взглядом по белым колоннам. Отвратительно. Поднялся к люстрам. Опять тошно. Он заскользил по фасам президиума и затылкам зала. О, Господи!..

Тогда он повернул голову, куда давно хотел, — к белому пуделю Нугзар-Александровичевой седины вдали, имея в виду, конечно, то, что находилось за этой шевелюрой — там из синего платья вылетала шея и виднелись волосы, собранные по-деловому, в пучок. С другой стороны все это обрамляли кудельки Потапченко и его наглое большое ухо.

Игорь Петрович смотрел, но лучше все равно не становилось; он отворачивался — получалось еще хуже. Ах, черт! Тоска — не тоска... Непонятно, как называть. Так пасмурно было только один раз, когда катанули из начальников раздела на выставке в Японии. Но тогда было ясно — и настроение, и причины...

В заключение первой половины заседания выступили два замминистра и зампред Госплана. Это как-то подбодрило, в кровь пошел нашатырь. Но потом в мозгу закувыркалось: какой у нее номер? (411, 411! — стала тут же подскакивать в памяти цифра); и что она к восьми наверняка уже поужинает; и как он поступит, и что скажет.

Игорь Петрович с ненавистью на весь свет опять косился туда, где шея, видел, как Потапченко шепчет (острит, сволочь) — и продолжал умирать.

В перерыве свита не отлипала от Светланы. Обуев издали видел, как они ели в буфете бутерброды.

«Ешьте! — сумрачно думал он. — Вечер все равно мой!»

Когда стали обсуждать итоговый документ, он вдруг догадался, что скажет ей сегодня. Как-то раз он был в командировке на Северном Кавказе, и там в последний день с тамошними коллегами рванули в Теберду с коньячком... были домашние баклажанчики удивительные. А какие виды! Чужие надменные миры.

В заповеднике (уже после коньячка) кормили зверей в вольерах — медведей, оленей... и были там... как же их... серны. Ах, какие... язык не повернется сказать: звери. Каприз природы, ее тонкий поэтический штрих. Ребята, с которыми пили, рассказывали: поймать серну совершенно невозможно. Только — новорожденную в первые два дня, а на третий она птицей уйдет по скалам. Поэтому везунчики ходят в местных героях, а пойманного детеныша называют именем пойманвшего, даже если самочка, а поймал какой-нибудь Сережа или Биляль.

Так и врзалось в память: баклажанчики, огромная гора вдали, как угроза, и эти пугливые, не берущие хлеб из рук.

Он скажет ей: вы — женщина с глазами серны. Если бы я был поэтом, я написал бы стихи, которые так и назывались бы: «Женщина с глазами серны».

И как только он произнес про себя эти слова, ядовитая лягушка внутри стала таять, и дальше в голове крутилось: «Написал бы стихи... Женщина с глазами серны...»

Так досиделось до обеда, а потом и до самого торжественного конца, когда стали вручать грамоты, тепло хлопать и товарищески шутить.

Потом поднялись, смешались, зашумели. Единархов стал его куда-то звать, а Игорь Петрович стал отказываться; начались водовороты, беспорядочное передвижение со скоплением погуще вокруг членов президиума и пожиже — вокруг более скромных фигур. Смутно мелькнул в водоворотах Шариф Туктарович.

В этот самый момент Обуев вдруг заторопился и вышел. В общем-то вечные приметы успешно проведенного мероприятия — и морской шум зала, и густая икра пиджаков, и непременный, как какой-нибудь шариат, набор восклицаний и жестов — как всегда гипнотизировали и настраивали на общий наивно-волнующий (а может, как теперь говорят — «волнительный» — и так даже точнее) лад. Но на этот раз во всем этом было что-то не то.

Не ложится на коньяк!..

Потом Игорь Петрович сидел в номере в каком-то оцепенении и никак не мог оторваться от пикирующих в окне воробьев.

«...с глазами серны...»

Сосед пропал — видно, не сдержался все-таки, пошел ударить по коньячку с такими же, как сам, Бобрами Бобровичами.

Обуев лег на кровать, закинув руки за голову; воробьи больше не пикировали. Белый дневной свет уже расслаивался на темно-синий и умирающий золотой: это напоминало что-то бунинское, какой-то щемящий рассказ. Игорь Петрович смотрел, как солнце опускается в облако, но что именно бунинское, не вспоминалось, всплыло только: садится в тучу — к дождю.

«...с глазами серны...»

Он начал смотреть на часы, пока не понял, что можно идти, что она уже отвязалась от всех этих идиотов самотохиных и потапченко. Оттого, наверное, что он ничего не ел, кроме расковырянной утром сметаны, тело стало неуклюжее. И в то же время тело стало словно из ничего, и все эти пыльные лучи из окна, и «бу-бу-бу» с улицы, и крики телевизора из соседнего номера болезненно пронизывали Обуева насквозь.

Игорь Петрович посмотрел было на себя со стороны, но тут же передумал и не стал смотреть, только проверил рукой волосы, чтобы не торчали после лежания на кровати.

Дежурная в коридоре отвратительным голосом говорила в телефон: «Финские очень красивые были шапки, она мне приносила, но были очень большие размеры...» И в голове закрутилось: «финские красивые шапки, но большие». До самого 4-го этажа: «красивые шапки, но большие...»

А потом он постучал, и Светлана открыла.

Он бодро сказал заготовленное:

— Ну, как настроение героев совещания?

Она засмеялась.

— Бодрое.

— Не прогоните?

Тут у Обуева в горле раздался странный звук, будто лай, и он только потом с трудом понял, что это тоже был смех.

— Мы ведь вроде на «ты»? Значит, я должен был сказать: не прогонишь?

— Что ты. Проходи.

От свесившейся со стула юбки, пьяно шагающих среди комнаты туфель, каких-то тюбиков у Игоря Петровича появилось странное чувство, как будто вдруг увидел то, чего боялся. Он впервые подумал: а ведь у нее тоже — свои привычки, какие-нибудь капризы. И эти мысли были почему-то так же неприятны, как о том, например, что у Светланы внутри — кишки и жилы.

— Сюда можно? — спросил Обуев и, не дожидаясь ответа, сел на кровать. — Собираемся? — и кашлянул.

«Вот гадость! Словно на совещании!»

И, чтобы заесть чем-то этот дурацкий кашель, он поспешно спросил:

— А что купила своим?

— Да так... почти ничего. Конфеты...

Он страшно обрадовался.

— Конфеты? И я тоже. «Золотая осень»?

— Нет. Другие какие-то. С Кремлем на коробке.

И вдруг — без всякой связи:

— Так волнуюсь! Дочку впервые оставила со свекровью.

— Сколько лет?

— Семь.

— А-а...

— А у вас есть дети?

— Сын, в пятом классе.

— А-а...

Внутри у Обуева придавленно простонало:

«Женщина.

С глазами.

Серны.»

— Большие у тебя глаза, — сказал он хрипло. — Ты, наверное, с юга?

— Нет, не с юга, родители из Тобольска.

«Дульгиня Тобольская!» — закричал, захохотал у Обуева внутри Воланд.

— А глаза большие... — повторил Игорь Петрович.

Потом Светлана наклонилась и стала переключать какие-то тюбики и корбочки.

«Коньячку бы сейчас», — тоскливо подумал Обуев.

Он чувствовал, что его спасет одно: схватить, обнять эти узкие плечи, закружить, поднять к потолку, пройти на руках, совершить что-то еще более умопомрачительное...

Но он сидел.

Опять глаза жгла стремительно дразнящая шея, и опять он не понимал, что с этой шеей делать, а главное, как вообще быть с этой женщиной. С другими он все знал: как посмотреть, что сказать...

— А-а... — промычал Обуев; уже вертелось на языке что-то вроде: «Может, оставишь телефончик?» Но он вовремя удержался.

Светлана вдруг улыбнулась.

— Как вы вчера дьявола изображали...

Опять «вы», с ужасом отметил Обуев. Что я там вчера навидрючивал? Вроде, не так уж глуп.

Он почувствовал неприязнь к Голливуду, к Булгакову, ко всему на свете.

Снова начиналась вчерашняя пытка, и он уже не мог терпеть.

— Ну, я гляжу, ты занята... сборы... я пойду.

Получилось — последнее то ли сказал, то ли спросил.

Чего он ждал? Что она начнет преданно смотреть? спрашивать остаться? схватит за руку? погладит по щеке?

Но услышал от склоненной над вещами головы только неопределенное: «угу».

Обуев поднялся и медленно вышел.

Коридор был невыносимо тот же, по которому он вчера ночью бежал, избражая Князя тьмы.

«С глазами серны!» — тут же, гаденько улыбаясь, шепнул Никольсон.

Игорь Петрович брел в номер.

Было ощущение, будто он обладал какой-то сложной тайной, и вдруг оказалось, что это вовсе не тайна, а глупый, скабрзный стишок.

Когда он проходил мимо дежурной, у которой голова оказалась мала для финских шапок, та уже нашла себе утешение и хвасталась в телефон:

— Такой купила крем! Вчера помазала — праздник на лице...

И в голове снова завертелось в чудовищном хороводе: «такой крем — праздник на лице...»

Так завертелось, что он не сразу понял, что дверь номера странно приоткрыта, и вздрогнул, когда вдруг увидел белую медицинскую фигурку и ощутил аптечный запах. Но знакомый густой голос Романа Матвеевича опередил мысли о непоправимом:

— А вот и наш молодой друг!

Сам Единархов лежал на кровати без пиджака и галстука, в распахнутой на груди рубашке.

Медсестра неприязненно посмотрела на Обуева и сказала Роману Матвеевичу неприятным голосом, изображая строгую докторшу:

— Лежите.

— Что случилось, Роман Матвеевич?

— Да вот... печень не справляется, — сказал Единархов, пощекотав пальцем у себя под подбородком.

— Не печень. Сердце у вас увеличено, — тут же вставила свое сестра.

— Это чтобы хватило на всех женщин и все проблемы, — подмигнул обоим сразу Роман Матвеевич.

Белохалатная поджала губы, поняв, что в этой компании не стоит метать драгоценный медицинский бисер.

— Ну, не буду вам мешать... Надеюсь, вы пить не будете? — спросила она презрительно.

Обуев, разумеется, на выпад не ответил.

— Он не будет, — сказал за Игоря Петровича Единархов. — Он хороший парень, молодой друг... хо-хо! — и засмеялся непонятным двусмысленным смехом, от которого Обуеву пришла мысль: «Здорово насосался», а медсестру словно подстегнуло, она собрала причиндалы и порхнула вон, оставив Игоря Петровича одного поддерживать беседу.

— Что это ты серьезный какой? — спросил Единархов, делая пьяную гримасу.

— Да так... нормальный... Крепко вас прихватило?

— Ничего... есть еще порох в холодильнике! — сказал тот с загадочным злорадством.

— Почему — в холодильнике? — не понял Обуев.

— Потому что в нем хранится самое главное для жизни, — сказал Роман Матвеевич. — Не усекаешь? Молодой еще...

Он махнул рукой.

— Поддай-ка мне эту мою...

— Что?

— Книжку. Этого... Бека-Казбека.

Обуев нашел книжку и подал.

Потом из ванной он слышал, как Единархов кашлял и капризно хмыкал.

«Разошелся, старый хрен, — подумал Игорь Петрович. — Крутой ты был, видать, орелик».

Вода лилась из крана; Обуев смотрел сам на себя в зеркале: ну что, старик? — и в груди понемногу распрямлялось, размягчалось.

Когда он снова появился в комнате, сосед повернул от книги тяжелую, крупную голову:

— А чувствительную струну нащупал, стервец... совсем как Христос. Надрывайся, горбись — конец-то один. Со всеми достижениями, наградами, проколами, страстишками — так и канешь в пропасть... (Закряхтел.) Помоги-ка штаны снять...

Обуев снял с вялых ног штiblеты, ухватился за штанины и потащил.

— Все равно, всё вы врете с вашим... Хазбулатом, — вдруг сквозь пыхтение сказал сосед. — Придумали словечки разные и играют... а дело-то сложне-ей! Наш народ всегда любил все непросто делать, с размышлением и с драматиз-

мом. Вот и весь секрет. З-заладили: бюрократы! бюрократы!.. А корней не видят...

«Ну, понес — все нормально, жить будет», — усмехнулся Обуев про себя, ловко бросая брюки на стул и глядя, как Единархов в рубашке и носках заползает под одеяло.

— Главное, человека занять, — бормотала голова Романа Матвеевича, оседая в подушку. — Утром он пыль метет с тротуара на мостовую, вечером садится на поли... вальную машину и см... смывает все обратно с мостовой на тротуар. Это и есть го... сударство...

— Счастливо поспать, — напутствовал Обуев, улыбаясь.

Он почти нежно стал поправлять одеяло, из-под одеяла неуверенно выползла рука и схватила его за запястье, смяв пиджак.

— Люди не любят, когда их обманывают, но любят обманываться... Учись, пока я жив.

Рука упала, глаза закрылись, лицо стало строгое, нос засопел.

Игорь Петрович почувствовал, что устал хорошей, здоровой усталостью и что рядом уже ждет наготове крепкий, спокойный сон.

Утром, как и получалось по примете, летели низкие облака, между которыми сверкала холодная голубая эмаль. Природа словно подлаживалась под официальный распорядок: совещание закончилось — украшения зала сняты.

Обуев проснулся рано. Он передвигался по номеру, стараясь не шуметь, осторожно прикрывал каждый раз дверь ванной.

Сосед спал, выпуская из приоткрытого рта легкое сипение, но когда Игорь Петрович защелкивал замки чемодана, тяжелое тело сзади заворочалось и задыхало.

— Уезжаю, Роман Матвеевич. Не хотел будить. У вас когда самолет?

Сосед смотрел, как показалось Игорю Петровичу, бессмысленно и только через некоторое время ответил:

— В четыре...

— А у меня в десять, — бодро сказал Обуев и одновременно подумал: «Не хватила бы его кондрашка не к месту».

Единархов тут же угадал эту мысль:

— Не дрейфь, Игорек. Я как огурчик... х... х... такой же зеленый...

Уже в лифте Обуев все вспоминал это «х... х...». Крепкая порода!

В фойе роились участники совещания, они же роились снаружи у красных и зеленых автобусов. Игорь Петрович вдруг заметил, как среди фигур мелькнул, словно резвый бесенок, кудрявый Потапченко. Значит, и сам седой вельзевул где-то близко, подумал Обуев, а развязный голос шепнул: «И Светлана». В какой-то лихорадочной медлительности, когда руки торопятся, но движения остаются спокойными, Игорь Петрович поставил чемодан, достал записную книжку, нашел чистый листок и написал на нем свои имя, отчество, фамилию и служебный телефон.

«Глупо... смешно...» — думал он, но все равно писал.

Он едва успел положить листок в карман, когда из дверей появилась вся остальная компания. Самотохин тащил свертки и пакеты, Амедашвили и Светлана шли налегке. Ага, догадался Обуев, крупный багаж у них Потапченко таскает. Иерархично дело поставлено...

Он стал представлять, как подойдет прощаться и, если заметит что-нибудь такое в ее глазах... глазах серны... то отдаст записку...

— Что это вы от меня все бегаете? — шутливо сказал сзади капризный голос.

Рядом стоял Шариф Туктарович с благожелательной улыбкой на губах и настороженно сощуренными глазами.

Нет худа без добра. Обуев о нем совсем забыл, но это даже лучше, что он сам подошел, это даже выигрышнее.

— Нормативными отчислениями вы теперь занимаетесь? — спросил Шахраманов.

— Я.

— Заглянули бы, есть о чем поговорить. Или — я к вам.

Обуев слушал Шарифа Туктаровича, а сам смотрел, как летит по ветру богемная шевелюра Амедашвили, как он подсаживает под локоть Светлану в красный автобус.

И вдруг его словно пронзило, он понял сразу много всего. Понял, что в конце концов этот утомленный лев Амедашвили или кто-нибудь другой подстержет ее; понял, что за таких женщин всегда надо бороться, совершать подвиги и делать глупости, потому что вокруг таких женщин всегда борьба, движение.

«Борьба, прогресс, регресс, — со злобой подумал он.— Почему не может быть просто: нормальный «гресс»? И вообще все это сложно... А у него все налажено, ясно... и... но... Не увидеть больше никогда — вот так — эту шею?.. Всегда все сложно в Москве...»

Мысль о том, что уже сегодня он снова увидит свадебные торты московских высотных зданий, грубую московскую суету, наполнила Игоря Петровича усталостью. Он стал думать о том, что женщины почему-то становятся похотливыми и несносными, а друзья — унылыми и глупыми, и уже не понимал, слушает он Шахраманова или нет.

Красный автобус отъехал: Обуев покосился ему вслед, как птица.

Он кивнул в очередной раз Шахраманову («Да, в общем верно») и стал смотреть мимо него на быстро плывущие облака.

Игорь СЕЛЕЗНЕВ

ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНЬЯ

Родился в 1955 году. Участник III Московского и VII Всесоюзного совещания молодых писателей. Печатался в газетах, журналах, альманахах, автор поэтических сборников «За школой», «Место под солнцем», «Красная нить». Живет в Москве.

* * *

Куда мне ступить поначалу,
пока что кругом
темнота,
указывал мало-помалу
прожектор в подножье моста.

А слева и справа — заводы
безвестные,
трубы одни,
я помню лишь твердые коды
в подъездах окрестной родни.

Забить бы хорошую сваю,
которую сам испытал,
я среднюю школу кончаю,
и в реку впадает канал.

Хотел пятернею хоть малость
земли,
хоть посильную пядь
схватить —
и того, что осталось
меж пальцев —
нельзя сосчитать.

Опору колеблет у края,
заводы к воде подошли,
земля из-под снега сырая,
последние метры земли.

* * *

Только лишь теплый денек
выдастся — с разных сторон
сразу: сомнений — мешок,
противоречий — вагон!
Землю намного свободней
чувствует лист прошлогодний,
силу теряет закон!

Лист из-под снега застрянет
в воздухе!

И непонятно:
то ли он к ветке пристанет,
то ли он в небо воспрянет,
то ли он ляжет обратно.

Вот и — оттаяв никак? —
улицы свет протрубили.
Я перепонки напряг.
Пальцы сжимаю в кулак.
Разве меня не любили?

Радио вслух говорит —
женщина ставит на вид,
слышу я, слышу: торит
выходы из положения.
В жизни я чем пренебрег?
Чтоб не ушло напряжение
в землю,
взойду на порог.

Твердости в доме не стало,
воля из тела пропала,
ясности нет, а была,
радио перекрывала
радость родного угла...

* * *

Жизнью матери
клянясь
в том, что ты одна такая,
помни, что земля
сырая
от тебя
не отреклась.

Скручиваю, кем бы ни был,
узы наши
в два узла
бельевых!
Ты свой взяла.
И в дверях я
свой рассыпал...

Он — меня
перетрясет.
Твой — нигде тебя
не бросит.
Нас покуда
ноги носят.
Нас еще
трамвай везет.

* * *

За счастье державы родной,
за правое дело
танцует начальник отдела
с твоею женой.

В надежных сдержалась руках
и все понимает,
глаза на него поднимает,
не смотрит никак.

И смехом исходит, звонка,
житейское дело,
будь ласков, краснеть не посмела,
бледнеет пока.

Держась на последнем болте,
встаешь и взыскуешь
его половины такую ж
нужду в темноте.

Начальник отдела живой
и жизнелюбивый;
сидишь ты над мясом с подливой,
скорей бы домой.

Не смотрит она никуда,
вести помогая
себя, и ее дорогая
улыбка туга.

Тебе же свою приберег,
ты видишь с испугу,
начальник отдела супругу.
Тебе ж невдомек!

Свободна в ладонях спина,
ведь Первое Мая,
наощупь за платьем любая
прукладка ясна.

* * *

Будь у здания напротив
даже цвет другой перил,
тех же самых поворотов
в жизни б я не проторил.

Будь у деревянных лестниц
хоть на тень темней настил,
я тебя за целый месяц
так бы и не полюбил.

Мы с тобой в любви и вере
жизнь прожить могли,
если б дом напротив двери
нашей
не снесли.

* * *

Погожий день. Хоронят Пастернака.
Толпясь идет сплошная молодежь.
Высокий гул.

Но у могилы драка:
— Да замолчи ты! Отойди! Не трожь!
Христос — еврей?

Что ты сказал, собака?!

* * *

Где он есть — Вифлеем?
От сохи
под Ельцом и Коломной
к люльке в мазанке темной
поклониться Младенцу пришли пастухи.
Мы осла заменили конем,
и корова средь наших земель
в чернозем
оступается вместо вола,
ты «Дюшес», карамель,
у Распятъя кладешь, тяжела...

* * *

На что я решился до встречи?
И шапку я скомкал в руках.
И сделался крепче и легче
моста на гранитных быках.

В бойницах — земля Даниила
Московского, рядом стою.
Ты губы свои заслонила.
В ладонь я уперся твою.

И долго стоял я впритык
с ладонью своей сердобольной, —
твоей благодати невольный,
безбожный, живой проводник.

* * *

Я обкладываю крепостями
на ночь крайности твоих бровей —
со стены снесла ногтями
всю побелку — лучше не говей.

Ночь нова еще и непочата,
и на пару ты меня голов
старше и свободновата,
к обороне я твоей готов.

Близок твоему лицу сугубо,
чувствую, что ты рукой моей
только что — вчерашнего добрей
нехотя, украдкой, скупом
отбивалась от монастырей.

* * *

Сколько с неба на землю ни падай,
но всегда, разжимая кулак,
вижу родину — берег мой правый,
пролетарской культуры очаг.
Не рассчитывай и не надейся
там пропасть, где ничто не пропало.
Тяга к площади, близость вокзала...
Тает снег на жилете путейца.
Там политпросвещения лучи
в струях воздуха около зданья
перекрещиваются в ночи,
прорываются в зал ожидания...

* * *

Глянь, у каждого — жена,
дети —
 срочная работа,
потому-то,
оттого-то
соль осталась солона,
горькой — горечь,
сладкой — сладость.
Жизнью жизнь везде осталась,

проходи
иль рядом стой,
но выматывая душу
мне своею простотой,
мальчик ногтем чистит грушу.

* * *

Пришел почти что первым я... Ну вот
и встретились в разлуке обоюдной.
Здоровье ли второе наперед
копила ты — ни слабости минутной,
ни гордости попутной через год,
последние глаза, последний рот
и чистоты избыток абсолютной.

На пальце обручальном жестяной
с насечкой ободок...

И руку грея,
твоей ладони тыльной стороной
тебя погладил по своей щеке я.

Гвоздь в лавочке, конечно, мне помог,
поскольку искру божью, несомненно,
своей рукой об острый шар колена
из погребальных высек я чулок.

И место есть еще моим губам,
да засуха лица огнеупорна,
чтоб заново с тобой венчаться нам
и благодать сошла на нас повторно.



Людмила ШТЕРН

РАССКАЗЫ

Людмила Штерн — известное имя в литературе русского зарубежья. Ее рассказы, стиль которых можно было бы назвать фантастическим реализмом, появляются чаще всего в русских изданиях Америки и переводятся потом на многие языки.

Ее путь писательницы начался давно, ведь Людмила Штерн вышла из той же литературной компании, что Иосиф Бродский и Александр Кушнер, Сергей Довлатов и Валерий Попов. Она — ленинградка, и многие приметы города на Неве видны в ее прозе. Так что возвращение ее в наш литературный обиход совершенно закономерно.

Евгений Рейн

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ

В стране, где мы родились и выросли, сообщения о стихийных бедствиях появляются чрезвычайно редко. Не пестрят ими первые страницы столичных и провинциальных газет, не кричат о них 13 каналов цветного телевидения. И это понятно. Высшие Силы оберегают одну шестую часть суши от извержений вулканов, землетрясений, наводнений и смерчей.

Поэтому загадочной и странной показалась мне короткая заметка, появившаяся 3 июля 196... года в газете «Вечерний Ленинград»:

«В воскресенье около 11 часов вечера сильный порыв ветра оторвал от причала Адмиралтейской набережной поплавок, переоборудованный в ресторан «Алые паруса». Волны погнали поплавок вниз до устья Невы, где героическими усилиями работников речной милиции и береговой охраны удалось перехватить и пришвартовать ресторан к грузовой пристани Ленинградского порта. Жертв не было».

Это сообщение привлекло мое внимание потому, что именно в этот вечер мы прогуливались с друзьями по Адмиралтейской набережной, наслаждаясь безветренной, тихой погодой. Облокотившись о шершавый, не остывший от дневного солнца парапет, мы бросали хлебные крошки кружащимся чайкам и слушали доносившийся из «Алых парусов» лихой джаз под управлением Мари-ка Вольтинского. Ничто не предвещало урагана.

Удивившись, я последовала лучшим традициям всемирно известных детективов, вырезала газетную заметку и отправилась по следам необычайного происшествия...

...В летний воскресный вечер «Алые паруса» были, разумеется, переполнены. Празднуете конец прошедшей и начало грядущей трудовой недели, ленинградцы пили портвейн и водку, закусывали кто шницелем, кто макаронами по-флотски, кокетничали, флиртовали и отплясывали полузападные танцы.

А в бельэтаже элегантного особняка напротив ресторана раскинулась квартира первого секретаря Ленинградского обкома партии Василия Сергеевича Т. Неотложные дела оставили Василия Сергеевича дома, и он, отправив семью на дачу, вышагивал по кабинету, сосредоточенно обдумывая нечто государственное. Настроение у губернатора было эгегическое и сентиментальное, а около 9 часов случился с ним даже приступ демократизма — он отпустил домой дежурившего у подъезда милиционера.

Итак, Василий Сергеевич, оставшись один, творил, насвистывая романс «Не пробуждай воспоминаний», и покурил старомодные папиросы «Казбек». И вдруг захотелось ему пить. Первый секретарь открыл холодильник, но ни боржома, ни нарзана там не оказалось.

— Дуры безмозглые, — пробормотал Т., охватив одним определением жену, дочь и домработницу Серафиму Петровну.

Он открыл кладовку, обшарил скандинавский сервант, но минеральной воды не обнаружил. Барометр настроения резко упал.

— Это же черт знает что... — с тоской подумал он и посмотрел в окно.

Парчовая от легкой ряби Нева лежала у его ног. На бледно-фиолетовом небе строго вырисовывался силуэт Петровской кунсткамеры, по набережной слонялись парочки, прямо под окном, сияя огнями, веселились «Алые паруса».

Первым поползновением губернатора было снять телефонную трубку и приказать, чтобы приволокли из ресторана ящик боржома, но внезапно с ним случился второй за этот вечер приступ демократизма: Т. решил лично сбежать за водой. Однако ничтожное препятствие на секунду остановило его. Он не имел понятия, сколько стоит боржом и есть ли вообще в доме деньги. Порыскав по карманам бесчисленных пальто своих домочадцев, Василий Сергеевич обнаружил мелочь в плаще Серафимы Петровны и как был, — в шлепанцах и фланелевых шароварах, — спустился вниз. Мягкий воздух ласково обдал лицо губернатора, он улыбнулся неизвестно чему и перебежал через дорогу.

К ресторану вели короткие мостики, на стеклянных дверях болталась табличка: «Мест нет». Василий Сергеевич постучал по стеклу. За дверь немедленно возникло суровое лицо швейцара. Не отпирая, он показал пальцем на табличку. Двойная дверь создавала трудности для диалога, поэтому Василий Сергеевич сделал жест, означавший, что он страдает от жажды, — то есть задрал голову и опрокинул в открытый рот воображаемую бутылку. Швейцар брезгливо махнул рукой и отошел в глубь вестибюля. Первый секретарь почувствовал нарастающий прилив раздражения и забарабанил в дверь сильнее.

Его усилия не привлекали внимания ресторанной администрации минут десять. Что стоило Василию Сергеевичу подняться к себе и позвонить в проклятые «Паруса»? Но, как говорят в народе: «принцип на принцип взошел». Губернатор продолжал яростно колошматить в дверь. И она отворилась. Швейцар Николай Степанович Авдеев, в прошлом артиллерист, кавалер нескольких боевых орденов, схватил Василия Сергеевича за грудки.

— Пьянь проклятая! — закричал он, отпихивая нашего героя от двери. — Житья от вас нет, чтоб вы передохли все!

Полагаю, что тов. Авдеев редко смотрел телевизионные новости и кинохронику, а если и смотрел, то не очень внимательно. Бабье лицо первого секретаря не произвело на швейцара неизгладимого впечатления и не осталось навеки в его старческой памяти.

Ошеломленный губернатор на секунду затих, но затем вновь бросился на штурм.

— Да ты знаешь, с кем разговариваешь?! — завизжал он. — Да я тебя...

Но Степаныч был не из трусливых.

— А ну мотай отсюдава, морда нечесаная, — загремел он, — вали, пока пятнадцать суток не схлопотал!

Привлеченная разгорающимся скандалом, у парапета остановилась группа любознательных ленинградцев.

— Ничего себе, культурное обслуживание... — заметил либерально настроенный интеллигент.

— А чего? И правильно его отфутболивает... видит же ханурик, что мест нет, нечего и переть на рожон, — возразил поклонник порядка.

Между тем Василию Сергеевичу удалось схватить швейцара за рукав.

— Позови директора немедленно, — прошипел он. От бешенства у первого секретаря пропал голос.

— Я тебе покажу директора! — рявкнул Степаныч. — Гриша, — заорал он кому-то вглубь, — вызывай милицию!

Обладая Василий Сергеевич чувством юмора или хотя бы здравым смыслом, он дождался бы милиционера, и недоразумение разъяснилось бы ко всеобщему удовольствию. Вместо этого первый секретарь развернулся, протиснулся сквозь уже порядочную толпу и, вихрем взлетев в свой бельэтаж, ринулся к вертушке...

... — Мизер! — торжествующе произнес начальник ленинградской милиции генерал С. и, прищурившись, посмотрел на партнеров.

Вдруг раздался пронзительный телефонный звонок. Будь это обычный те-

лефон, начальник милиции и ухом бы не повел, но звонил ТОТ, и генерал, вздрогнув, бросил на стол карты.

— Слушаю вас, — машинально вытягиваясь в струнку, отчеканил он.

— Какого... ты получаешь зарплату! — проревел знакомый, но почему-то измененный голос. — Развели притон у меня под окнами, понимаешь... ни спать, ни работать по-человечески! Чтoб этого кабака через тридцать минут тут не было!.. Нет, не завтра, а немедленно. Ну и что, что полный... плевать мне, что люди... А что хочешь, то и делай. Все!

И без десяти одиннадцать по тишайшей воде к причалу приблизился буксир и два катера речной милиции. Поплавок дернулся, полетели со столов бокалы и шницеля, оглушительно заверещали дамы. Затем «Алые паруса» качнулись и дали ощутимый крен вправо. Погас свет, кликушески запричитала беременная официантка Нюра. Саксофонист Эдик слетел со стула и разбил висок. Героический Степаныч ринулся на защиту кассы.

Подробное описание того, что творилось в ресторане во время плавания, заняло бы десяток страниц убористого текста. Наделенный воображением читатель дорисует эту картину без меня.

А около часу ночи «Алые паруса» прибыли к месту назначения — на отдаленный грузовой причал Ленинградского порта. Ввиду позднего часа городской транспорт уже не работал, поэтому гости и служащие добрались до своих постелей часам к пяти утра. К счастью, как точно информировала читателей газета «Вечерний Ленинград», человеческих жертв не было.

ПОСЕДЕВШИЙ В ДЕТСТВЕ ВОЛЧОНОК

Историю эту рассказал мне мой друг, великий выдумщик и мистификатор. Могу ли я ручаться за ее подлинность? С другой стороны, непонятно — зачем было выдумывать такое?.. Вот почему я все же почти уверена, что рассказанное здесь — чистая правда.

...В 1959 году премьер-министр Великобритании Гарольд Мак-Миллан прибыл с официальным визитом в Советский Союз. Политбюро в полном составе выстроилось перед самолетом, их нерпы и ондатры запорошены снегом. Звучат национальные гимны, трепещут флаги, грохочут приветственные залпы, щелкают и жужжат фото- и кинокамеры. Все идет как по маслу. Никита Сергеевич произносит речь, его сменяет британский премьер и тоже говорит, что положено в подобных случаях, но... вдруг, отступив от микрофона, замирает и, как зачарованный, смотрит в одну точку.

Все глаза устремляются за его взором, но не видят ничего, кроме горстки скромно одетых репортеров. К Мак-Миллану с встревоженным лицом склоняется английский посол:

— Что-нибудь случилось? Вы плохо себя чувствуете?

— Все в порядке, — тихо отвечает Мак-Миллан. — Меня интересует вон тот джентльмен. — И делает едва заметное движение подбородком. — Не могли бы вы узнать его имя?

...Секундная заминка, посол шепчется с переводчиком, тот еще с кем-то. Завороженный премьер-министр не сводит взгляда с...

— Это господин Френкель, фоторепортер газеты «Известия», — докладывает посол.

Премьер-министр улыбнулся, шагнул вперед и, нарушая все нормы дипломатического этикета, направился к репортерам.

— How do you do, мистер Френкель, — сказал он, протягивая руку.

Товарищ Френкель не был героической натурой и от ужаса чуть не потерял сознание. Впрочем, любой советский гражданин на его месте поступил бы так же.

— Завтра мы устраиваем прием в британском посольстве, — продолжал

Мак-Миллан, — и я был бы счастлив видеть вас среди гостей... конечно, если это не нарушит ваших планов. Мне совершенно необходимо поговорить с вами.

Он повернулся к переводчику и тот, выпучив глаза, перевел. Френкель, будучи в шоковом состоянии, никак не реагировал на любезное приглашение.

— Я очень надеюсь и рассчитываю видеть вас, — повторил Мак-Миллан и, снова пожав помертвевшую френкелеву руку, двинулся вдоль почетного караула. Дальнейший его путь до лимузинов ничем примечательным не ознаменовался.

К сожалению, того же нельзя сказать о товарище Френкеле. Его окружили плотным кольцом и повезли куда надо.

— Не изволите ли объяснить, что это значит? — прохрипел простуженный генерал-майор М. Несмотря на грипп, он был поднят с постели и лично прибыл для допроса. — Какого хрена ты ему сдася?

Френкель плакал, клялся и божился:

— Ни ухом, ни рылом... Ума не приложу... первый раз вижу.

Допрос продолжался семь часов, после чего стало ясно, что хоть распиная Френкеля, хоть четвертуй, хоть вздергивай на дыбу — толку не добиться. Разве что от инфаркта помрет.

К ночи привезли репортера домой. Супруга накормила его нитроглицерином, уложила в кровать и отправилась рыдать на кухню.

Наутро Френкель известил редакцию, что заболел. Никто не удивился. А в пять часов вечера в британское посольство начали съезжаться гости во главе с... сами знаете кем.

Мак-Миллан был рассеян, оглядывался по сторонам и, наконец, спросил посла, — не видел ли тот господина Френкеля и можно ли быть уверенным, что господин Френкель правильно понял его приглашение. Посол навел справки, после чего сотрудники Совмина и еще одного учреждения приняли молниеносное решение Френкеля доставить.

В квартиру его ввалились шесть элегантных мужчин и приказали одеваться. Френкель упирался, хватался то за сердце, то за мебель. Но они неумолимо нацепили на него галстук и пиджак. Жена, заламывая руки, смотрела в окно, как его усаживают в «Волгу».

Не успел трясущийся Френкель войти в посольство, как премьер-министр его заметил, извинился перед собеседником и через весь зал направился к нему. Вокруг них тотчас скопились переводчики и гости, кто-то сунул в руки несчастного репортера бокал шампанского.

— Большое спасибо, мистер Френкель, что вы пожертвовали своим временем и пришли сюда, — сказал Гарольд Мак-Миллан. — Я был так настойчив, потому что понимал, что у меня вряд ли будет шанс встретиться с вами снова. Я очень ценю вашу любезность. Дело в том, что мне необходимо поговорить с вами о чем-то очень для меня важном. Где вы купили вашу шапку?

— Какую шапку?... — одеревеневшими губами пролепетал Френкель.

— Шапку, в которой вы были вчера на аэродроме.

— Не помню... нет... вернее, знаю... на барахолке в Красноярске... я был там в командировке три года назад.

— Позвольте объяснить вам, почему это так важно для меня, — продолжал английский премьер. — Ваша шапка сделана из редчайшего, я бы сказал, уникального меха, а именно из меха поседевшего в детстве волчонка. Когда волчонок вырос, его седина проросла новым черным мехом — меховщики называют его «тандрек». Такую же точно шапку подарил мне мой отец, который знал толк в мехах. «Береги седого волчонка, — сказал он, — эта шапка принесет тебе счастье». Но через два года в Брюсселе в аэропорту у меня украли чемодан, в котором была моя шапка... и с тех пор все мои попытки найти такую же терпели неудачу. А я, должен признаться, человек сентиментальный и... суеверный, что вообще-то не характерно для англичанина... Господин Френкель, у меня к вам огромная просьба, не согласитесь ли вы продать мне вашу? Я заплачу любую сумму.

Френкель услышал тихий скрип. Над его головой повернулось колесо истории.

— О деньгах не может быть и речи, — наконец забормотал репортер. — Я с удовольствием подарю вам эту (он чуть было не сказал: шивую) шапку.

— Я не могу принять такого подарка... — покачал Мак-Миллан головой.

— Нет, нет, — запротестовал Френкель, — для меня большая радость... — он повернулся и ринулся в вестибюль.

— Господин премьер-министр, — тонко улыбнулся некто из политбюро. — Вы пренебрегаете вашим положением дорогого и высокого гостя. Завтра мы доставим вам три таких шапки.

— Не думаю, что вам это удастся. За эти годы я запрашивал меховые фирмы Канады и Японии, Швеции и Норвегии, Америки и Австралии... Такую шапку найти не удалось.

— Но вы не обращались к нам в Совпушнину... и совершенно напрасно. У нас много таких. Мы обещаем завтра же одеть вас с головы до ног в эти шапки. — Кругом заулыбались удачной шутке.

— Господа, «много» таких шапок не бывает в природе, — продолжал терпеливо объяснять гость. — Поседевший в детстве волчонок сам по себе биологический нонсенс, но поседевший волчонок, шерсть которого проросла в юности черным тандреком, — просто уникален. Вы же, я полагаю, имеете в виду седого волка. Это действительно красивый и ценный мех, но... седые волки на свете не редкость...

Тут появился Френкель, неся на вытянутых руках свою шапку. Советская сторона брезгливо покосилась на лоснящуюся пропотевшую подкладку.

— Не вздумайте давать это... — процедил сквозь зубы НЕКТО и, добродушно улыбаясь, обратился к Мак-Миллану.

— Надеюсь, господин премьер-министр, вы верите слову коммуниста? Я обещаю, что завтра же ваша мечта сбудется.

Воспитанный британец не счел возможным настаивать. Он только бросил последний тоскливый взгляд на ускользящее из его рук сокровище и, поблагодарив Френкеля, простился с ним. Затем премьер-министр занялся политической деятельностью, а всеми оставленный репортер спустился в гардероб, напялил свое пальтишко и шапчонку и отправился на троллейбусе домой.

На следующий день Гарольд Мак-Миллан покидал Советский Союз. Правительство посещалось и решило обставить преподнесение шапки торжественно и эффектно, а именно доставить подарок прямо к трапу. В момент прощания с Никитой на летное поле вылетела черная «Чайка» и затормозила в двух шагах от премьеров. Из машины выскочил министр зверья и пушнины (впрочем, возможно, его официальный титул звучал иначе), держа пурпурную лакированную коробку, перевитую белыми лентами.

— Давайте откроем, убедимся, что мы не бросаем слов на ветер, — посмеиваясь, сказал советский премьер.

Развязали ленты, сняли крышку. В коробке лежало пять великолепных шапок. Ветерок едва шевелил седой благородный мех.

Тень легла на лицо британского премьера, горькие складки обозначились в уголках его губ.

— Я так и думал, господа, — печально сказал он. — Это замечательные шапки из седого волка... У меня их целая коллекция. Я же мечтал о шапке из меха поседевшего в детстве волчка. Простите, но мне трудно скрыть свое разочарование...

Он пожал хозяевам руки и начал медленно подниматься по трапу. Лакированная коробка осталась в руках у министра пушнины.

...С тех пор политические обозреватели подметили, что отношения между Советским Союзом и Великобританией стали более прохладными... впрочем, возможно, по совсем другой причине.

А что же стало с товарищем Френкелем? А ничего. Только на следующий день после отбытия Гарольда Мак-Миллана его уволили по сокращению штатов из газеты «Известия».

Ромен ГАРИ

ЕВРОПЕЙСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ромен Гари родился в 1914 году в Вильно. С четырнадцати лет жил во Франции. В годы войны был летчиком. Кавалер ордена Почетного легиона. После войны стал известным писателем, за роман «Корни неба» в 1956 году ему была присуждена Гонкуровская премия.

После смерти писателя в 1980 году раскрылась литературная мистификация, удивившая читателей и критиков: продолжая публиковаться под своим именем, Р.Гари в то же время «создал» нового писателя Эмиля Ажара, один из романов которого, «Жизнь впереди» (1975), также был удостоен Гонкуровской премии. (По правилам — ни один автор, даже гениальный, стать Гонкуровским лауреатом дважды не может).

Предлагаем читателям «Согласия» отрывок из первого романа Р. Гари «Европейское воспитание», написанного в 1944 году во Франции и выдержавшего несколько изданий.

После Сталинграда они прожили несколько недель в счастливом опьянении. Голод казался не таким мучительным, холод не таким жгучим. Но к концу февраля кончились все запасы. Янеку пришлось разделить остатки своей картошки, и теперь они, разгребая онемевшими от холода руками снег, искали каштаны, желуди и сосновые шишки. Братья Зборовские ночи напролет бродили по деревням, нищенствовали, умоляли и угрожали. Возвращались всегда с пустыми руками. Случалось, крестьяне, сами голодные, гнали их кулаками.

Несколько одиночек уже сдались немцам, самые отчаянные выходили из леса и нападали на немецкие патрули: чтоб погибнуть в бою...

Чудом добытые сто килограмм картошки помогли маленькой группе партизан пережить зиму. В тот вечер братья Зборовские спустились в землянку, как всегда, с пустыми руками.

— В Пьяски убили пана Ромуальда, — сказали они, — и утром в деревню пришла колонна карателей.

— Будет много копоти, — пробормотал Крыленко.

— Кажется, Цопля выдал виновных. Немцы обещали сто килограмм картошки в награду...

Утром поднялась метель, и к вечеру на улицах Пьяски снега было по колено. Немцы в своих шинелях были беспомощны, как упавшие на спину майские жуки. Танк Гауптмана Штольца, командира колонны, застрял посреди площади и дальше двигаться отказался. Штолец вылез из танка, монокль в его глазу блеснул, как лыдинка. Штолец выругался и пошел по улицам пешком. У него было много бесед с наиболее видными жителями деревни, но несмотря на ругательства и угрозы, которыми эти беседы сопровождались, лица людей оставались такими же бледными и пустыми, как эта нечеловеческая страна, где застрял танк герра Гауптмана Штольца.

Только короткая беседа с господином Цоплей оказалась успешной. Он с первого взгляда произвел на Штольца хорошее впечатление: на лице Цопли не было такого отсутствующего выражения, как у других.

— Гнусная погода, — с угрожающим видом заявил для начала Штолец.

Цопля тотчас рассыпался в извинениях. Дрожа подбородком, он уверял герра Гауптмана, что если метель совпала с прибытием в деревню немецкой колонны, то он, Цопля, в этом не виноват. Он слишком волнуется за свою жену и детей, которые вот уже двое суток ничего не ели, иначе он с удовольствием расчистил бы все препятствия на пути герра Гауптмана. Штолец оценил такое начало, как многообещающее, пришел в дикую ярость, говорил о наглости, о саботаже, о провокации, и, наконец, несчастный Цопля, сам не понимая как, обещал заставить светить солнце, запретить снегу падать и даже в припадке усердия предложил лично арестовать ветер и выдать герру Гауптману связанным по рукам и ногам. Хороший стратег, Штолец быстро использовал начальный успех, и через полчаса два немецких солдата принесли в дом Цопли мешок: сто килограмм картошки. К восьми вечера, когда снегопад стих, немецкий патруль вышел в темноту. Солдаты шли, высоко поднимая ноги. Снег хрустел под их сапогами. Цопля, задевая за стены, бежал впереди патруля. Он еще не успел попробовать картошки, за которую шел платить, и в снежном хрусте ему слышался звук жующих челюстей. Он думал лишь о том, как скорее кончить свою работу, вернуться домой и съесть тарелку горячей картошки. «Кубус не рассердится на меня, — думал он с абсолютной уверенностью голодного человека, — он верный и умный друг. Он поймет».

Патрулем командовал младший унтер-офицер Клепке из Ганновера.

В такую погоду лучше носа на улицу не высовывать. Даже чтоб дезертировать, — думал этот военный с неизъяснимым бешенством, появившимся у него после года службы без отпуска.

— Здесь, — объявил Цопля дрожащим голосом.

Клепке поднял факел. Над входом была вывеска:

«Пьетрушкевич. Пирожные, содовая вода».

— Ну, — спросил Клепке, — чего ты ждешь?

Лицо Цопля, почерневшее от холода и тоски, искривилось:

— Разбудить его ни с того ни с сего... Просто так...

— Вовсе не просто так, — назидательно заметил младший унтер-офицер, — а чтоб всадить в него пулю.

Он подошел к двери и постучал. Через некоторое время сонный голос из-за двери спросил:

— Кто там?

— Это друг, — жалобно ответил Цопля, — открой мне, Кубус.

Дверь открылась, солдаты вошли, Цопля протиснулся за ними. Пьетрушкевич был в ночной рубахе поверх панталон. Лицо его было опухшее и печальное. Он чихнул.

Цопля быстро закрыл дверь и объяснил младшему унтер-офицеру:

— У него очень слабые легкие. Он все время болел, когда был маленький. Бедная мать с трудом вырастила его. Ему нужно было жить в горах...

— Горы иногда помогают, — согласился Клепке.

Цопля подошел к другу.

— Ты на меня сердиться, Кубус?

— Нет. Центнер картошки — хорошее оправдание.

— Откуда ты знаешь?

— Вся деревня знает.

Цопля опустил на табурет и заплакал.

— Ну-ну... Держись, — успокоил его кондитер.

— Но я не знаю настоящих виновных! — прорыдал Цопля. — Я не мог назвать кого попало: будут мстить мне или семье... Я выбрал верного друга... На которого можно положиться во всех испытаниях.

— Очень тебе признателен... Ты можешь за это кое-что для меня сделать?

— Все, что хочешь.

— Эта картошка... Ты мог бы передать немного моей жене?

— Я ей сам принесу завтра утром.

Унтер-офицер скомандовал. Друзья обнялись.

— Спасибо за картошку.

Цопля открыл рот, но говорить не мог.

— Ну-ну... Будь мужчиной.

Кондитер нашел в комодке бутылку и несколько стаканов.

— Выпей немного.

Цопля выпил.

— Выпейте тоже по стаканчику, — предложил Пьетрушкевич солдатам.

— Вы очень любезны, — поблагодарил Клепке. — Ваше здоровье!

— Ваше!

Они выпили.

— Ну, — сказал Клепке, — если вы позволите...

— Конечно, — отозвался Пьетрушкевич. — По крайней мере больше не буду голодать...

Бледный Цопля, шатаясь, отвернулся и зажал уши.

Пьетрушкевич получил залп в грудь и остался недвижим. Солдаты быстро вышли. Унтер-офицер последним, прихватив бутылку. Цопля поплелся за ними. Он понимал, что должен остаться, утешить вдову своего друга, но решил, что лучше отложить до завтра — когда принесет картошку. Бедная женщина будет так рада. На улице Цопля пошел быстрее, чтоб скорей со всем этим покончить. Он мечтал о большой тарелке, которая ждала его дома: белая плоть картофеля, нежная, ароматная. Опьяненный этой картиной, он больше не колебался, и когда факел унтер-офицера осветил вывеску: «Портной Магдалинский. Крой по первому классу, цены доступные», он решительно постучал. Никто не ответил. Он еще постучал. Младший унтер-офицер Клепке рассматривал вывеску с таким задумчивым видом, будто размышлял, действительно ли цены доступные, он бы отдал перешить свои брюки, но он не понимал по-польски. Солдаты, озверевшие от холода, стали колотить в дверь прикладами. Тотчас послышался женский голос, совсем близко — наверняка женщина уже давно стояла у двери:

— Ну?

— Мое почтенье, пани Марта, мы пришли повидать вашего мужа.

— Мужа нет дома.

— Хватит болтать, — проворчал Клепке по-немецки, — открывайте.

Дверь открылась. Воцарилась полная тишина, солдаты широко открыли глаза и вытянулись, чтоб лучше видеть. Женщина была в тонком пеньюаре, под которым кроме нее самой ничего не было.

И ей как будто не было холодно. Наоборот мужчины ощутили на своих замерзших лицах тепло, которое шло от нее. Те части ее тела, которые не были видны, легко угадывались, и от этого вовсе не хотелось закрыть глаза. Пани Марта была крупная брюнетка с большими зелеными кошачьими глазами. Ее влажный рот казался специально созданным для поцелуев.

— Mein Gott! — тихо, но внятно произнес самый молодой солдат.

— Смотри в сторону! — строго приказал самый старый: он знал его родителей и обещал им немного присматривать за мальчиком.

— Тихо! — приказал младший унтер-офицер удивленным фальцетом и закашлялся. — Тихо, — повторил он. — Где ваш муж?

— Его здесь нет.

Женщина повернулась к Цопле:

— Иуда!

Цопля хотел что-то ответить, но за перегородкой послышался шорох.

— Что это? — спросил Клепке.

— Откуда я знаю... Может быть, кошка...

Она стала в дверях, Клепке хотел ее оттолкнуть, она сопротивлялась, в борьбе обнажилась грудь с розовым твердым соском, она и не подумала ее прикрыть. Молодой солдат и сосок смотрели друг на друга. Солдат не выдержал и опустил глаза.

— Ах, — сдавленно произнес он.

— Смотри в сторону, несчастный, — приказал старший, — спрячь это, ведьма!

— Не знаю, как твоей жене, а мне совсем не стыдно за то, что я показываю.

Клепке скомандовал: «Вперед!»

Они оттолкнули ее и прошли за перегородку. Там почти все было заставлено кроватью, широкой и шаткой, с кружевными занавесками у изголовья. Одежда была свалена в кучу, пуховики — на полу. В комнате никого не было.

— Я же вам говорила, это кошка.

И в самом деле послышалось мурлыканье, очень нежное.

— Кис, кис, кис, — позвал молодой солдат. Он любил животных. — Она должна быть под кроватью.

Он нагнулся, сузил руку под кровать, на лице его выразилось удивление.

Младший унтер-офицер Клепке быстро посмотрел под кровать.

— Вылезай.

Медленно и неохотно из-под кровати вылез мужчина. Он был толстый и молодой. На него неприятно было смотреть. Тело у него было, как у курицы.

— Маленькая кошечка, а? — Клепке заскрипел зубами.

— Я хорошо умею подражать кошке, — сказал мужчина с недовольным видом.

Клепке скомандовал. Солдаты вскинули винтовки.

— Подождите, — закричал Цопля, — это не Магдалинский.

— Mein Gott! — воскликнул молодой солдат, с уважением глядя на незнакомца.

Некоторое время все молчали.

— Но кто же это тогда? — спросил Клепке.

— Я не знаю. Он не из нашей деревни. Я никогда его раньше не видел.

Мужчина завернулся в покрывало и обратился к младшему унтер-офицеру на очень хорошем немецком.

— Меня зовут Шмидт. Я немец. Я работаю здесь на военные власти.

— Здесь? — с ужасом спросил молодой солдат.

— Не слушай! — приказал старик. — Заткни уши!

— Я хотел сказать, в Вильно. Я хорошо знаком с вашим начальством, унтер-офицер, и я вам советую: уходите. Человека, которого вы ищите, здесь нет.

— А где он?

Шмидт пожал плечами.

— Меня интересует его жена, а не он. А он, должно быть, шатается в лесу с партизанами. Это бандит.

Все снова замолчали. Потом Цопля стал всхлипывать. До сих пор он молча дрожал от бешенства: страдал за своего друга. Друг у партизан, служит родине, а в это время его жена позорно изменяет ему с врагом! Цопля был глубоко возмущен низостью такого поведения.

— Сука ненасытная, — забормотал он, — женщина без...

Но пани Марта перебила его:

— У меня нет стыда! — завопила она. — Этот человек кормит меня! И что мой муж может на это сказать? И что ты мне можешь сказать, ты, Цопля? Будь твоя жена лет на двадцать моложе, она бы делала то же самое.

Цопля испуганно отступил. А немцы, младший унтер-офицер Клепке первый, стали тихо посмеиваться, потом засмеялись громче, потом захохотали в голос. Пани Марта некоторое время презрительно смотрела на них, потом пришла в ярость:

— Над чем смеетесь? Над собой? Или вы не женаты? По крайней мере кто-то из вас? И вы оставили жен или невест в Германии? Так вот, ваши жены делают то же, что и я! Да, ангелы мои! Одни, потому что скучают, другие, чтоб иметь масло в своем шпинате.

Первым перестал смеяться младший унтер-офицер. Он оставил в Ганovere совсем молодую жену. Первое время он получал много писем. А теперь письма приходили редко. И, главное, их тон изменился. Она больше не спрашивала,

скоро ли вернется mein Süßer¹. И больше не жаловалась на одиночество. Это мучило младшего унтер-офицера Клепке, змей сомнения точил его сердце. Он старался не думать об этом, но теперь эта женщина... Те из его отряда, кто был женат, подумали то же самое. На Шмидта они смотрели с ненавистью, а к портному Магдалинскому вдруг почувствовали какую-то симпатию. Конечно, он был враг, но они чувствовали, что связаны с ним своего рода братством, братством людей, которых, пока они здесь, на фронте, дома обманывают жены.

— Ну, — спросила пани Марта, — больше не смешно?

Мужчины переглянулись. Они ничего не говорили, ни о чем не спрашивали, они уже знали, что сделают. Они поняли друг друга без слов и сразу. Даже победитель Клепке и жалкий побежденный Цопля смотрели друг на друга и понимали друг друга без слов.

— Ты уверен, что этот человек не портной Магдалинский?

— Я не знаю точно... Я его давно не видел, Магдалинского... Может быть, он, может нет... Я не знаю точно...

— Посмотри на него хорошенько...

— Я хорошо смотрю, — сказал Цопля, старательно глядя в сторону.

Шмидт забеспокоился.

— Что это за комедия? Мои документы в порядке. Они у меня в пиджаке, я могу показать.

— Оставайся на месте, — приказал Клепке.

Он думал о своей жене. Год прошел с тех пор, как они расстались. Она плакала. Они только поженились, две недели провели вместе. Он вспомнил ее теплое тело, ее жаркие ласки, и все, что ему удавалось так долго гнать от себя, обнажилось со всей очевидностью: его жена не могла быть одна целый год. Она завела любовника. У нее есть любовник, который ласкал ее каждый вечер, пока он, Клепке, растрчивал свою жизнь, свои силы в этих проклятых снегах. У нее был мужчина, наверняка, один из тех окопавшихся в тылу, кому выгодна эта война... Кому выгодна эта война? Только не тем, кто уходит: они будут убиты, а если нет, если им все же посчастливится вернуться, они найдут свои очаги разоренными. Нет, война выгодна тем, кто остается, людям вроде этого Шмидта, которые забирают у вас вашу молодую жену, пока вы далеко... Он приказал:

— Приготовиться!

Шмидт сильно побледнел.

— Мои документы в порядке. Я вас прошу, посмотрите мои документы... Мои друзья занимают высокое положение. Я член партии. Речь идет о немце, младший унтер-офицер, не забывайте об этом.

«Почему бы не избавить мир от немца?» — подумал про себя Цопля.

Он шагнул вперед и заявил:

— Это Магдалинский! Теперь я его узнал...

На улице Клепке дружески хлопнул Цоплю по плечу и пожелал ему доброй ночи. Казалось, он был доволен.

— Член партии... — пробормотал он, — член партии, видите ли... Gute Nacht, herr Zopla.²

Он увел свой патруль. Цопля вернулся домой. Сказал жене:

— Быстро. Я умираю с голоду.

— Все готово.

В ту же минуту в дверь постучали.

— Я думал, это кончилось... — вздохнул Цопля.

Он открыл дверь. Братья Эборовские вошли сразу. За ними Янек.

— Добрый вечер.

Губы Цопли шевелились беззвучно.

— Добрый вечер, — сказала его жена.

Ее руки нервно сжимали край фартука. Руки были усталые, старые, измененные стиркой. Руки были еще более старые и морщинистые, чем лицо. У них

¹ Мой любимый (нем.).

² Доброй ночи, герр Цопля.

была, казалось, своя отдельная жизнь, их скрюченные пальцы выражали больше немого страдания, чем лицо и глаза.

— Я не боюсь, — сказал Цопля, — я слишком вымазан в этом дерьме.

Женщина открыла шкаф и стала вынимать праздничную одежду мужа.

— Я только хочу сначала поесть.

— Где мешок? — спросил старший Зборовский.

Янек смотрел только на руки. Он видел сжатые пальцы женщины, сплетенные в тысячелетнем жесте, древнем, как горе.

— Вы этого не можете сделать, — сказала женщина, — у меня дети. Вы не можете одновременно убить отца и забрать мешок.

— Мы не будем его убивать. Мы только возьмем мешок.

— Лучше убейте его, убейте...

— Стефа, — застонал Цопля, — Стефа...

— Убейте его, — вопила она, — убейте его!..

Они уже вышли, уже шли по снегу, согнувшись под своей драгоценной ношей, и все еще слышали ее звенящий голос:

— Убейте его!

И умоляющий стон Цопли:

— Стефа, Стефа...

Янеку вдруг показалось, что весь человеческий мир — это только огромный мешок, в котором борется масса бредящих слепых картофелин: человечество.

*Перевод с французского и публикация
Ивана Макарова*

В начале Старого Арбата, куда я пожаловала с подружкой в начале сентября, выступал, окруженный толпой приверженцев и просто зевак, — анархист, бедно, но аккуратно одетый, с лицом пропившего последнюю копейку, опустившийся интеллигент из разночинцев, говоря языком девятнадцатого века. Анархист «толкал» вполне приличные на первый взгляд по лексическому составу вирши, в стихоструктуре которых, однако, угадывалось явное площадное рифмоплетство на вышем уровне. Его последовательница и товарка в одеянии «есть женщины в русских селеньях» (повойник, сарафан, лапти) была прямее, последовательнее и жизнерадостнее. Выходя время от времени на круг и притоптывая увесистой ножкой, она, на потеху публике, визжала:

Нам не надо Раек-Мишек,
Обойдемся мы без шишек...

Оскорбления сыпались не только на Горбачева, но и на его приверженцев. Посещение Старого Арбата совпало со вторым днем исчезновения сигарет, и привычный фольклор немедленно откликнулся на злобу дня. Особенно круто прохаживались уличные певуны по Егору Лигачеву, хотя, насколько мне известно, к табачной промышленности он не имел никакого отношения.

Во Кремле надясь была,
Там Егорке дала,
Не подумайте плохого,
Я махорки дала, —

выла, нарочито работая под народно-лаптежный диалект, приплясывая и потряхивая сдобными телесами эта типично русская крестьянка-анархистка.

Поэзы эти были, по моему скромному мнению, безвкусны, грубы, неприличны и недостойны гордого звания москвича, человека особой породы, как до сих пор вещают на первом уроке первоклашкам учителя начальных школ столицы. Я за такую самодеятельность призвала бы этих уличных артистов к ответу, следуя давнему уложению Российской империи, гласящему об иске за бесчестье — деяние, наказуемое уголовно, которое, однако, по соглашению может быть возмещено пострадавшему денежной компенсацией.

Желая посмеяться на Старом Арбате, я и представления не имела о том, что на смену старинному веселью с простодушными шутками-прибаутками пришел юмор висельника и трущобное творчество, и что разгулем удалым там ныне и не пахнет, а господствует либо типичная в наше время во всем мире коммерция с калейдоскопом подделок под Холуй, Палех и Хохлому, с картинками, картинками и рисунками доморощенных художников, «фотосалонами», киосками с «быстрой» едой, либо политика в лице поэтов-обличителей всех направлений типа уже упомянутого, которые проходятся березовой кашей по хребту всех и вся, начиная с Ивана Четвертого Грозного и кончая нынешними кремлевщиками и их супругами. Здесь царила атмосфера того же дурдома, но только с тихими пациентами, и я совсем без интереса глядела на представителей изобразительного искусства, сидящих на корточках или прямо на земле около своих произведений, озабоченных мамаш и папаш с детьми «за ручку», спешащих запечатлеть свою физиономию у бродячих фотографов, такса которых значительно ниже «фотосалонных», и на как всегда покорную очередь за шашлыками в палатки кооперативщиков. Невинного безобразия здесь и духу не было, разлихой русской потасовкой тоже не пахло, и поэтому, когда моя спутница сказала: «Ну, пойдем, что ли?» — я равнодушно согласилась, отметив, между тем, как положительный момент то, что народ так скоро привык к какому-никакому, но самовыражению, абсолютно невозможному даже и в помышлениях еще три года назад. И как сугубо отрицательный — недопустимость загрязнения антисанитарной толпой центральной улицы, где любая эпидемия может вспыхнуть как ворох сена от зажженной спички, а в случае несчастья, как то: болезни, преступления и

прочего, невозможно будет даже оказать первую помощь пострадавшим, ибо Старый Арбат — это пешеходная зона, закрытая для транспорта.

В последнее время все чаще и чаще кажется, что всякие госрешения принимают там пациенты больниц Корсакова и Кащенко в полном содружестве с сельниками Канатчиковой. Ходят слухи, тем не менее, что под напором все еще существующих нормальных людей Моссовет «осознал свой промах» и что ярмарочные скучные гулянья собираются перенести со Старого Арбата в Измайлово. С Богом, — скажу я, там-то изначально и было им место.

Уже давно, лет двадцать назад, слышала я и читала в тамошней прессе о том, что народ в матушке-Москве при всегданшем недостатке продуктов питания бандитски обращается с хлебом и выбрасывает Его, Кормильца, чуть он немного зачерствеет, в помойку, а ребятня играет буханками и даже батонами в футбол. До сих пор в преизобильной Америке я боготворю хлеб как подлежащее всего сущего на земле, и если случайно упадет кусочек на пол, поднимаю его, целую и кладу обратно на место. Читая в совпрессе о гнусном отношении к хлебу, я считала эти тексты, как всегда (хоть и в обратную сторону) лишь преувеличением, но вот... В первый же день пребывания в Москве я увидела на улице под ногами огромный кусок булки, который с удовольствием клевали вороны. «Что ж, им тоже кушать хочется, — сочувственно подумала я, — а промыслить кусок трудно», — но через несколько дней, обедая в доме у подруги, я увидела, как она с отвращением метнула полбатона чуть причерствевшего белого в мусорное ведро. «Что ты делаешь, — с ужасом закричала я, — как только наказанья Божьего не боишься? Ведь порезать да посушить на сухарики можно!»

— Нет, — жестко ответила она мне, скупой и жадной американке, — на сухарики нельзя. Он не сохнет, проклятый, он только плесневет, — и дико, как конник чингисхановой орды, повела темными глазами.

Вечером того же дня в помойку полетела переполовиненная мною за день до инцидента пачка пельменей, любимого мною блюда, добытого специально для меня, заморской гостьи, мужем подруги в «Продуктовом», находящемся внизу дома. «Они хоть и в морозильнике, но пачка уже открыта, а по Москве ходит холера, ее завезли из Азии, а также дифтерит, наши сами писали в «Вечорке», — объявила подруга, тут же взяв с меня клятву: сразу же по приходе с улицы мыть руки горячей водой с мылом в целях профилактики. Мыло вот уже несколько месяцев как появилось, и теперь его даже в переизбытке. Закупили у Турции.

А на третий день после инцидента с батонем и пельменями, выброшенными в помойное ведро, во всех магазинах Москвы исчез хлеб — главный продукт питания российского гражданина вот уже более семидесяти лет, ровно с того момента, как «большевики на власть сели», по выражению моего деда. Хотела было я погрозить пальчиком и злобно припомнить свое пророчество о Божьем наказании, да смолчала, взглянув на вытянувшиеся лица знакомых и друзей. Хозяин квартиры время от времени выбегал на улицу и возвращался с квадратными глазами: ходили слухи, что кое-где начинают строить баррикады и не исключен «румынский вариант». В тот день «мэр» Гавриил Попов умолял по телевизору народ не поднимать волну, не толпиться, с улицы расходиться, зерном не запасаться, а самое главное — не волноваться: хлеб-де есть, навалом его в закромах, урожай в этом году побил все рекорды, только с уборкой туговато, как бы не погиб на корню, а кроме этого, «все линии... на всех хлебозаводах... встали, возможна диверсия... и так далее. И «румынский вариант» исключился как-то сам собой: даже армия была брошена на починку пекарен и обучению солдат искусству хлебопексов с зарплатой в 350—450 рэ — а это чуть не в два с половиной раза больше, чем платили до хлебной заминки. И «выпечка», так называется в новоречии хлеб, вновь появилась в булочных...

Вот еще одно свидетельство массового, истерического психоза. Пройдем-тесь-ка на московский Рижский рынок, притчу во языцах, где провела я немало времени и исходила своими «адидасками» не одну дорожку, ибо эта торговая точка лежит в трех шагах от квартиры, где я остановилась. По понятиям американцев, в России сейчас самый настоящий голод, хотя трупов, как в блокадном

Ленинграде, пока на улице не видно, — но войдя на этот рынок, и американцы бы приостановились в полной растерянности и удивлении: базарные ряды завалены чистейшими краснобокими помидорами и редиской, зелеными остроко-нечными огурчиками, атласно-фиолетовыми баклажанами, капустой, картош-кой... Горы арбузов, дыни и прочая снедь. Однако... Продавцы, в основном азербайджанцы и другие народы Кавказа, стоят в гордом одиночестве, хотя этот част-ный товар не ахти как много дороже государственного, и разориться «средне-статистическому» гражданину на полкило овощей или фруктов иногда, хоть раз в неделю, можно без смертельной опасности для бюджета. А в чем же дело? — спросит читатель, а москвич или москвичка ответит ему примерно так: «вы же понимаете, что если по городу ходит холера, то кто захочет рисковать, особенно в семьях с детьми?» Заглянув в глаза такому собеседнику, под присягой покажу: по понятиям современной медицины они совершенно нормальны.

А вечером, когда часть арбузно-дынного богатства, пролежав несколько дней на грязной, мокрой земле (девятнадцать из двадцати одного дня, что я пробыла в Москве и перед тем в Ленинграде, стояла сырая погода и время от времени моросил дождик), и запахом, и видом свидетельствует уже об ускоряю-щемся процессе гниения, начинается настоящий цирк: товарищи южане, вкпе с подсобниками — москвичами разных рас, национальности, пола и возраста — начинают, пританцовывая под кавказские гортанные мотивы, эти лакомые про-дукты рубить, губить, травя какой-то кислотой, грузить в огромные контейнеры и увозить с рынка.

А у входа на рынок сидят по-русски подвязанные под подбородок платочка-ми женщины из подмосковных сел, торгующие картошечками, морковочками, луковичками и свеклками — поштучно. Дикий рынок откликнулся и на сегод-няшний острый дефицит табака: ушлые «предприниматели», в основном, под-ростки и молодежь, продают стеклянные баночки, наполненные какой-то воню-чей чернотой. Чернота эта — «бычки». Окурки сигарет, добываемые, как подска-зывает логика, из заплеванных уличных урн...

* * *

Полетом над гнездом кукушки, как, с позволения читателя, я хочу назвать процесс массового сумасхождения в России, руководят, по моему впечатлению, специалисты — финансисты сегодняшнего дня, одна-единственная цель кото-рых — обогащаться в государственном, но прежде всего в личном масштабе. Что касается методов и путей личной наживы — это разговор долгий, хотя и необык-новенно интересный; но о финансовых операциях на благо страны в целом следу-ет заметить, что эти титаны коммерческих операций и вообще человеческой мысли не имеют никакого представления о том, что при стремлении нажить да-же гигантские материальные средства в цивилизованном мире существует про-фессиональная этика, которой нашим Кит Китычам, действующим пока что ки-стенем, обрезом и гирей на ремешке, — еще учиться и учиться. Валютное сума-шествование «на высшем уровне» в полном разгаре. Полтора года тому назад я жила в гостиницах «Украина» и «Советская», за которые, поскольку я была гостьей Со-юза советских писателей, платил Союз. На этот раз меня сунули в Переделкино, так как номера во всех гостиницах сдаются иностранцам под валюту — двести долларов или других инвалютных конвертируемых денежных единиц в день. Невзирая на страну, из которой заморский гость прибыл, статус, по которому он живет в СССР, и степень важности той организации, которая его пригласила, хоть бы и сам Совет министров. А взирая только на иностранный паспорт. Ли-цам из стран — бывших сателлитов, именовавшихся официально «странами на-родной демократии», делается поблажка и разрешается платить советскими «дровами». Но: пятьсот рублей в сутки, что превышает двухмесячный заработок «среднего» советского труженика.

Вероятно, ориентиром для этих свертупых московских «законодателей»-профанов послужили иностранные бизнесмены, за которых платит их фирма.

Как мне сказали знающие люди — никаких исключений даже в порядке блата. И поэтому, если бы даже американских «бабок» у меня было навалом, я и не подумала предаваться мотовству и обогащать хапуг, и жила у подруги.

То, что по советским понятиям соответствует «адекватности» Западу, иногда перемежается с настолько неестественным ходом вещей, что порой совершенно невозможно разобраться, где царит обычный, привычный морально-материальный уклад быта, а где — тихое безумие.

Судите сами: на шоссе Ленинград — Пушкинские горы (это мерзейшее название прижилось настолько, что молодежь с трудом расшифровывает эту аббревиатуру как Пушкинские горы, а исконное название — село Михайловское — помнят только специалисты по русской литературе) только две бензоколонки. Вез туда меня и Аллу Шелаеву, редактора ленинградского отделения издательства «Художественная литература», где в августе вышел мой одноклассник, молодой человек, только что женившийся на моей юной родственнице.

Игорь, как опытный водитель, конечно же, запасся горючим, наполнив в Ленинграде две канистры бензином, за которым простоял в очереди шесть часов. Это и спасло нашу отчаянную авантюру — пробиться без приключений на свидание к Пушкину, так как у несчастных вышеупомянутых двух бензоколонок по дороге Ленинград — Михайловское стояло по шестьдесят или семьдесят огромных грузовиков. Им, если бензина вообще хватит, предстояло залить бак только на следующие сутки, простояв в этой страшной сюрреалистической очереди от... 15 до 20 часов. Ну, а что же водители, работяги, неужели они никак не выражают своего недовольства?

Ведь прежде-то гегемон и шумел, и в драку лез, чуть что не по нем, и «выражался» самым накрепчайшим образом. Нет, ничего такого я не видела, не слышала, а наш водитель сказал, что ждать бензина, даже когда он есть, уже давно вошло в обычную бытовую накладку и понапрасну орать — только горло срывать. Поэтому-то все и молчат.

А вот гостиница «Дружба» в Пушкинских горах ни нареканий, ни насмешек вызвать не может. Тихо там, чисто и уютно. В ресторане — ни одного человека, еда свежа, дешева, превкусна и, претергательнейший момент — молоденькие официантки там принципиально не берут чаевых! И даже сувениров — даже американского карандаша или ручки... Таково их кредо, дань, что ли, преклонению перед старой Россией и Пушкиным.

«Не-е-т, есть еще в нашей стране и благородные стремления, и души прекрасные порывы», — мечтательно прикрыв глаза, думала я, сидя у окна своего маленького гостиничного номера, а потом, чуть приоткрыв занавеску, выглянула в окно и остолбенела. Господи, что это? Перед моими глазами сиял огромный, голый, как коленка, ровный каменный шар кремоватого цвета. Начинало уже темнеть, и смертельно струсив от того, что ко мне в комнату может ненароком влететь неопознанный летающий объект, я не стала поднимать «шухера», а спустилась вниз к администратору и спросила у нее, часто ли появляются тут НЛО и чему мы обязаны появлению такого объекта именно здесь, в местах, столь дорогих сердцу каждого истинно русского человека; а она и говорит: «А вы выйдете, да там, с воли, и посмотрите на этот объект, тогда все поймете». Я вышла, взглянула «с воли», спереди: передо мною возвышался каменный бюст Ленина из светлого гранита, с огромной, без единой морщинки, шаровидной головой инопланетянина.

«Вот так, — сказала мне администраторша, — вот, значит, отпустил нам центр из фондов пятьдесят тысяч на украшение Пушкинских гор. Чтобы облагородить местность и привлечь иностранцев. Ну, а чего же теперь на пятьдесят тысяч возьмешь-то? Разве что самое что ни на есть старье... Нужны дорогие экспонаты, а на наши мелкие средства их разве купишь? На складе во Пскове в наличии — только Ленины в разных видах, ну и взяли мы...»

«Запасайтесь, сволочи, гробами!» — изрек в свое время российский вития. Ну, насчет, «сволочей» я попрошу, а интерес ко гробам, да еще для собственной персоны, кажется мне неактуальным. Вообще же на многих московских магазинах «Похоронные принадлежности» прижилась записка с четкой информацией,

гласящей: «Гробов нет, обращайтесь в загородные организации». А вот что касается «валюты и брульянтов», как повелось в популярной когда-то песне двадцатых годов об одесском раввине и его дочери Енте, сбежавшей замуж за гражданина Иванова, то ими наш народ запасается уже давно и, надо сказать, весьма успешно.

Каждая вторая женщина в Москве (в Ленинграде это как-то меньше бросалось в глаза) разукрашена какими только возможно драгоценными камнями, существующими на нашей планете. Причина ясна — боятся инфляции и полнейшего обесценения отечественных денег, но в сочетании с жалкой повседневной одеждой и покорно-печальным выражением лица богатое это убранство совершенно не «смотрится», внося в нищий быт тоже какую-то не совсем нормальную ноту.

Так же, как и камни, отливают ярким, буйно-«брульянтовым» богатством и монологах в очередях. Запомнилось многое, но самое красочное, увы, я должна опустить по давнему (и непреложному пока) закону отечественной морали и уважающей ее печати, избегающей некоторых, понятных и пятилетнему россиянину слов. От души поддерживая это святое правило, я привожу самые безобидные из взятых мною на вооружение моно-диалогов:

— При Сталине и сигарет было сортов двадцать, и куры неслись бесперебойно, и погода стояла такой, как ей быть положено, а теперь? — сказала женщина в сером.

— А все они, армяне эти! — поддакнула другая, в коричневом. — Подстроили себе какое-то там землетрясение, а теперь прутся во все точки и в Москву нас обирать, мы квартиру двадцать пять лет ждем, три раза на улучшение нас совали, а им в Конькове две секции без очереди здоров живешь предоставили...

— Ельцин Россию спасет? Да вы посмотрите на его рожу! Это же бандит с большой дороги, — проскрипела еще одна.

— Господи, да до коего времени все будут так ненавидеть друг друга! — тихо прошелестело за моей спиной. Русских ненавидят, армян ненавидят... А на русских да на еврейх сроду вся Россия держалась. В чем была одета эта, с редким по объективности мышлением гражданка за моей спиной, разглядеть не удалось.

Публика в описываемой очереди за кефиром состояла сплошь из женщин по нынешним понятиям интеллигентных, и если бы я пикнула хоть одно «за» или «против», а тем паче полезла бы в спор, меня тут же бы растерзали на мелкие клочки.

Приведу еще один монолог: «Уезжать хочу, хоть в Израиль, хоть к черту на рога. Имею полное право. Мать полуеврейка, родилась в местечке на Украине, документы потеряны, всю жизнь считалась русской. Так я, не будь дурак, съездил туда, стариков нашел, которые деда помнят, все вещдоки отыскал и восстановил, — объявил мне молодой человек, окончивший институт международных отношений, — сейчас в юрконторе национальность заменяю». Возвращаясь же к магазинным речам, хочу напомнить, что в Петрограде Февральская революция началась с бабьего бунта, после того, как в лавках несколько дней отсутствовал хлеб. И честно признаюсь, что на месте этих женщин — уже не 17-го, а 90-го года — я хулиганила бы точно так же. Магазины пусты. В самом прямом смысле этого слова. Лежат пока только жестяные банки с едой детской, растворимой, в порошок. И все.

Основная московская тема для разговоров: по какой же все-таки причине, почему по всей стране все вдруг исчезло? Теорий на этот счет среди населения немного, и господствует одна: вредительство. Это слово для меня ассоциируется, с детством, так же, как и другое, «чистка», с предвоенных лет, когда один за другим стали исчезать наши старшие братья, деды, отцы, знакомые и соседи мужского пола. Кто-то из американских литературоведов в свое время удивлялся тому, что в произведениях Аллы Кторовой фигурируют большей частью женщины, когда речь идет о тридцатых сороковых годах. Это абсолютная правда, мужчины исчезли из нашей жизни, разве что мальчишки — соученики или семейные братишки с соседями. Мы росли в женском коллективе, неустанно благодаря товарища Сталина за наше счастливое детство.

Итак — вредительство. Думаю, что в исчезновении одновременно всех продуктов питания и товаров ширпотреба неповинна антигорбачевская мифическая мафия. Дело в другом: вспомним теорию домино, по которой последующее толкает предыдущее и валит все сооружение. Мистическая разруха всего — как материального, так, вкупе с ним, и духовного, подготавливалась всеми семьюдесятью тремя годами и произошла одновременно и необратимо. Не без воли Божией, конечно, добавлю я.

А теперь — конкретно. Не сомневаюсь, что многие из «старших» российских граждан помнят, какие деликатесы можно было купить в хороших «гастрономах» Москвы и Ленинграда (о провинции речи нет) до войны, когда положительно сказывался еще сравнительно малый срок, прошедший после победы Октября. Я даже цены на некоторые изысканные продукты (колбасу салями, ветчину, красную икру, пирожные) в памяти держу. Те продукты, которые до войны могли себе позволить купить все сколько-нибудь хорошо зарабатывающие, можно теперь увидеть только за пределами того государства, которое все еще носит по недоразумению название СССР. Или, может быть, и там они сохранились в закрытых магазинах?

Еще в шестьдесят девятом году число названий «хлебобулочных изделий» доходило в преискуранте чуть ли не до тридцати, но уже нелегко было достать, скажем, пастилу и мармелад. В нынешних же хлебных магазинах — только два сорта пренекусного хлеба, черный и белый, да и с этим, как видим, возникают перебои, а чтобы угостить меня пастилой и мармеладом, подруга завела невероятный блат в Главкондитере и выменивает там любимые кондитерские изделия на чай «Эрл Грей» — мечту всех москвичей, который я привожу и пересылаю ей из Соединенных Штатов.

Все более или менее съедобное перекочевало в спецторги, так как уже и самых простых продуктов питания стало не хватать.

Что же до мафии вредителей, — она начала губить страну не в годы горбачевской перестройки, а не менее чем 73 года назад, когда сначала стала красть у тех, кто «грабил», а потом уже и у самих себя.

В Голубом зале Дома Советов, бывшем малом зале Дворянского собрания, я была завалена записками слушателей о том, помогут ли Соединенные Штаты Советскому Союзу вообще и протянут ли руку с «вспомоществованием» стране своего рождения российские эмигранты. Подтекстом служила идея, что СССР теперь может спасти только золотой дождь долларов. Алла Кторова, «русская писательница за рубежом», как теперь меня называют в Москве, отвечала интуитивно, но твердо и безо всякого второго смысла то, что — так совпало — повторил президент Буш через несколько дней: золотого дождя долларов от правительства США — не ждите. Что же касается эмигрантов из России — это личное дело каждого; самый же лучший совет, который дал бы российским гражданам любой американец, звучит так: помогайте сами себе.

Уже более семидесяти лет народы Российской империи дрейфуют в моральном оцепенении над гнездом кукушки. О коллективной ответственности за сталинские времена, к чему призывал Илья Эренбург, я судить не берусь, так как жила тогда детской жизнью, но стопроцентно присоединяюсь к тем, кто говорит о будущей коллективной ответственности всех живущих сейчас россиян за то, что, если все так будет продолжаться, страна, устав мучиться, опустится, как Град Китеж, в преисподнюю.

Никто ничего не хочет делать. Даже для себя. Разумеется, говоря «никто», я не имею в виду тех еще сохранившихся тружеников, которые призывают остальных к активности и готовы встать в первые ряды спасителей отечества, ибо сейчас оно находится в смертельной опасности.

Ну неужели не видно, что лишение людей воли — это Божья казнь египетская номер один? Ведь все сейчас ожидают подачек — не чаевых, не подкупа, не взяток, которые везде были, есть и будут, — нет, люди ждут подаяния, которыми в любом нормальном обществе довольствуются лишь нищие, тунеядцы и прочие паразиты и дармоеды. Без подачки сейчас никуда — без шоколадки, ручки, платочка, яблочка, — в зависимости от своего дела. Рублевка теперь со-

всем не котируется — гони двадцатку, а за доллар вам ноги будут мыть и воду эту пить.

Никто ничего не хочет делать. Даже для себя. Не знаю, на что люди надеются, когда вся страна не только материально, но и в первую очередь морально, стоит у порога пропасти.

— Урожай горит? Опять в колхозы интеллигенцию тащите? Убирать некому? Некому убирать — нечего и сажать! — злобно, в один голос повторяют чей-то гнусавый афоризм миллионы обывателей.

Имею ли право осуждать этих людей я, которой «там, в Америке-то, ой-ей-ей как хорошо»?

Да. Имею полное право на это.

В Ленинграде мы сидели с подружкой детских лет в ее квартире. Домик, построенный в начале девятнадцатого века, стоял в большом церковном дворе, посреди которого возвышался один из известных соборов старого Петербурга. Подруга, за омерзительным турецким чайком, который турки продали по принципу «На, тебе, Боже...» за валюту, тихо вела следующее:

— Ты на Марата-то успела побывать? (На улице Марата. — А. К.) Ты помнишь, сколько в тех восстановленных послевоенных домах было напих с тобой кирпичей, нашего голода, холода, отчаяния, восторга? Да если бы тогда, в сорок пятом, нам даже кто-нибудь и объяснил, что это Сталин виноват в том, что две трети Ленинграда вымерло, стали бы кричать, что пусть, мол, он сам и восстанавливает Питер?

А для меня воспоминания о восстановлении Ленинграда — сладки. В пять тридцать утра, как только нас с Лялькой, которая приютила меня, нищую девочку без угла и куска хлеба, у себя в квартире на улице Марата, будили первые звуки радио, попив кипяточку с корочкой хлебца, мы бежали, нет, не бежали, а мчались к разрушенным домам на нашей улице. На стройку по восстановлению города. Никто на нас не давил, никто туда не звал, не приглашал, не мобилизовывал, никто не платил не только копеечкой, но даже лишним кусочком хлебушка, но мы-то, мы, от мала до велика, еще будучи тогда в здравом уме, и чувствовали и понимали, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Российский народ устал — вот ежедневная попевка всех совето- и кремленологов. Нет! Население всей планеты тяжело устало — по той причине, что наш маленький мозг не в силах справиться с эрой научно-технической революции, которая принесла с собой реалии, по сути, двадцать первого века. Но, как бы там ни было, давно уже стало ясно, что заклинания типа «Боже, спаси Россию!» — тщетны.

Русский народ терпелив? Эта сентенция еще мерзее первой. В день исчезновения хлеба в Москве я стояла вечером в очереди за диетическим ржаным хлебцем (который оказался отменно вкусным по сравнению с отвратительной «черняшкой») в булочной бывшей Филиппова на улице Горького, ныне опять Тверской, и именно в это время подкатили туда телевизионщики на предмет интервью очередников. И вот... после одного и того же вопроса ко всем, терпеливо выстаивавшим свои несколько хлебцев, а именно — «Чем, по вашему, чревато отсутствие хлеба в магазинах Москвы?» и разных на этот вопрос ответов, невысокого роста благообразный человек средних лет, засмутившись промямлил:

— А я, между прочим, потомок того самого Филиппова... Что же сказать-то? Русский народ терпелив... — и неопределенно пожал плечами.

И тут пишущая эти строки закипела, тут она загорелась, тут ее прорвало, и она выступила и сказала пару своих веских слов, — и хоть по американским понятиям, которые свято чту, я несколько перешла границы дозволенного в смысле повышения тона и выбора слов, все слушали внимательно, поддакивали, а после тирады даже пожимали ораторше руки. А из горячей и взволнованной собственной речи запомнила я лишь одну фразу:

— Вы не имеете права унижать Россию и ее народ своими пошлыми заявлениями. Российский народ терпелив, как вы изволили выразиться, не больше и не меньше, чем все другие народы, а предок-то ваш, знаменитый булочник Фи-

липпов, он чем свою известность на весь мир нашел — подлым терпением или умом, интеллектом и золотыми руками?

Еле успокоилась я после диалога с потомком российского булочника... Вечером этот репортаж показывали по телевизору.

То, что народы России просто не хотят ничего делать «назло им», мне стало особенно ясно на другой день после эпизода в булочной, когда в предпоследний день перед вылетом домой меня повезли на Школьную улицу, бывшую Первую Рогожскую, улицу ямщиков и извозчиков, единственную улицу в Москве, сохранившую первозданность начала 19 века. Здесь, на Рогожской, родились мой отец, дед и я, здесь жили мои предки, знаменитые на всю Россию ямщики Чепурновы. Сейчас улица закрыта для проезда, поскольку реставрируется (одна сторона почти готова). Жилище дедушки Тимофея Васильевича снесено, так как сгнил фундамент, но вместо него будет небольшой макет на постаменте, ибо этот дом (по свидетельству археологов, чуть не единственный в столице) сохранил в проемах дубовых окон сажу — оставшуюся от знаменитого московского пожара 1812 года.

Когда после осмотра Школьной мы выехали на Таганскую площадь и я взглянула «окрест себя», то душа моя исполнилась непередаваемым восторгом. Передо мною возвышалось великое реставрационное творение человеческих рук: старинный храм Андрониева монастыря, заложенный чуть ли не в 14 веке, а затем множество раз подвергавшийся перестройке (не путать с Андрониковым монастырем, где, по преданию, похоронен Андрей Рублев). Андрониев монастырь в полном и прямом смысле слова, как птица Феникс, восстал из пепла. Когда я уезжала в 1958 году в Америку, храм, с каждым годом советской власти все более избиваемый и терзаемый, выглядел запущенным, сгорбленным ничем: с ободранными стенами, грязным двором, по пояс заросшим травой и кучами мусора на кладбище-некрологе, где еще в пятидесятых годах можно было найти могилу Дмитрия Веневитинова, поэта, троюродного брата Пушкина. Потом кладбище срыли.

А теперь — возрожденный монастырь сиял красотой, молодостью и счастьем. Окраска стен отливала серым, «рытым» бархатом, купола и кресты, будто очищенные миллиметр за миллиметром человеческими руками, так били золотым сиянием в глаза, что не помогали и солнцезащитные очки. Это было одно из чудес, увиденных мною в жизни, и я с изумлением вскричала, повернувшись к шоферу: «Боже мой, кто же потрудился так, что храм узнать невозможно?» — на что он спокойно ответил: «Все сделано руками наших москвичей. И верующие, и просто добровольцы каждую субботу и воскресенье сюда ходили на восстановление. Мой отец, хотя и атеист, свои отпуска за два года здесь провел», — и назвал известную в Москве фамилию общественного деятеля.

Активности, только скрытой, у россиян и сейчас хоть отбавляй, но она тратится в основном на яростную брань в адрес Горбачева, первого человека, который взвалил на себя сизифов труд попытки преобразования того, что окажется непреобразуемым без помощи всех заинтересованных лиц. А заинтересованные лица пока заняты тем, что со вкусом, страстью и злоехидством обливают грязью Президента и всех иже с ним, получая истинное наслаждение от того только, что теперь никто никого за подобное выражение своих мыслей — не тронет. И всю дорогу от Москвы до Вашингтона в голове моей звучала дикая по бессмыслице частушка, услышанная все на том же Старом Арбате:

Я Ивана Кузьмича
Во сне видала давеча,
Чтобы сны мои сбьлисси,
Хай катится он в Тбилиси!

Ну какое имеет отношение все эти «давеча» и «сбьлисси» к Ивану Кузьмичу Полозкову, первому секретарю компартии РСФСР, личности действительно препротивной?

После очередного посещения России в самый интересный период ее истории, я еще более уверилась в том, что страну может спасти только упорный, самоотверженный труд ее граждан, когда, отбросив благоприобретенную мефистофельскую желчь, люди начнут работать без усталости ночью и днем по восстановлению, елико еще возможно, родной земли. Если граждане этого государства не преодолеют апатию и безразличие, замешанное на злорадстве и чувстве мести, история приплюсует эту бессмысленную жестокость к будущей коллективной вине ныне живущих в России. Те, кто вместо того, чтобы, засучив рукава, навести порядок хотя бы в парадном собственном доме, где пьяницы устроили ватерклозет, — втягиваются в свою раковину, исповедуя улиточную философию — «пусть восстанавливает тот, кто разрушал», и медленно, бездумно идут к еще большему безумию, которое, кроме гибели, не сулит ничего.

Народам России, думаю, пора перестать, наконец, совершать бессмысленные перелеты над гнездом кукушки — и навсегда свернуть с той безумной дороги, которую 73 года утрамбовывало кроваво-красное колесо.

Нью-Йорк

ИВАНОВ-РАЗУМНИК

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Речь на 83-м заседании Вольной Философской Ассоциации
28 августа 1921 года.

В воскресенье, 7 августа, в Вольной Философской Ассоциации было обычное открытое заседание — мы слушали доклад о Гете, — когда пришла не слишком неожиданная и все же ошеломившая весть: сегодня утром умер Блок...

Было это всего три недели тому назад — и как будто года прошли с тех пор: так смерть эта перерезала нашу эпоху на две совсем разные части — «до» и «после». Смерть эта — не рана в душах наших, которая затянется, заживет; смерть эта — не разрезала, а отрезала; не порез, но разрыв, не рана, но ампутация. Смерть Блока — символ; он умер — умерла целая полоса жизни.

И вот — всего три недели прошло, а уже можно смотреть в это прошлое историческим взглядом, нужно вспоминать, поднимая в памяти крепко залегшие, но такие близкие пласты, что, казалось бы, рано еще будить их к жизни. Вот почему, быть может, было правдиво наше первое чувство, когда мы решили не устраивать никаких заседаний «памяти Блока», предоставив это тем, кто может теперь о Блоке говорить спокойно. Я говорю — быть может это первое чувство было правдивым, но обстоятельства заставили нас от него отказаться: не успел Блок умереть, как справа и слева — или, вернее: справа и справа — стали раздаваться всякие случайные голоса, которые хотели из Блока сделать свое знамя — даже не знамя, а какой-то боевой вымпел. Мы же — твердо верим, что Блок есть знамя целой эпохи, и знамя только самого себя; и литературным, и политическим партиям, желающим причислить его к себе, надо с самого же начала сказать — руки прочь! Руки прочь! — кто из Блока хочет сделать поэта «будущего» в кавычках.

Но это — не моя задача сегодня; Андрей Белый в своей речи коснулся этого, дав облик цельного Блока, облик поэта-Диониса, не разорванного Менадами. Моя задача иная: вспомнить об отношении Александра Александровича к Вольной Философской Ассоциации, членом-учредителем которой он был. Но наша «Вольфила» создавалась и росла в бурном процессе кипения эпохи, и в отношениях А. А. Блока к Вольфиле мне — да и всем вам — может быть, интересно лишь то, что отражало самую эпоху, начиная с семнадцатого года. Я расскажу только очень немного — многого не скажешь, не потому, что времени мало, а потому, что время еще не пришло; из многого ограничиваюсь поэтому только очень немногим.

Мне придется начать несколько издавек, с года революции, чтобы рассказать об отношении Александра Александровича к Вольной Философской Ассоциации; придется быстро пройти по широким и крутым ступеням, годам революции, чтобы самому себе ответить на вопрос: как это случилось, что поэт революции не пережил революции?... Когда после прерванного заседания нашего 7 августа я зашел в последний раз наедине попрощаться с Александром Александровичем и увидел его уже на столе в пустой белой комнате, то хоть и не время

было вспоминать стихи Блока, — не до стихов было, — но сразу вспомнилось: «Иль просто в час тоски беззвездной, в каких-то четырех стенах, с необходимостью железной усну на белых простынях?» Вот они, передо мною, эти четыре стены... И знаю я: подлинно «в тоске беззвездной» уснул навеки среди них поэт. Простор революции — и смертная тюрьма; взорванный старый мир — и четыре стены; радость достижений — и беззвездная тоска. Как же могло свершиться это? Ведь не обман же памяти: «Все это было, было, было, свершился дней круговорот; какая ложь, какая сила тебя, прошедшее, вернет?» И как могла после того буйного воздуха стихии, которым поэт и мы дышали в «Двенадцати» и в «Скифах», появиться такая беззвездная тоска, от которой и умер поэт?

Тоски беззвездной не знал он в том семнадцатом году, с которого начинаю я эти краткие воспоминания. Я поздно встретился с Александром Александровичем — всего за десять лет до его смерти; но здесь я не коснусь двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого годов, эпохи «Розы и Креста», эпохи третьего тома стихотворений Блока, когда так часто приходилось видеться с ним и вести часами и ночами затягивавшиеся разговоры. Об этом — не сегодня. Были речи с ним до войны — о войне, до революции — о революции; были долгие беседы о символизме, в котором А. А. Блок видел (как и в войне, как и в революции) попытку прорыва омертвелых тканей хаотического Космоса или, что то же, космического Хаоса (его слова). Но, повторяю, об этом — не теперь. Теперь вспомню лишь о том, как встретились мы с Александром Александровичем уже летом семнадцатого года, после почти двухлетнего перерыва наших былых встреч. Вихрь последних лет войны и полугода «февральской революции» лежал между нами, когда в середине июля мы случайно столкнулись в трамвае и с полчаса потом вместе шли по улице.

Кто мы и где мы? Не на разных ли полюсах земли? Ведь эпохи сменились за два эти года, и, быть может, говорим мы на совсем разных и чуждых языках? Старые годы наших бесед целыми ночами в уютном редакторском кабинете «Сирена» — подлинно уже старые годы, и все былые уюты — дела давно минувших дней. Уж не жалеть ли о них? Я знал прекрасно, я твердо верил — хотя и ставил эти риторические вопросы, — что так «ощупывать» друг друга совсем не нужно, я шутя напомнил, говоря о современной эпохе «керенщины», что «всемирный запой» не излечивается эпохой «керенщины», что «всемирный запой» не излечивается никакими «конституциями» — если даже они носят имя «политической революции» (стихи Блока: «А вот у поэта — всемирный запой, и мало ему конституций»...). Блок улыбнулся, но тут же согнал улыбку с лица и сказал: «Да, знаете, — душно!» В пятнадцатом, в шестнадцатом году было тоже душно, но по-иному; была духота предгрозовая, была духота подвала. Но вот стены разрушились, гроза разразилась — но снова душно, хотя и по-иному, душно потому, что пытаются стиснуть, оковать стихию революции, которая ворвалась в жизнь, но еще не весь сор смела с лица земли. И мы поняли, что незачем нам говорить о партиях, о направлениях, но лишь о тоне и ощущении подлинной революции; где она, там был и Блок. В «керенщине» он задыхался.

Вскоре после этого мы встретились вторично и уже не переставали видеться до последнего дня. Я зашел к А. А. Блоку вскоре после первой встречи и принес ему недавно вышедший первый том сборника «Скифы». Вспоминаю об этом потому, что идея этого сборника связана не только с позднейшими «Скифами» Блока, но и с Вольной Философской Ассоциацией, зародившейся еще годом позднее. Идея духовного максимализма, катастрофизма, динамизма — была для Блока тождественна со стихийностью мирового процесса; только случайным отсутствием Александра Александровича в Петербурге и спешностью печатания сборника объяснялось отсутствие имени Блока в «Скифах». Первый сборник, посвященный войне, вышел в середине 1917 года, второй, посвященный революции, тогда уже печатался; я сказал Александру Александровичу, что не представляю себе третьего (предполагавшегося) сборника «Скифов» без его ближайшего участия. Он был уже знаком со «Скифами» и тотчас же ответил согласием. В «Скифах» тогда принимали то или иное участие почти все те, кто позднее так или иначе вошли в Вольную Философскую Ассоциацию.

К концу 1917 года, уже после октябрьской революции, вышел второй сборник «Скифов», опять без произведений Александра Александровича; он должен был появиться впервые в третьем. Кстати рассказать: в первом сборнике было напечатано стихотворение Валерия Брюсова «Скифы», и тогда мы говорили с Александром Александровичем, насколько эти брюсовские «Скифы» мало подходят к духу сборника (настолько мало подходят, что, печатая их, мы, редакция сборника, сами переименовали их в «Древних скифов» — так и было напечатано), говорили и о том, какие «Скифы» должны бы были быть напечатанными, чтобы скифы были скифами, не «древними», а вечными. А. А. Блок напомнил об этом разговоре, когда в начале восемнадцатого года дал мне прочесть только что написанных своих «Скифов». Вместе с тогда же написанными «Двенадцатью» они должны были открыть собою третий том нашего сборника.

Но времена переменились — не до «сборников» больше было. Жизнь после Октября кипела и бурлила, неслась бешеным темпом. Все силы наших сборников были перенесены с весны 1918 года в ежемесечный журнал «Наш путь», а еще ранее того, с конца 1917 года, в литературный отдел газеты «Знамя Труда», где и были напечатаны, через немного времени после написания, и «Двенадцать» и «Скифы». Помню, как торопил меня с их печатанием Блок, — «а то поздно будет»: ожидали наступления германцев и занятия ими Петербурга.

Кружок «Скифов», «Знамени Труда», «Нашего Пути» — тот кружок, о котором говорил А. А. Блок в своей посмертной записке о «Двенадцати». «Небольшая группа писателей, — говорит в ней Блок, — участвовавшая в этой газете и в этом журнале, была настроена революционно... Большинство других органов печати относилось к этой группе враждебно, почитая ее даже — собранием прихвостней правительства. Сам я участвовал в этой группе, и травля, которую поддерживали против нас, мне очень памятна. Было очень мелкое и гнусное, но было и острое».

Пройдем мимо этого и мелкого, и гнусного, и острого, мимо той травли, которой подвергся из всей группы больше всех именно Блок за свои «Двенадцать». Именитые поэты наши, травившие тогда Блока, печатно сообщавшие, что отказываются выступать на одних с ним вечерах и не подававшие ему руки — уже наказаны в полной мере: их имена перейдут потомству в этой связи с именем Блока... Глухие, они не слышали в те дни того «шума от крушения старого мира», того «слитного шума», который слышал он, того «шума», о котором двумя десятилетиями ранее сам он говорил: «Но ясно чует слух поэта далекий гул в своем пути»... К слову: вся судьба Блока в этом юношеском стихотворении. Помните: «Он приклонил с вниманьем ухо, он жадно внемлет, чутко ждет; и донеслось уже до слуха: цветет, блаженствует, растет... Все ближе — чайные сильнее, но, ах! — волненья не снести... И вещей падает, немея, слыша близкий гул в пути»... Я сказал — здесь вся судьба Блока; да, с той лишь разницей, что не от приближенья гула он «пал немея», а от смертельной тишины старого мира, сменившей собою пронесшийся гул. Глухие не слышали его; другие — слышали и не слушали: ненавидели. Оставим их, и мелких, и гнусных, и острых.

Я не буду касаться и той «одной из политических партий», о которой говорит в своей записке Блок и которой органами были и «Знамя Труда», и «Наш Путь». Или — только два слова. Наша «скифская» группа соединилась не на политической платформе, не на этом пути сошлись мы с А. А. Блоком, и только те, которые именовали всех нас «прихвостнями правительства», говорили, что, дружно работавшие вместе и в газете «Знамя Труда», и в журнале «Наш Путь», состоим на иждивении партии левых социалистов-революционеров. Нет, «скифы» — не партийны, но они и не аполитичны. Правда вот в чем: левые эсеры были тогда той политической партией, которая, признавая значение культуры вне всякой политики, предоставила нам экстерриториальность в своих органах (весь «нижний этаж» газеты, весь литературный отдел журнала были в нашем полном распоряжении); эти «политики» поняли, перед каким мировым явлением они стоят, когда впервые читали «Двенадцать» и «Скифов» Блока. И хотя с тех пор партия эта раздробилась и раскололась, хотя ей были суждены всеческие удары, хотя Александр Александрович не был, конечно, никогда членом ни этой, ни какой бы то ни было партии, но все же, поминая его, помянем добром и

тех, отошедших, которые чутко отнеслись к поэту, поняв его величину и значение.

Но это только к слову. Возвращаюсь к Александру Александровичу, к его переживаниям весной 1918 года. Острые это были переживания, он сам говорит; и уж, конечно, не было в них и следа «тоски беззвездной». Нет, не тоска была — был вихрь, смерч, стихия поднималась, катастрофа старого мира чуялась, и поэт «в последний раз отдался стихии»; была вера, была надежда, что революция не остановится на своем социальном рубеже, что она перейдет через эту ступень, что она пойдет и по другим, менее проторенным и более высоким путям. Вот почему так болезненно сжался Блок, когда знаменитый «Брест» стал ответом жизни на его «Скифов», когда в середине 1918 года уже ясно определились дальнейшие пути революции. Блок сжался и потемнел; горение кончалось, пепел оставался; медленно приступала к сердцу «беззвездная тоска»...

Зиму 1918—1919 года он переживал как «страшные дни» (так надписал он одну подаренную свою книгу в декабре 1918 года). Он вспыхнул было в последний раз при известии о новой волне революции — в Германии; но скоро погас. «Страшные дни» обступили его. Он видел их в прошлом, он провидел их в грядущем. «Мы, дети страшных лет России — забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы! Безумья ль в вас, надежды ль весть?» Так говорил он до войны, так чувствовал он после революции. Начинает тихую сагу своего старого мира; дни стихийного взлета революции — не вернуться. «Времена иные» — надписал мне Александр Александрович на экземпляре «Двенадцати» 1 марта 1919 года. И тихо, тихо, но беспощадно въедалась в душу поэта беззвездная тоска.

«Тоска беззвездная» заполонила душу поэта. Иногда он пытался стряхнуть ее, пытался верить в новые близкие взлеты, пытался иной раз вернуться к живой вере, построить ее хотя бы на мелких фактах. Припоминаю: как-то ранней весной 1919 года возвращались мы с ним ночью по грязи и снежной слякоти с одного литературного вечера, проходили пустынным Невским, где ветер свистел в разбитые стекла бывших ресторанов и кафе. Идя мимо этих разбитых окон и заколоченных дверей, Александр Александрович вдруг приостановился и, продолжая разговор, сказал: «Да, много темного, много черного, — но знаете что? Как хорошо все же, что мы не слышим сейчас румынского оркестра, а, пожалуй, и впрямь не услышим»... Румынский оркестр — как символ старого мира! Если бы А. А. Блок не был так болен в последние месяцы своей жизни, он узнал бы, что это вернулось; проходя по улице мимо освещенных окон ресторанов и кафе, он услышал бы звуки румынского оркестра...

Но я слишком далеко зашел в своих воспоминаниях, объясняя разрастание «беззвездной тоски» поэта; вернусь назад, к моменту ее зарождения, к весне и лету 1918 года. Газета и журнал, в которых работала наша «скифская» группа, — перестали существовать; о третьем сборнике нельзя было и мечтать в виду развала типографского дела и других условий. Дорога печатного слова была закрыта — оставалось обратиться к слову живому. Так зародилась в конце 1918 года идея Вольной Философской Академии, впоследствии переименованной в Ассоциацию. В ноябре была опубликована (во «Временнике Театрального Отдела») записка об этой Академии, подписанная Блоком и еще тремя учредителями; в большой напечатанной, но не увидевшей света афише, открытие назначалось в феврале 1919 года докладом Блока «Катилина — эпизод из истории мировой революции» (позднее работа эта вышла отдельной книжкой). В январе состоялось собрание учредителей Академии, среди которых, кроме Блока, присутствовали Андрей Белый, Петров-Водкин, Конст. Эрберг, В. Мейерхольд, А. Штейнберг и др. В ноябре 1919 года состоялось ее открытие. Первым докладом был доклад Блока — «Крушение гуманизма».

Я не собираюсь рассказывать про дальнейшую историю Вольфилены в связи с работой в ней А. А. Блока. Внешне участие его в ней было мало заметно; только раз еще выступил он в августе 1920 года и, открывая собрание, прочел замечательное свое слово о Владимире Соловьеве. Кстати сказать: именно в эти дни он в последний раз был в светлом, приподнятом настроении, именно в эти дни в последний раз покинула его беззвездная тоска. И, быть может, в этом последнем

луче жизни был хоть малый отблеск и вольфильской работы. Я видел Александра Александровича вскоре после этого заседания и помню, какими светлыми и хорошими словами говорил он (не мне одному — часто говорил он об этом многим близким ему людям) о том, что Вольфила теперь для него — единственное дорогое и светлое место, что хотя на соловьевском заседании многое было неудачным, «не-вольфильским», но в общем стоит и надо продолжать работу. Что такое было для него «вольфильство», почему здесь он чувствовал самое для себя близкое и дорогое (его слова) — надо ли объяснять? Он видел здесь продолжение работы той былой «скифской» группы, с которой он был так тесно душою связан. Но наша малая искра не могла надолго рассеять мрак его беззвездной тоски.

Да, впереди упорная и долгая работа — быть может поколений! — над выработкой нового человеческого сознания. Но стихийного взлета мирового пламени — нам уже не дожидаться. Правда, мы живем теперь в эпоху невероятных событий, быть может, самое невероятное станет возможным и осуществится, но в границах человеческого «здорового смысла» (который был так ненавистен Блоку!) наше поколение уже видело гребень волны, неслось на нем.

Чувство душевной опустошенности — в нем прошел последний год жизни А. А. Блока. «В сердцах, восторженных когда-то, есть роковая пустота» — эти строки, написанные до войны, Блок, говорю я, мог бы повторить и после революции. И в потрясающем стихотворении «Говорит Смерть» — недаром говорит о поэте она, освободительница: «Он больше ни во что не верит, себя лишь хочет обмануть, а сам — к моей блаженной двери отыскивает вяло путь»... И зашумел ветер за окном, — не тот «ветер веселый», который бурю пронесился в «Двенадцати», не тот «ветер, ветер на всем божьем свете», гул которого услышал поэт в мировой революции, — нет, другой ветер, другой вестник... «Зачем склонился ты лицом так низко? Утешься: ветер за окном — то трубы смерти близкой!» И смерть пришла, отворила дверь и саван царственный принесла ему в подарок.

Так умер Блок — от «роковой пустоты» сердца, от великой любви и великой ненависти. «Такой любви и ненависти люди не выносят, какую я в себе ношу». Да, надо было уметь любить и ненавидеть, чтобы отнестись к жизни так, как отнесся к ней Блок. Он был конкретный максималист — сказал о нем его друг, его брат, Андрей Белый. И именно потому связал он свое имя с Революцией — не с той политической, не с той социальной, которые хотя и велики сами по себе, но пишутся с маленькой буквы, а с той единой и подлинной Революцией, которую недаром и сам он писал с большой буквы, с той, которую он называл и другим именем в своих произведениях. Да, он умел любить и ненавидеть. Он умер, потому что был подлинным духовным максималистом. Он умер, потому что был лучше нас. А вот мы — мы еще живем.

Живем — но неужели только от слабости духа? Поистине — нет: живем мы верою, живем светом, который видим впереди. Свет этот угас для Александра Александровича — и обуяла его «беззвездная тоска». Вспоминается мне: поздней осенью 1920 года говорили мы с ним как-то о Вольфиле, о ее работе, о ее «скифских» задачах; он говорил о ней много сердечных слов, интересовался планами на будущее, потом остановился, помолчал и вдруг спросил: «Скажите, а вы верите? Я начинаю не верить»... Во что? Что это было — отречение от «Скифов», от «Двенадцати»? Из посмертной записки его мы знаем — нет. Это было неверие не в само дело, а в людские силы. Да, в Вольфиле мы стремимся не дать угаснуть в нашем поколении искре вечной Революции, той последней духовной Революции, в которой единый путь к чаемому Препображению. «Я начинаю не верить», — сказал Блок, — не верить в то, что мировую искру можно раздуть слабостью человеческой грудью, ее может раздуть в пламя только стихия. Но когда теперь снова придет стихия — мир загорится; нам же еще века быть может скитаться в пустыне, но вера наша, столп огненный — перед нами. Этой вере мы служим по мере сил в Вольной Философской Ассоциации; великим служением этой же вере была вся жизнь и сама смерть Александра Александровича Блока.

И теперь, без него, мы будем продолжать во имя его наше дело. «Без него» — еще жутко выговорить, трудно осознать, и недаром наше первое чувство было —

молчание. Для нас Блок был слишком близок и дорог, чтобы в первые часы, дни, недели можно было осознать гнетущую потерю, примириться с мыслью: Блока нет. Наш путь мы должны совершать без него.

Горько сознание: поэт, первый поэт XX века, глубинный трагический художник ушел от всех нас навсегда. Нам, близким сотрудникам и друзьям его, суждена и иная горечь: ушел от нас человек, начинавший с нами общее дело, вдохновлявший на трудную работу, помогавший сочувствием и сотрудничеством.

Радовало подсознательное чувство: Блок есть. Можно неделями не видаться, но каждую минуту можно повидаться с ним, увидеть его открытую, детскую и мудрую улыбку, услышать неизгладимый в памяти голос, говорить про общую работу, слышать слова сочувствия и ободрения, вместе работать в общем любимом деле. Это давало уверенность и силу.

И вот — нет Блока. И наше дело, дело Блока, становится теперь нашим долгом к Блоку. Первое чувство — молчание — надо преодолеть. Мы будем говорить о нем, великом поэте России, мы будем бесценно работать над «вечной памятью» Блоку. Но теперь последнее мое слово не о Блоке поэте, а о Блоке человеке. Близость его была нам великой радостью; утрату его мы переживаем как безутешное горе, для которого воистину слов не хватает. Ибо умер — Блок.

1921 г.

Послесловие

Разумника Васильевича Иванова (писал под псевдонимом Иванов-Разумник) можно с полным правом отнести к тем русским писателям, которым «не повезло» с посмертной судьбой. Выдающийся критик, публицист, историк литературы и общественной мысли, он в течение четверти века находился в эпицентре литературной жизни, редактировал ряд журналов и альманахов, близко дружил с Блоком, Белым, Сологубом, Есениным. А главное — позволял себе всегда иметь собственное мнение, и не просто держать его про себя, но громко высказывать вслух. За что и поплатился травлей, тюрьмой и ссылкой, смертью на чужбине и сорокалетним замалчиванием на родине.

Иванов-Разумник родился 12 декабря 1878 г. в Тифлисе в разночинной интеллигентной семье, хотя его родители происходили из дворян. Он учился в Первой петербургской гимназии, а затем и в университете, откуда был исключен за участие в студенческом движении. С 1904 г. выступает как критик «неонароднической» ориентации, а в 1906 г. выпускает свой первый капитальный труд «История русской общественной мысли» в двух томах, на который откликнулись М. К. Лемке, Г. В. Плеханов, Е. А. Ляцкий, С. Л. Франк и многие другие. В предреволюционное десятилетие он много пишет о текущей литературе, участвует в редактировании журнала «Заветы», в работе издательства «Сирин», дружки сближается с Блоком, Белым и Ремизовым — писателями из «другого», символистского лагеря. В 1912—1915 гг. его имя не сходит со страниц записных книжек Блока (как и позднее, в 1918—1921 годах). Влияние было обоюдным, а дружба крепкой и искренней, о чем подробно пишет А. В. Лавров в статье, предваряющей их переписку во второй книге «блоковского» тома «Литературного наследства» (1981). Это едва ли не единственный случай, когда была прорвана завеса молчания, окружающая имя и дела Иванова-Разумника на протяжении уже четырех с половиной десятилетий.

Критик восторженно принял Февральскую и Октябрьскую революции, став идеологом так называемого «скифства», национально-революционного движения, определявшегося «русским максимализмом». «Скифы» (А. Белый, А. Блок, С. Есенин, Н. Клюев, К. Эрберг и другие) группировались вокруг одноименного альманаха и ориентировались на партию левых эсеров, печатаясь в партийной газете «Знамя Труда». Связь Иванова-Разумника с эсерами была в целом неглубокой, но репрессии против них со стороны новой власти он воспринял как конец настоящей революции и начало новой диктатуры. Романтик по натуре, он,

как и Блок, трудно переживал крах своих революционных иллюзий — тем более в невыносимой атмосфере репрессий и доносов, которую установил в Петрограде «красный диктатор» Зиновьев. Созданная осенью 1919 г. Вольная Философская Ассоциация (Вольфила) стала по сути последним открытым пристанищем свободной мысли в Петрограде, поэтому так потянулись к ней и Блок, и Иванов-Разумник.

Он пережил Блока на двадцать пять лет. После смерти своего ближайшего друга продолжал свой ежедневный подвиг во славу литературы, выпускал, пока это было возможно, новые книги, из которых особенно выделяется сборник статей о Блоке и Белом «Вершины» (Пг., 1923), откуда и взят публикуемый текст. Цензурные репрессии вынуждали его оставить злободневные темы — и он продолжает свои историко-литературные занятия, сосредоточившись на изучении творчества Салтыкова-Щедрина и Блока. Им подготовлены капитальные собрания сочинений обоих авторов, написаны монография о Щедрина (первый том вышел в 1930 г.) и неизданная до сих пор «История стихотворений Александра Блока», использованная позднейшими исследователями, которые «почему-то» забывали ссылаться на ее подлинного автора.

В феврале 1933 г. Иванов-Разумник был арестован и выслан из Царского (Детского) Села, где он жил с 1907 г., в Саратов. Свое хождение по мукам он описал в прекрасной книге «Тюрьмы и ссылки», издававшейся за границей, но до сих пор не увидевшей свет у нас (на нее неоднократно ссылался в «Архипелаге ГУЛАГ» А. И. Солженицын). Он потерял возможность печататься под своей фамилией, и то немногое, что прорывалось в печать, было подписано «Р. Корсаков» и «Р. Новосельский». Судьба бросала его в Саратов, Каширу, Загорск, перед войной он смог вернуться в Пушкин (бывшее Царское Село). Помогал Иванову-Разумнику и всячески поддерживал его директор Гослитмузея В. Д. Бонч-Бруевич, но и он мало что мог. А сам он ни с чем не смирился, не покривил душой и не принял «приглашения на казнь», перед чем не устояли многие.

С началом войны Иванов-Разумник с женой оказался в зоне оккупации и попал в лагерь для перемещенных лиц в Конице (под Данцигом). Летом 1943 г. им удалось освободиться, и последние годы их нелегкой жизни прошли в скитаниях по Германии. Варвара Николаевна Иванова умерла 18 марта 1946 г. в Рендсбурге, 9 июня того же года скончался в Мюнхене и сам Разумник Васильевич. Но перед смертью он успел написать две пронзительно-трагических и беспристрастно-правдивых книги, которых ему не могли простить ни в сталинскую, ни в послесталинскую эпоху: «Тюрьмы и ссылки» и «Писательские судьбы». Отсюда же и грязная клевета о сотрудничестве его с немцами, которая до сих пор нет-нет да и проскользнет на страницах некоторых изданий.

В период оккупации сильно пострадали архив и библиотека писателя, оставшиеся в Пушкине, но часть удалось спасти героическими усилиями Д. Е. Максимова и других «пушкинодомцев». Заговор молчания против Иванова-Разумника, однако, продолжался.

Публикуя воспоминания Иванова-Разумника о Блоке в канун семидесятилетия со дня смерти великого поэта, мы надеемся, что будет услышано и дойдет до сердца читателя скорбное и правдивое слово честного русского человека, отдавшего — в самом прямом смысле — всю свою жизнь бескорыстному служению истине и культуре.

Василий Молодяков

Владислав ХОДАСЕВИЧ

БЛОК И ЕГО МАТЬ

В душе каждого человека, поэта в особенности, есть расплавленное ядро, недоступное никому и порой едва постигаемое им самим. Ядро окружено зоной, не всегда недоступною, но все же оберегаемою более или менее ревниво. Замкнутость человеческая определяется толщиной этой зоны, постепенно затвердевающей снаружи и переходящей в ту душевную кору, которая обращена к миру и подвержена его непосредственным воздействиям.

Блока нельзя назвать нелюдимым. У него были друзья, он поддерживал связи личные и литературные; немалую часть души отдавал он женщинам, которых насчитывал до трехсот — смотри его записную книжку. Со всем тем, некоторая замкнутость ощущалась в нем очень явственно. Очень близко от душевной поверхности начиналась у него та часть души, которою он соприкасался лишь с двумя людьми: с женою и с матерью. Но в этой части возникала и развивалась его поэзия. Поэтому она и предоставляет для нас особенный интерес.

До последнего дня своей жизни Блок неизменно и очень любовно хранил душевную близость с матерью. Эта близость порой подвергалась некоторым испытаниям, но для сохранения ее Блоку не надо было делать никаких усилий, ибо напротив — вряд ли бы ему удалось нарушить ее. Узы, соединявшие его с матерью, по-видимому, были крепче его сознательной воли. Последняя сущность этой связи лежала весьма глубоко. Поэтому многое в ней для нас и не ясно и даже не уяснимо. Должно быть, оно так было и для самого Блока, который сам не все в себе уяснял и уяснять не стремился. Однако наличие этой связи легко прощупывается, и некоторые (заранее скажу — смутные) черты ее все же можно наметить по его дневникам, записным книжкам и особенно по его письмам к матери. О прочности и значении связи свидетельствует уже само их количество. В двухтомном собрании писем Блока к родным (письма к жене сюда не вошли) имеется 635 писем за время с 1890 по 1921 год, год его смерти. Из них 571 письмо обращено к матери.

«Милая крошечка мама!» — пишет одиннадцатилетний Блок 10 июня 1892 года. В других детских письмах он ее зовет «крошка», «драгоценная маленькая крошка», «капельная мамочка» и еще нежнее: «забавник маленький!». Это не просто ласкательные имена: Александра Андреевна была маленькая, узкоплечая, хрупкая. В ее проворных, точно мышинных движениях, навсегда осталось что-то девическое или даже детское. Лицом она никогда не была хороша.

Происходила она из семьи Бекетовых — столбовых российских интеллигентов, родством и свойством связанных с Карелиными, Якушкиными, Соловьевыми. Дед ее был известный химик, академик Бекетов. Отец, тоже ученый, одно время был ректором петербургского университета. Мать оставила ряд переводных работ в стихах и прозе. Семья жила научными, литературными, музыкальными интересами. Атмосфера в доме была романтическая, приподнятая. Училась Александра Андреевна довольно плохо, зато увлекалась литературой и писала стихи, также, как две сестры ее. Была мечтательна, экзальтирована и нервна до последней степени. Была весела, порой шаловлива, но когда раз увидела в Неве утопленника, с ней сделалось нечто вроде нервного паралича.

Восемнадцать лет она вышла замуж за Александра Львовича Блока, приват-доцента, читавшего государственное право в Варшавском университете. С ним уехала она в Варшаву, где и прожила года полтора. Осенью 1880 года она приехала в Петербург к родным — замученная неудавшейся семейной жизнью, на восьмом месяце беременности. 16 ноября родила она Александра Блока, но к мужу уже не вернулась. Девять лет спустя она вышла замуж вторично — за Франца Феликсовича Кублицкого-Пиоттух, поручика лейб-гвардии Гренадерского полка.

Маленький Блок с первого дня своей жизни был окружен экстатической любовью прабабушки, бабушки, матери, теток. Впоследствии эта любовь перешла в восхищение и поклонение, которые сопутствовали ему всю жизнь. Восхищались его наружностью, его способностями, его стихами — с первых до последних. Следили за каждым шагом его, за всем, что его касалось, принимали все близко к сердцу, во все любовно вмешивались, — вплоть до его ранних сердечных дел. Тщательно берегли о нем сувениры, начиная с его детских писем. Он привык давать матери подробнейшие отчеты о всех мелочах своей жизни. В детстве хворал он желудком, и, гостя у родных в деревне, сообщал матери, что и когда съел и как желудок подействовал. Но вот 17 августа 1903 года он женился и после венца уехал с молодой женой в Петербург (свадьба была в деревне). 20 августа он сообщает матери из Петербурга: «Милая мама. В квартире удивительно хорошо. Любе все очень нравится. Когда приехали (в ландо!), получили пирог от Евгения Осиповича... На кольцах вырезали имена. Кушали: различные супы, котлеты, бифштексы, зразы, конфеты, груши, сливы и сладкие пироги». Гастрономические отчеты составляют один из лейтмотивов его переписки с матерью — не потому, что он любил покушать, а потому, что она и этим интересовалась. С такою же тщательностью всю жизнь сообщает он ей о поездках по железной дороге. От их имения до Петербурга езды была одна ночь по Николаевской железной дороге. Но вот — типичная открытка, посланная 27 августа 1905 года: «Милая мамочка, доехали недурно. В Клину пересели в № 12, т. к. 16 был набит. Спали, несмотря на тесноту и жару, хорошо. В Любани пили чай и кофей. Опоздали около часу, приехали около 10 часов (вместо 8.45). Любе с утра противно, а мне — нет. Потому что я умывался, а Люба — нет. Кушали в вагоне (Люба говорит) мало, но я — много. Все время — солнце...» И так как он уже взрослый и понимает смешную сторону подобных отчетов, то иронически заканчивает письмо: «Петербург расположен на обоих берегах Невы».

Параллельно с отчетами о еде и езде тянутся отчеты о разных других мелочах: о принятых ваннах, о прислугах, о купленных книгах (с указанием цен), в особенности подробно — об устройстве квартир и комнат, о расположении книжных полок и т. д. В гимназическую пору писал он ей письма в виде дневников, в которых события прослеживались не по дням, а по часам. Такие же дневники посылал он ей не раз и впоследствии: между прочим, когда в начале 1904 года ездил в Москву знакомиться с молодой литературой, с кружком Андрея Белого, с Брюсовым. Впрочем, можно сказать, что и большинство его писем отчасти приближается к дневнику: с такой обстоятельностью в них сообщается о времяпровождении, посещении лекций, театров, концертов, о том, где и когда был сам Блок, куда ходила его жена и кто приходил к ним.

* * *

До женитьбы, то есть до 1903 года, Блок жил с матерью под одной кровлей. Они почти не разлучались. Но и после женитьбы разлуки их бывали непродолжительны. Только раз Александра Андреевна с мужем на полтора года переселилась в Ревель, да и за это время она приезжала к сыну, и он ездил к ней. Вообще же оба они жили в Петербурге или в деревне, и переписываться им случалось лишь в те сравнительно небольшие промежутки, когда не совпадали сроки их пребывания в имении, когда Блок уезжал за границу (оба раза — ненадолго) или на фронт, наконец — когда Александра Андреевна жила в санатории. Если при этих условиях за семнадцать лет накопилось более пятисот его писем к ней, то уже одно это свидетельствует об интенсивности переписки. И в самом деле, расставаясь, писали друг другу они почти ежедневно. Она не только страстно хотела следить за каждым часом его жизни, но и считала это своим неотъемлемым правом. Впрочем, такие слова, как право или обязанность, тут даже и не подходят. Кажется, не только она бы не вынесла, если б не знала о нем чего-нибудь, но и он увидал бы себя совершенно осиротелым, если бы вдруг перестал ощущать ее пристальный, неотрываемый взгляд. И как в детстве он ей сообщал под-

робности о желудке и не стыдился перед нею своей наготы, так в зрелые годы он с младенческой нестыдливостью сообщал ей такие вещи, которые как раз всего менее принято рассказывать матерям. «Я провел необычайную ночь с очень красивой женщиной», — пишет он 18 апреля 1908 года. — После многих перипетий очутился часа в 4 ночи в какой-то гостинице с этой женщиной, а домой вернулся в девятом. Так и не лягу. Весело». Ровно через месяц он ей рассказывает: «Мама, последние дни я ложусь спать через ночь и трачу много энергии на вино, катанья по морю, блуждания по полям и лесам, на женщин». Замечателен эпический тон таких рассказов: Блок не кается и не бравирует и от матери не ждет никакой критики. Сообщает ей, точно сам для себя вспоминает или записывает в дневник, отмечая лишь факт, чтобы она знала о нем все то, что он знает сам.

Так же эпически он ее извещает о приступах пьянства и о периодах трезвости: «Мы с Кокой были пьяны вдрызг». Это — по случаю окончания гимназии. Но точно так же и впоследствии, когда он пил не на радостях и не случайно: «Я вернулся рано, по редкости случая трезвый»; «пью только редкими периодами»; «третьего дня был пьян до бесчувствия»; «напиваюсь ежевечерне»; «пью мало, с Чулковым вижусь реже»; «пил один, а также с Чулковым»...

Такие сообщения он делал без комментариев — она их без комментариев принимала. Видимо, только раз она его слегка упрекнула — и он ответил: «Ты права, мама: не пить, конечно, лучше. Но иногда такая тоска, что от нее пьешь». В другой раз он сам как бы оправдывается: «Отчего не выпить иногда, когда жизнь так сложилась». Это показывает, что мать была хорошо осведомлена насчет того, как именно «жизнь сложилась», и что она, в конце концов, признавала за ним правоту, когда он пил.

Александра Андреевна действительно знала о своем сыне все — и не только знала, но оказывалась действующим лицом в таких событиях его жизни, которые, казалось бы, не допускали ничьего вмешательства. О личной драме, разыгравшейся в жизни Блока с самого дня его женитьбы, сейчас говорить не время. У меня есть основания полагать, что эта драма и никогда не будет до конца исследована, хотя она очень тесно связана с историей его поэзии. Однако можно сказать уже и теперь, что отношения Блока с женой, в которых весьма реальное горестно и мучительно переплелось с совсем не реальным, осложнились параллельно происходившими трениями между его женой и матерью. Но это были отнюдь не обыкновенные неладья свекрови с невесткой. Александра Андреевна предъявляла к Любови Дмитриевне требования вполне мистического порядка, и если происходили меж ними житейские столкновения, то это была лишь проекция совершенно иного раздора. Если бы Блок был немного менее честен с собою и немного менее откровенен с матерью, ему не трудно было бы ослабить раздор между Любовью Дмитриевной и Александрой Андреевной. Но перечитайте его письмо, изданное в этой части с купюрами, — и вы увидите, что с совершенным непониманием, как можно допустить ложь, или хоть полуправду, или хоть умолчание, — он сообщал матери о жене все то, что должно было восстановить мать против жены.

Несколько огрубляя предмет, можно сказать, что борьба между Александрой Андреевной и ее невесткой шла за тот, а не иной характер влияния, оказываемого Любовью Дмитриевной на Блока. Но этого мало. По-видимому, если бы даже это влияние было именно таково, как хотелось бы Александре Андреевне, — она все равно бы не примирилась, ибо в глубине души не хотела допустить никакого влияния вовсе. Она ревновала. И хотя Блок был весьма далек от того, чтобы «оставить» мать и «прилепиться» к жене, и хотя в вопросе о характере, о цвете влияния стрелка его сочувствия очевидно склонялась в сторону матери, — Александра Андреевна не переставала ревновать. Она хотела, чтобы путь к душе Блока шел через нее и чтобы все признали, что так должно быть. Потому-то другие женщины, которыми порой увлекался Блок, оказывались на сей счет покладистее его жены: они явственно старались приобрести сочувствие Александры Андреевны и порой добивались этого откровенно лестью, и Александра Андреевна дарила их своей дружбой, потому что ей казалось, что душу Блока они у нее

не отнимают. Меж тем, не слишком интересуясь душою Блока, они-то и окрашивали ее в те темные мистические цвета, которых так боялась Александра Андреевна.

Весной 1908 года Андрей Белый выпустил свою «Северную симфонию». Рассказав о ней матери, Блок прибавляет: «Я просил его прислать ее тебе». Через четыре дня — вновь о том же: «Боря пишет мне восторженные письма (обещает, между прочим, прислать тебе «Симфонию»). И через год: «Получила ли ты Зайцева в подарок? (мне он прислал)».

Он хлопотал о том, чтобы знакомые писатели посылали ей свои книги. Он добывал ей театральные билеты, извещал ее о лекциях, концертах, литературных собраниях, — не говоря уже о том, что она непременно бывала на всех вечерах, где он выступал. В феврале 1921 года, в лекторской комнате «Дома Литераторов», разговаривая со мной, он все беспокоился, как бы мама не опоздала к началу его речи о Пушкине, хотя за несколько дней перед тем она уже присутствовала на первом чтении той же речи.

Несомненно, она искренно была занята литературными вопросами и делами. Но, по моему личному впечатлению и как можно почувствовать по письмам Блока, большую роль тут играла ее гордость сыном и свойственный многим истеричкам страх быть незамеченной. Впрочем, с ее литературными мнениями Блок считался не только потому, что хотел утолить ее самолюбие. Кажется, было и это, — однако, к ее суждениям он прислушивался, хотел знать их, дорожил ими. «Напиши мне о Факелах», «твое мнение о рассказах Городецкого, по-моему, очень тонко — и исчерпывающе». Таких фраз немало в его письмах. Все собственные писания он читал или посылал ей, и она иногда судила их строго. «Я почти поверил тебе, что стихи мои плохи», — пишет он 27 ноября 1907 года. В другой раз: «Сегодня получил твое письмо. Да, статья о Бальмонте скверная». Посылая «Песнь Ада», он прибавляет: «Я думаю, что тебе она не понравится, как и мне нравится ограничительно». Когда же выяснилось, что, напротив, стихи ей понравились, он и сам осмелился похвалить их и отметить их достоинства.

Чтобы признать чей-либо авторитет, мало любить человека, надо его уважать, мало — признавать за ним знания, надо еще иметь общую базу суждений. Тут мы и подходим к тому, что связывало Блока с его матерью.

Александра Андреевна смолоду была религиозна и экстаична. По-видимому, первоначальные религиозные, а потом и мистические чувства были привиты Блоку именно ею. Этим переживаниям она придавала определенный оттенок, и поскольку они никогда уже Блока окончательно не покидали, поскольку до конца составляли они глубочайшую основу его внутренней жизни, — постольку нам ясно, что тут-то и заключилась причина неразрушимой и, главное, постоянно возобновляющейся, как бы воскресающей из пепла, его душевно-духовной близости с матерью. Достоверно свидетельствует об этом и ряд его стихотворений, посвященных ей. В чисто литературном отношении это далеко не лучшие его стихи. Литературные их достоинства умаляются неясностью, туманностью, но самая эта туманность всего лучше свидетельствует об их глубокой интимности. Несомненно, они полны намеков на недошедшие до нас важные беседы между сыном и матерью; несомненно, что эти туманные высказывания и смутные образы восходят к важнейшим темам и сторонам их внутреннего общения.

Необходимо заметить, однако, что это общение, совершенно необходимое для Блока, в то же время подвергалось как бы постоянному кризису. В Блоке довольно рано наметился протест против мистики вообще или, по крайней мере, против некоторых форм, которые она порой принимает. Насколько тут прав или не прав был Блок — вопрос особый. Факт, что этот протест в нем жил и сказался во многих записях его дневников, в его переписке, в статьях его, наконец — в его пьесах, особенно в «Балаганчике». В конце концов, сам он был и остался мистиком на всю жизнь, но порочные формы мистических увлечений, которые приходилось ему наблюдать в ближайшем семейном, дружеском и литературном окружении, уяснились ему давно. В записной книжке 1906 года посвятил он сравнению мистики с религией несколько страниц, в которых рядом с отчасти

сбивчивыми местами встречаются формулировки очень отчетливые. «Мистика — богема души», — говорит Блок. «Сильная душа пройдет насквозь и не обмелеет в ней, так как не убоится здравого смысла. А слабая душа, вечно противящаяся «здравому смыслу» (во имя нездорового смысла) потеряет и то, что имела. (Лучше ничего не иметь, чем хлыстик вместо бича...)» Из мистики вытекает истерия...»

В этих несколько раздраженных суждениях многое основано на опыте личного общения с некоторыми мистиками и, кажется, прежде всего — с матерью. Поэтому Блок был бы гораздо более прав, если бы сказал иначе: не «из мистики вытекает истерия» (это обще и неверно), но примерно так: «мистика часто подменяется истерией», или: «нередко истерия принимается за мистику».

Александра Андреевна была очень болезненна. Сердечной болезнью страдала она по крайней мере лет с тридцати пяти. Истерия в ней начала проявляться с отрочества и приблизительно с 1908—1909 года приняла очень острую и тяжелую форму. Александру Андреевну несколько раз приходилось помещать в санаторий. Вообще же заботами и тревогами и о здоровье наполнены письма Блока и его дневники.

Ей свойственны были припадки болезненной меланхолии. На нее накатывала беспричинная тоска. И то и другое в ней смешивалось с переживаниями мистическими, которые были ей в самом деле свойственны. Поэтому, в конце концов, как все истерички, она любила свою болезнь, ценила ее в себе и не умела и не хотела различать, что в ее мировоззрении от истерии, что — от мистики. Блок понимал это — иногда слабее, иногда отчетливее, а так как помимо матери вокруг себя видел он много примеров такого же смещения, то, в конце концов, это влияло на его отношение к мистике.

О необходимости отделять болезнь от мистики и мирозерцания говорил он матери то намеками, осторожно, то очень откровенно. «Тебе было бы полезно иногда мириться, что ли, и вообще подавлять остроту и тупость своей тоски. Я думаю, что тут нет греха». Так пишет он ей 10 апреля 1908 года и прибавляет через несколько строк: «Хотел бы я заразить тебя хоть частью своей простоты и ясности». В 1910 году, когда она была в санатории, он ей писал: «По тому, что ты пишешь, доктор Соловьев — милый человек. И гораздо лучше, что он — анти-мистик, не всем же и не вечно видеть изнанку мира и погружаться в сны». Через несколько дней: «Живи, живи растительной жизнью, насколько только можешь, изо всех сил, утром видь утро, а вечером — вечер». В одном письме он прямо заявляет, что ее состояние есть следствие переходного периода.

Забавно, что иногда он осмеливался доходить до иронии по отношению к ней. Эта ирония едва уловима, конечно, но она, несомненно, присутствует в письме от 21 февраля 1911 года, когда в ответ на ее письмо не без бравады он заявляет, что телесная культура «должна идти наравне с духовной», и затем рассказывает ей о французской борьбе, о «гениальном» борце Ван-Риле, который его вдохновляет для поэмы «гораздо более, чем Вячеслав Иванов», и наконец сообщает, что решил как следует заняться гимнастикой. Это письмо, разумеется, ей не понравилось, но он не унылся и в следующем не без яда и не без задора спрашивает: «Что же ты не отвечаешь мне на письмо о гимнастике?» Заметим, однако: это — самое обидное, самое злое что он когда-либо ей написал. Впрочем — было еще раз, в ту же пору. Недели две он изо всех сил старался найти ей меблированную квартиру в Петербурге, куда она должна была приехать из санатория. Одно за другим сообщала она ему свои требования касательно цены и обстановки. Наконец потребовала она, чтобы в квартире была и посуда. Тут он не выдержал: «О-го-го, еще и посуда!» Но, должно быть, почувствовал страшную грубость в этом «о-го-го» и тотчас прибавил: «Ну, постараюсь поискать». И на другой день нашел.

И все же он сам был подвержен таким же смутным и мутным приливам тоски, как она. Как она — прислушивался к беспричинным своим «настроениям». Как она — связывал мысли и чувства с обстановкой квартиры, с погодой и цветом неба. Как она — «частенько находился по отношению к земному в меланхолическом состоянии». Как она — в личных минутных переживаниях искал и на-

ходил предвестия будущего и ответы на вопросы, которые лучше решать не на столь шатких основаниях. Они глубочайшим образом были схожи.

Он даже верил, что между ними есть тайная, неуловимая и неуяснимая связь. Самые тревожные ее письма одним фактом своего появления утешали и успокаивали его. Вот типичный отрывок из его записной книжки: «Днями изнервлен, устал, почти болен, зол. Все это может предвещать — или наступление новых бед, событий, потерь, уничтожений, или — проходящий кризис, начало чего-то нового опять, обновление жизни, возврат вдохновения. Письмо бы от мамы!»

Она ему сообщала о своих снах, и он придавал им значение. Иногда она видела во сне его, и тогда он ей рассказывал, что в этом сне соответствовало действительности, а что — нет. В ответ на ее письма о снах посылал ей телеграммы, чтобы она не тревожилась. Он верил, что между ними есть общение телепатическое. 14 февраля 1911 года он пишет: «Без конца не мог заснуть и тосковал, как давно не бывало (от 3-х до 5-ти час. ночи на 13 февраля. Не чувствовала ли ты себя скверно?)». Обратный случай. В ответ на ее письмо с описанием тяжелого сна, он пишет: «Мама, я здоров. Вчера вечером были Женья, Ге и Пяст, и я, от сильного напряжения, скверно чувствовал себя ночью. Может быть оттого ты видела сон. Господь с тобой».

И в самом деле, какая-то пуповина между ними не была оборвана. Они понимали друг друга так, как уже их не понять. И в стихах его есть несвязные бормотания о том, чего язык не мог выразить. Наверное, ей они что-то говорили — если не уму ее, то хоть сердцу.

За месяц до смерти рассудок Блока стал омрачаться. Он говорил непонятные вещи. Мать долго не хотела, чтобы об этом знали. Может быть, потому, что для нее это было не так, потому, что в этом состоянии она еще по-своему понимала его, ощущала его мысль, как за сорок один год до того ощущала его тайные движения, шевеления, толчки — под сердцем. Сама она пережила его не на много.

Публикация Надежды Рейн.



ХУДОЖНИК В УШЕДШЕЙ РОССИИ

Глава VI

Из Мюнхена я с Грабарем и Траубенбергом поехал в любимое мной подмосковное имение отца Наро-Фоминское.

С Грабарем я сохранил самые добрые отношения, уже не как с учителем, а как с товарищем, художником и советником. Я чувствовал, что он мне нужен, как опора, как человек, связанный со мной столькими мюнхенскими переживаниями и художественными интересами. Обо всем этом дома было не с кем говорить.

Есть существа, как известно, химически не соединимые, есть человеческие группировки, не соединимые психологически. Такими несоединимыми элементами были наша тройка и мои родные.

Грабарь, уважая моего отца, был весьма чужд ему по типу, умственному складу, природе и интересам, а отец в очень многом, даже главным, в силу разницы поколений, понятий и интересов, не мог оценить Грабаря. То же с Траубенбергом. Но что было для меня несравненно более мучительно, это ясное сознание, насколько моя новая самостоятельная жизнь меня отделила от моих. Мы, трое, говорили на одном, мюнхенском языке, а мои говорили на другом. Для нас искусство было все, а для них это было что-то даже несколько тревожное и случайно вторгшееся в тихий, патриархальный уклад русского старорежимного быта.

Но зато в России мы почувствовали себя не чужими. Было ясно, что не только мы не «онемечились» (хотя Грабарь гораздо дольше нас прожил в Германии), но остались русскими до мозга костей. Мы радовались и наслаждались свежо, молодод всем русским — березами, лесами, русским липовым садом, милой речкой, пестрыми ситцевыми юбками и платками баб.

Увлекались мы по приезду и русской литературой, читали вслух Чехова, а днем шли с палитрой работать в сад. Хорошие пейзажи Грабаря того времени у меня висели в собрании картин.

Я шел в живописи по некоей средней линии, не бросая импрессионизма (не легко порвать с усвоенным навыком), но все же отходя от него постепенно. Бросив разложение красок, я свободнее и непосредственнее писал баб в сарафанах на фоне пруда, детей с зайчиками солнца, играющих в зеленой тени вековых лип нашего старого парка. Написал я с любовью портрет одной девочки, весьма удавшийся, не без влияния Ренуара, столь порадовавший моего бывшего учителя. Я не жалею, что все работы того времени сгнули без следа, но этот портрет мне жаль.

Деревенская жизнь все же смягчала многое, что могло бы быть мучительным без умиротворяющего ее воздействия при столь необычном контакте моей семьи с нашей художественной средой.

Эта дисгармония, при всей моей привязанности душевной и глубокой к старому укладу жизни, заставила меня принять твердое решение устроить дальнейшую мою жизнь на новых началах, самостоятельно, и я решил поселиться в Петербурге.

Петербург «самый фантастический город в мире», как назвал его Достоевский, был для меня «новой Россией».

Только раз я пожил в нем студентом, в морозный Рождественский праздник, но, проводя целые дни в Эрмитаже, не мог проникнуться ни его духом, ни его стилем, ни особым характером его жизни и, живя у моей тетушки Щербатов-

вой (урожд. гр. Паниной), кроме близкой родни, никого тогда не видел. Петербургское же общество видел лишь вскользь, на огромном нарядном балу, с блестящими гусарами, кавалергардами и придворными дамами. Это было общество иного стиля, чем московское.

Наша семья была московская по духу, а мой отец до крайности ненавидел Петербург, весь уклад его жизни и дворцовую атмосферу. Нельзя представить себе кого-либо, в частности, «русского барина», более полярно-противоположно-го типу «царедворца», чем мой отец. Петербуржцев он называл «лакеями» или «чиновниками», а дам «des femmes de chambre», подобоострастно подлизывающимися ко двору и сплетничающими о своем «барине» и «барыне» — царе и царице. Все это уживалось с его монархическими убеждениями, но дух Петербурга был для отца неприемлем, да и вся деятельность роднила его с Москвой.

Водворился я в Петербурге, к ужасу всей столичной военной и служилой родни, не как «ихний», а как молодой художник, сразу и нарочито от всех них отмежевавшийся и замкнувшийся, как оригинал и отщепенец. Это внесло некоторый холод в отношения, которыми я не так уже и дорожил, сохраняя при редких встречах и за зваными обедами с очень милой моей родней и знакомыми, с которыми у меня было столь мало общего, — конечно, самый дружелюбный тон.

С другой стороны, «богему», богемный образ жизни, которым так дорожил Грабарь (что временно было полезно), я бросил, считая это предрассудком и располагая значительно большими средствами, чем в Мюнхене. Зажил я своей довольно замкнутой жизнью в небольшой, но уютной, холостой квартире со светлой комнатой-мастерской на Пантелеймоновской улице. Мне было по сердцу это место. Рядом чудесный Летний сад, столь стильный со своими аллеями, статуями и чудной решеткой. Цепной мост, Фонтанка с ее очаровательными набережными и великолепным, жутким по воспоминаниям, Инженерным Заком.

Моя комната-мастерская, конечно, оглашалась пением птиц в большой клетке, которым я остался верен в своей любви, и криком обезьян, бывших, наряду с собаками, спутниками моей жизни. Одна из них, большая, с черным «лицом», до жуткости человеческим, с белой бородой, серо-оранжевой шерстью и длиннейшим хвостом (священная Обезьяна Индии) была настоящим другом. Жила она со мной долгие годы; умнее животного я не встречал.

Вменяю себе в некоторую заслугу, что я не растерялся в новой для меня петербургской обстановке и среде и сразу серьезно и усиленно взялся за работу, пока не увлекся другим (о чем речь впереди), брал натурщиков и писал много, стараясь в одиночестве самостоятельно, после школьных лет в Мюнхене и столь разнообразных впечатлений, выбраться на свой путь в живописи.

Нередко, в часы сомнений, чувствуя некоторую растерянность, я еще в Мюнхене поднимал с Грабарем и моими товарищами вопрос, всегда меня мучивший и особенно остро поставленный в эпоху крайнего индивидуализма и свободы в искусстве, когда полная непохожесть на кого бы то ни было вменяется в главную заслугу. Все прощается, если это самобытно, вполне «свое», а главное, никогда не видано. Вредна ли школа (не учение, а обучение), вредны или полезны разнообразные впечатления, получаемые в музеях и на выставках, не мешает ли все это сосредоточенному, последовательному развитию индивидуальной личности художника, могущего сбиться с пути, по которому он призван идти в силу личного темперамента, мировоззрения и «глаза»?

Школофобия и музеофобия (как у моего приятеля, скульптора Паоло Трубецкого, о котором речь впереди) были у некоторых художников своего рода догматом. Музеи почитались кладбищами, школам инкриминировались догматика и шаблон.

Я уже тогда, помню, высказывал мысль, что соборное творчество, не обособленное и не давимое школой, есть самый высокий принцип и путь для великих достижений, что отдельный атом их достичь в краткой жизни не может.

Соборное творчество и влияние той или иной «школы» понятия, совсем противоположные друг другу.

Грабарь на тему об индивидуальности художника, наиболее меня тогда тре-

вожившую, высказывал мысли, рассеивавшие отчасти мои сомнения. Его убеждения сводились к следующему положению: слабая индивидуальность может быть забита школой и разнородными влияниями, но без них она навряд ли и сама могла бы дать что-либо ценное; крепкая же индивидуальность только может еще более окрепнуть, пройдя школу и пропустив через свое сознание анализ и критику, богатый разнородный и разнокачественный материал, который дают музеи и выставки. Опасаться их означало бы впасть в обскурантизм и бояться за самого себя, не верить в себя.

В Петербурге рано темнело. Трудно было привыкнуть к его мрачным осенним и зимним дням, когда с утра приходилось зажигать большие «угольные» электрические фонари, дававшие особенный белый свет в мастерской.

В звуках и запахах есть магическая сила. Они воскрешают в памяти целый ряд образов. Эти два фонаря в моей рабочей комнате в Петербурге издавали особый гул — протяжный, не раздражающий, а успокоительный. После долгих, долгих лет вспоминается этот звук, и он воскрешает в памяти всю обстановку, всю мою жизнь в тогдашнем Петербурге, мрачном зимой, сказочно-обворожительном весной, всегда призрачном, величественном, необычайно-красивом, тогда как запах мимоз неразрывно связан для меня с жизнью, после революции, в моей вилле в Каннах — тоже призрак прошлого.

Вспоминаются ярко часы работы и позировавшие мне натурщики — Петр, из Академии Художеств, с лицом горячего тона охры (над этим смуглым цветом я немало бился), Андрей, бледнолицый, со светлыми волосами и тонким носом Ван Дайковских голов, мне хорошо удавшийся, натурщица в светло-зеленом корсаже с кружевами.

Грабарь по старой памяти заходил ко мне, искренне радовался, когда дело шло хорошо, и поругивал, когда была неудача.

В то время уже гремело в Петербурге имя Сергея Павловича Дягилева, вождя всей группы «Мир искусства», группы лучших художников, устраивавшей свои выставки, принимавшей участие в художественном журнале, того же имени, где воспроизводились их картины, графика и скульптура и который редактировался вождем всей группы и ее вдохновителем Дягилевым.

Это был лучший художественный журнал России — передовой, содержательный и с большим вкусом издаваемый. Государь Николай II субсидировал его (12.000 рублей в год). Большие субсидии давала и меценатка кн. М. К. Тенишева, что не мешало некоторым участникам плести против нее интриги. Не мало было и других частных пожертвований.

Я сговорился с Грабарем, чтобы предстать пред светлые очи Дягилева, этой центральной и популярной в художественном мире фигуры.

Дягилев жил на Фонтанке в большой квартире, где и помещалась редакция «Мира искусства». Встретил он нас в высшей степени любезно, как новопривывших и близких к искусству людей.

Элегантный, не совсем, но почти «барин», с примесью чего-то другого, коренастый, с огромной, не по торсу головой, с тяжелым и довольно грубым лицом, чувственными губами, красивыми умными глазами и классической «дягилевской» не то подкрашенной, не то природной прядью белых волос у лба в темных волосах, дававшей ему особый шарм и стиль. Лицо его было из тех, которые меняют весь свой характер от улыбки; она была ласковой и чарующей, и недобрые глаза, прищуриваясь, делались мягкими, добрыми, ласковыми, но, как мне казалось, вкрадчивыми и неверными.

Он принял нас в первой проходной комнате с библиотечными низкими шкафами, сплошь уставленными подписанными фотографиями разных знаменитостей (помню Золя среди многих других). Все стены были увешаны картинами художников «Мира искусства».

Чтобы познакомить нас с ними, он пригласил нас на воскресный чай, когда

собирались у него «все». Из огромной комнаты редакции все были званы к чаю в узкую длинную столовую с ярко желтыми стенами. За самоваром сидела «русская няня» в повойнике — типа няни Пушкина, придававшая особый стиль и вносившая «родную ноту».

Тут я разглядел впервые всех представителей нашего петербургского Парнаса: в то время молодого, с черной бородкой Александра Бенуа; рыжеволосого, улыбающегося очень приятной улыбкой и мягко картавившего Льва Бакста; пухлого, с лицом мальчика, задумчивого Сомова; Яремича — тонко и злобно язвящего, с розовыми щечками и сладким недобрым оскалом лица; юного, почти мальчика Евгения Лансерэ (сына известного скульптора), очень большого мастера по графике; Остроумову, гравюры по дереву которой славились и украшали, равно как и виньетки Лансерэ, журнал «Мир искусства»; почтенных пейзажистов Пурвита и Рушица; музыкальных критиков, мрачного Нурока и чрезмерно утонченного, аффектированного Нувелля, тонкого эстета и знатока театра и музыки.

Центральной фигурой в этот раз был Д. Мережковский с его сателлитом Дмитрием («Димочкой») Философовым, заведовавшим литературно-философским отделом журнала. Зинаиды Гиппиус не было. Помню, что Мережковский своим пафосом сразу привлек к себе общее внимание и произвел на меня большое впечатление и особенным, таинственно-вдохновенным и задушевым тоном речи, и странным, мистическим выражением глаз. Он рассказывал о своем путешествии по Северу России, скитам, монастырям, откуда только что вернулся. «И какие там чудные ягодивые», — воскликнул он на всю комнату, картавя, с восторженным жестом, слегка театральным. Очень он был интересен и немного интересничал. Все очень мило отнеслись ко мне, «новичку», с интересом расспрашивали про Мюнхен, но, конечно, тон, — что все принадлежат к некоей высшей, избранной братии, друг с другом спаянной неким великим делом «Мира искусства», — чувствовался, и подойти к ним просто мне показалось нелегко. От Дягилева, несмотря на не сходящую с лица его улыбку, веяло каким-то холодом и огромным самомнением.

Фигурой он был, несомненно, очень яркой и блестящей, благодаря всесторонней талантливости. Музыкально богато одаренный, чуткий к красоте во всех проявлениях, знаток пения, музыки, живописи, большой любитель театра, оперы и балета, ловкий инициатор и организатор, неутомимый работник, умеющий привлекать к работе людей, ими пользоваться, брать от них, что надо, находить и развивать таланты, привлекая — завораживая, столь же беспощадно расставаться с людьми, как и эксплуатировать их, — он был настоящим вождем и руководителем с диктаторскими наклонностями. Зная себе цену, он не терпел ничего и никого, что могло стать ему поперек дороги и с ним конкурировать. Обходительный и вкрадчивый, жестокий и неприятный, сердечный, преданный и внезапно неверный, требовательный и капризный, смелый до нахальства и заносчивости и задушевно ласковый, он мог иметь поклонников, друзей и врагов. Фигура сложная и яркая, — он умел лавировать среди интриг, зависти, нареканий и сплетней, которыми всегда насыщен художественный мир.

«Мир искусства» был его созданием, ему поверили, ему доверились. Таким же детищем Дягилева, не говоря о двух грандиозных, им устроенных выставках русских портретов в Таврическом Дворце в Петербурге и русской живописи от Петра I до наших дней в Париже, стал и русский преображенный балет, поднятый им на огромную художественную высоту и стяжавший ему мировую славу. Он был его «*idée forcel*», неукословно и блестяще проводимая в России и Европе, несмотря на подчас огромные трудности.

Все эти художники «Мира искусства» меня интересовали, но несмотря на явное первенствующее их положение в художественной жизни Петербурга, ка-

кое-то необъяснимое внутреннее чувство заставляло меня настораживаться и, при наилучших внешних отношениях и все учащавшемся контакте, все же соблюдать некоторую дистанцию, что имело место и с их стороны.

Многое подсознательное стало со временем сознательным.

Почему этого чувства не было никогда с Врубелем, с Суриковым в Москве? Почему эти самые крупные люди и самые, во всяком случае, большие художники в России в ту эпоху не внушали мне никогда этой опасливой, этой неуютной внутренней отчужденности? Почему с ними все сразу было проще, яснее, естественнее? В этом сказалось что-то очень важное, и инстинктивно в душе проводилась грань между подлинным, вполне добротным, духовно значительным и драгоценным, в высшем смысле слова, а потому и простым, и чем-то иным — пусть весьма талантливым, искусно выполненным, утонченным, любопытным, нередко заманчивым, но как бы золотом иной пробы, иного удельного веса. Первоначально маститый художник, профессор академии И. Е. Репин примыкал к «Миру искусства», но в силу инцидента, кончившегося трагикомическим эпизодом, он порвал с ним. Вот что случилось.

У Репина был друг художник Матейко. Грабарь написал весьма нелестную статью о таланте Матейко. Репин убедительно просил Дягилева не помещать ее в его журнале, но, не вняв этой просьбе, Дягилев на видном месте ее напечатал. Бурный по темпераменту Репин пришел в негодование, немедленно ушел из «Мира искусства» и написал картину-композицию, изображавшую его самого в хламиде, несколько схожего с Христом, негодующим жестом руки отталкивающего Дягилева, похожего на обрюзгшую бабу с женскими сосцами, в образе Сатаны. Название картины было «Отыди от меня, Сатано».

Что это было за явление — этот знаменитый и долго продержавшийся «Мир искусства» с его интересными и с неизменным вкусом устраиваемыми выставками и прекрасно издаваемым содержательным иллюстрированным журналом, носителем культурных начал и идей чистого искусства?

Он был призван стать средоточием художественной жизни России. Таковую миссию он за собой признавал, ставя себе целью очистить от устаревших антихудожественных традиций и заветов передвижничества, тенденции направленчества, а также узко-национального псевдорусского искусства подлинное искусство во всех его проявлениях.

Направление и «стиль», взятые «Миром искусства», не могли не привести к конфликту с московским «русским» (в том смысле как «национальность» и «русскость» понимались) уклоном искусства. Потому творчество братьев Васнецовых, Иванова, Нестерова, Малютина и деятельность им покровительствовавших (как Цветков и кн. Тенишева) были не только взяты под подозрение, но и впрямь существовал у петербургского Парнаса некий одиум в Московской русской художественной идеологии. Тема о национализме в искусстве и интернационализме была в моде и служила предметом горячих споров.

Хотя многое из вышесказанного о последних отчасти служило оправданием для критики и некоторой настороженности по отношению к продукции представителей иного лагеря, все же петербургское «снобирование» и подчас пристрастная критика вносили неприятную ноту в отношения между художественными элементами обеих столиц. Ориентация на «две России», до-Петровскую и европеизированную — в искусстве отражало то, что проводилось, сознавалось и чувствовалось во всех духовных явлениях русской жизни, на протяжении всей ее истории после ее великого исторического кризиса.

Я указал на великую культурную миссию «Мира искусства». Но одно дело «знамя», в искусстве мало что значащее, другое — убеждающая и всепобеждающая мощь личного таланта. Правда, этому единоличному таланту можно противопоставить «соборное творчество», которое в древности и в средние века подняло и таланты, и само искусство до предельной высоты. Но в данном случае это было, конечно, не «соборное творчество», а групповое и дифференцированное при единении под общим стягом. Дифференциация эта определялась не столько

в силу разнокачественности талантов и даже количественности (отмеченных гением творцов в петербургской утонченно-культурной и, конечно, талантливой группе не было), сколько в силу известных вкусовых тенденций, а отчасти и технических приемов.

Впрочем, даже вкусовые тенденции постепенно все более приближались друг к другу. Петербургская группа постепенно окрашивалась, в связи с ее спайкой, близкой дружбой и солидарностью в некий общий тон; если и не общий канон, то в некий общий дух ее, все более объединявший; хотя, конечно, и не вполне обезличивая этим художников, он подчинил их некоему общему эстетическому культу. Таким культом сделался французский XVII век и его отображение — XVIII век русский, памятниками которого был насыщен Петербург, его чудесные загородные дворцы с их парками, фонтанами, павильонами и статуями. Этот общий эстетический культ распространился и на Петровский век, а также на первую половину XIX века — русский «Бидермайер».

Стиль, эстетика и эстетство утонченно расслабленной эпохи маркиз, париков, кринолинов с ее ароматом пряных и нежных духов, галантными нравами придворных и напыщенным нарядным бытом все больше завораживали наших петербургских эстетов, эклектиков и коллекционеров старинных рисунков, гравюр, фарфоровых статуэток, вышивок бисером и разных безделушек. Отсюда — культ Версаля, стриженных парков, пикантных маркиз с мушками и париками, все то, что так часто воспевалось Александром Бенуа, ярким подражателем всего относящегося к обожаемому им XVIII веку, черпающим свое вдохновение столь же в любимом им Версале, сколько и в парижских библиотеках и музеях.

В то время, как талантливый Мусатов, москвич, исполненный подлинной поэзии русской жизни, шел в своих композициях от русского быта, природы и усадьбы, петербуржцы шли от Франции и Царского Села.

Это своего рода поветрие заражало таланты в среде Бенуа, являвшегося неким центром, потому я о нем подробно скажу ниже.

Талантливый, обладающий тонким вкусом и большой фантазией Лев Бакст, несравненно более рисовальщик и декоратор, чем живописец (картины его, как, например, «Теттоantiquus», были довольно слабы, а портреты суховаты по живописи), был менее художником от картины, чем мастером театра, костюма и декорации. Впоследствии он стал не петербуржцем, а парижанином. Возвращаясь к термину «национализм», национально-русским назвать его невозможно, но колыбелью его все же был тот же «в окно смотрящий на Европу» «Мир искусства», с представителями которого он был связан дружбой и петербургскими переживаниями и воспоминаниями. В работах для сцены амплитуда колебаний его вдохновений захватывала и античный мир, и восток, преобразенный особым бакстовским стилем.

Таким же театральным деятелем, в ущерб живописи, стал художник Добужинский, воспевавший Тургеневскую эпоху, а впоследствии в Ковно стяжавший себе немалую славу разнообразными постановками. Этого преданного друга «Мира искусства» я знавал еще по Мюнхену, где он бывал наездами. Милый и приятный в обращении, будучи не особенно ярко выраженной индивидуальностью в искусстве и подпав под сильное влияние Бенуа, перед которым он преклонялся, Добужинский всецело вошел в орбиту «Мира искусства». В области графики он дал немало очень хороших произведений.

Во всем этом было много красивого, ловкого, подчас изысканного, забавного, «скурильного» (изюминка с оттенком забавного и острого), как принято было выражаться на жаргоне «Мира искусства», но все же от всего этого веяло чем-то, не то чтобы не своим, ибо культ Петербурга был все же культом особой России, но, и в этом была червоточина «Мира искусства» и его минус, его органический дефект и опасность упадочной эстетики и эстетства. До большой живописи с ее большими задачами «Мир искусства» не дотянулся никогда. Словно опасаясь ответственной, серьезной области, эта группа художников нашла для себя наиболее легкий и соответствующий своим возможностям прием, ставший ее речью, — гуашь, акварель, графика. В технике (кроме тщательно, до миниатюр-

ной отделки доведенных вещей Сомова) преобладала «вкусная» (тоже термин из жаргона «Мира искусства») эскизность, ловкий росчерк и игра кистью.

Показательно, что все же подлинный живописец портретов Серов также ограничивался ловкими акварелями, часто полуэскизными, в небольшого формата исторических композициях, не дав ни одного крупного холста. В этом отношении величайшие достижения и задания Сурикова были ему не по плечу.

В общем была «протоптана некая дорожка», очень приятная, не крутая и не опасная, по которой благополучно катились, но не великая стезя, с ее обрываниями, опасностями, но и подъемами. Трагичных бурь и переживаний, крупных срывов и крупных взлетов у «Мира искусства» не было. В нем приятно дышалось, так как не было ничего оскорбительного, а ограниченные задачи достигались успешно и давали ему заслуженную художественную репутацию доброкачественности, хорошего тона и вкуса.

На фоне Парижа с его большими заданиями в живописи, срывами, заблуждениями, дерзаниями и драгоценными достижениями, «Мир искусства», что воочию и ярко показала его выставка в Париже, оказался вялым, а многое из него и впрямь ничтожным — «pas intéressant» — роковой термин во Франции.

Репутация русских держалась на высоте в области театральных постановок и декораций. В Париже, а также в Лондоне они имели большой успех. Выставка Дягилева в Париже, о которой я упомянул и где была показана русская живопись за три века, видимо, заинтересовала; было сказано много любезных слов; некоторые художники удостоились сделаться членами Осеннего Салона, но сколько во всем этом было искреннего, судить трудно. Любезная Франция, как никто, умеет польстить. Мне все же показалось, что русского духа они не поняли, а Врубеля мне лично прямо ругали, считая его за плохого Морро.

Как бы то ни было, в области живописи мы смиренно должны склонить головы перед Францией, страной подлинной живописи, и перед нашими «богатырями» по живописи, каким у нас все же был тот же Репин, при недостатке у него часто вкуса, Кипренским, Брюлловым, Щедриным, Федотовым, хорошим пейзажистом Куинджи и перед подлинно великими современниками Суриковым и Врубелем, вполне от «Мира искусства» отмежевавшимися в их великом одиночестве.

Возвращаясь к понятию «русскости» в связи с вышесказанным о «Мире искусства», я поделюсь своими мыслями о Сомове.

Мне жаль было Сомова. В его ощущении русского было что-то более родное, теплое, скажу даже «Пушкинское». Русскую природу, березу, сад, он чувствовал как-то интимно и проникновенно. У меня была его очаровательная акварель «В детской»: открытое окно в зеленый сад, игрушки, наваленные на первом плане, в зеркале отражение русской няни с ребенком. У Фон-Мекка, моего друга, была его картина «Светлячки»: русская деревянная беседка, две молоденькие девочки у пруда, в кустах огоньки светляков, но этот русский аромат (чувствующийся и в других ранних работах Сомова) постепенно исчезал; повеяло иным. Начались маркизы в живописи и фарфоре, фейерверки, шармили парков. Модный XVIII век стал заедать. Впоследствии на его творчество легла особая печать утонченного порока и болезненного вырождения.

«Костя» Сомов с его круглым, бритым лицом вечного юноши (хотя юношеского в его природе ничего не было) был любимцем в компании «Мира искусства». Он был гордостью и отчасти жертвой его. Его подлинное мастерство прославлялось по заслугам. Показывая какую-нибудь тончайше исполненную акварель-миниатюру, Сомов обычно приговаривал: «Это так — пустячок!» Он притворно скромничал, отлично зная себе цену, «пустячки» были очаровательны. Это были скорее «предметы искусства», чем живописное произведение. Такими и уже настоящими предметами искусства были его две скульптуры, статуэтки «Маркиза с маской» с тщательно обвязанной вокруг хрупкой шейки миниатюрной шелковой ленточкой опалового цвета — «с конфетки», и группа «Влюбленные». Та и другая статуэтки были раскрашены собственноручно Сомовым и

обожены на Императорском Фарфоровом Заводе. Они были мною приобретены у автора.

Когда Сомов от акварели и тонких, более добросовестных, чем темпераментных рисунков-портретов переходил к живописи, то, за исключением хорошего портрета «Дама в синем» (Третьяковская Галерея), он терпел неудачи, впадая в вылощенность и часто в сухость. Подлинного живописца в нем не было, как и не были мастерами живописи его друзья по группе «Мир искусства».

Будучи прославленным мастером «у себя дома», в Петербурге, и покупаемым меценатами в Москве (собрание Гиршмана гордилось работами Сомова), на европейской арене Сомов потерпел неудачу. В Париже он оценен не был, да и не мог быть оценен. Еще хуже вышло с Америкой. Успех он мог бы скорее иметь в Германии с ее культом тонкого рисунка и детальной разработки. В конце концов, только один большой его ценитель в Лондоне обеспечивал его более чем скромное существование в эмиграции.

Если комната и обстановка — «зеркало души» художника и вообще человека, то поистине таковым являлось обиталище Сомова в Петербурге, где я его навещал несколько раз. Немного аккуратно расставленной старинной мебели из красного дерева 40-х годов, на изящном комодике и крошечном столике одна-две первоклассные и ценные фигурки старого Сак и Майссена; силуэты, миниатюры на стене, вазочки Луи-Филипп, один красивый цветок — красочное пятно.

Фигурой он был неясной. Минутами казалось, что он, особенно говоря об искусстве, раскрывал свое нутро, которое вообще было очень замкнутое. Не мало в нем было и иронии и, как еще много раньше мне казалось, даже разочарованности, скептицизма, недоверия при несомненном уме. Эти черты, делающие его для меня уютным, до нельзя обострились с годами, когда, по словам его старых приятелей, «Костя скис и стал безнадежно мрачным». Внутреннего света я никогда в нем и раньше не ощущал.

В Петербурге, в связи с устроенной мной большой выставкой «Современное Искусство», я издал книгу-монографию с многочисленными воспроизведениями Сомова, что его очень обрадовало.

Раз, много лет спустя, вглядываясь долго в одну картину на выставке в Париже, я почувствовал прикосновение руки к плечу — обернулся... передо мной стоял маленький, сморщенный старичок, показавшийся мне карликом, с таким же желтым сморщенным лицом, какое бывает у карликов, этих жутких и странных существ. Он тяжело опирался на палку, волоча одну ногу. «Узнаете?» Это был «вечно юный» Костя Сомов — жалкий, больной, старенький, с печальным потухшим и каким-то уже не живым взором.

Звезды меньшей величины группировались вокруг планет Бенуа, Сомова и Бакста. Эстетство и эклектизм были снижающим началом в движении, долженствовавшем быть передовым. Москвичи это чувствовали, националисты почти презирали «Петербургских эстетов», а крупнейшим нашим творцам в искусстве, как я уже указал, не было до них дела.

В этой системе звезд, пожалуй, самой яркой, если не по таланту, то по значению, был Александр Бенуа.

Александр Бенуа играл роль некоей центральной фигуры в среде петербургских художников «Мира искусства». Этому способствовало многое. Его широкие познания в искусстве, художественный «нюх», тонкое критическое чутье, умение разбираться, давать оценки, основанные на серьезном знании и на (обычно) верной интуиции личного чувства. При любви к старому, у него был живой интерес к новому, и это было ценно и ценимо молодыми и начинающими (вступающими на тернистый путь искусства), его авторитетное мнение учитывалось. Уютный тон балагурства и шуточек, особый «говорок» Бенуа смягчали подчас

строгую критику («экзамен» Бенуа делал приятным). На стороне он высказывался строже и нередко с ядовитым сарказмом (о том, кого он обвораживал своей обходительностью, своим умением подойти). Потому к его ласковой снисходительности (и балагурному тону) приходилось относиться с некоторой осторожностью. Некоторые его считали фальшивым, но это была скорее обычная мягкая манера дипломата, и таким, конечно, он и был — ловким, изворотливым (умелым и искусственным) в любом обществе (высшем и профессионально-художественном). Его ум и остроумие, его шуточки и «словечки» помогали ему (всегда удачно) лавировать, не обижая, высказывать свое мнение. Он был бесценным «справочником» по части искусства. Для справок и информации у него имелась очень обширная, отличная библиотека, кроме острой памяти.

(Свою роль центральной фигуры, как я выразился, он любил и разыгрывал умело.)

Этому содействовала его уютная и художественно обставленная квартира старинно-петербургского стиля, ставшего обычным в то время у людей со вкусом или таковым подражающих. На стенах висели, между прочим, оригиналы сепии Гуарди, которые были его гордостью. Он умел вокруг чайного стола собирать людей, обласкать их любезным приемом с особым, типично радушным выкриком приветствия, выражавшим радость или дающим иллюзию ее.

Наконец и положение его отца, известного, хорошего (хотя уже не столь знаменитого) архитектора, популярность его братьев — архитектора и умелого, хотя скучного акварелиста, пользовавшегося успехом в обществе, содействовали его стажу. Но стаж, в связи со всем сказанным и в связи с его художественными заслугами, был и личный и немалый.

Бенуа дорожил своим положением, своей ролью художника «à la page», просвещенного критика и видного театрального деятеля. Его самолюбие и его ревность были столь же велики, как его уязвимость и обидчивость.

Это имело место в его сложных отношениях с своим другом «Сережей» Дягилевым, являвшимся таким же, но в иной степени «animateur»-ом художественной жизни и, как я сказал, в силу природного чутья, также тонким знатоком в определении качества и происхождения картин. Для консультанта-диагноста как Бенуа, он, в силу этого, являлся конкурентом, но особенно в театральной жизни, в которой Дягилев был весьма деспотичен и капризен. Это было еще полбеда. Дружба и взаимная польза многое сглаживала. Острее обстояло дело в вопросах инициативы, в «великом действии», которое тогда совершалось в области театральной жизни. Столкновение инициатив двух таких людей как Дягилев и Бенуа не могло не давать подчас взрывов при напряженном самолюбии и желании первенствовать.

Не менее характерным, не говоря о стычках с Бакстом, также театральным деятелем, являлось ревнивое, в силу этого и впрямь нередко враждебное, отношение к талантливейшему декоратору Головину, стоявшему выше обид, но которому нередко приходилось горько.

Если я остановился на характеристике личности раньше, чем перейти к оценке Бенуа, как к художнику, то это потому, что он является, вернее являлся в эпоху нашей яркой художественной жизни в России фигурой незаурядной, ценной, но и весьма сложной, при внешнем простодушии и уютиности далеко не простой. Эта сбивчивость в нем может давать повод для мало его знавших к неверной оценке и дать неверное о нем представление. Наряду с поклонниками (к числу которых принадлежали Грабарь и многие петербуржцы), врагов у него было немало. Кн. Тенишева в своих воспоминаниях, пострадав от отрицательных сторон Бенуа, которого очень не любила, высказала пристрастное о нем мнение. Человек он был, конечно, очень ценный, культурный, талантливый, издавший ценные труды по искусству («История живописи»), искренне и горячо любивший искусство, впрямь обожавший театр, умный, тонкий и полезный России.

Если делить по творчеству, по специальностям художников на категории, то А. Бенуа нужно причислить к театральным декораторам, в чем была главная его

сила, и к иллюстраторам. В этих двух сферах он стяжал себе заслуженную славу*.

То, что сказано мной о Сомове, приходится повторить и говоря об А. Бенуа. Живописцем он не был. Приходится повторить и то, что сказано выше о Серове: его акварельно-карандашные композиции (многие на исторические и историко-бытовые темы) не перевоплотились, никогда не дозрели до живописно-подлинной картины, как раньше наименовывалось произведение, увенчивающее весь, огромный нередко, подготовительный для нее труд, являющийся по отношению к самой картине лишь «материалом».

На легкой дорожке, по которой многие катились, как я выразился выше, в «Мире искусства» находилась некая станция, являющаяся для них предельной, между тем как путь вел куда дальше, но идти дальше не хватало сил, да и умения, и знаний. И пусть не оговариваются робеющие или немогущие, что произведение есть произведение, не все ли равно — небольшая гуашь-рисунок, или картина маслом, или фреска; что всякое подлинное произведение искусства не требует лишних слов, но все же... есть некая художественная речь, которая полнее, серьезнее, глубже и содержательнее, а потому и ответственнее другой, как и есть стиль и слог пусть самого талантливого фельетона и ковванная форма серьезно разработанного романа, к которому предъявляются иные, повышенные требования. Что выдерживает ловко исполненная гуашь, акварель, с ее соблазнительной игрой кистью, «вкусным» росчерком, подтеком красок и ударами карандаша, то «невместно» в серьезном законченном произведении масляной живописи, где «каждое лыко в строку» и где не отделаешься внешними приемами и полумерами. То же относится нередко и к композиции: что сходит в небольшом эскизе-наброске, то «экзамена» большого холста часто не выдержит («Петр I» Серова мог бы выдержать, но талантливо-ловко сделанная гуашь наводнения в Петербурге Бенуа, думается, — не вполне).

Делаю краткое отступление в связи с искусством Бенуа. Как-то раз, в бытность мою в Риме, я навестил сына умершего художника Семирадского. Он жил в особняке покойного отца, последним, по своему вкусу и согласно потребностям своего творчества, выстроенном (ныне снесенном). Бережно, почти набожно хранил сын наследие знаменитого отца. Огромнейшая мастерская, над которой помещалась еще большая для исполнения огромных работ, была сплошь увешана эскизами, рисунками, акварелями, этюдами маслом — «материалами» для монументальных картин, стяжавших славу мастеру. Годами материал готовился раньше, чем громаднейшие холсты изобразят вполне созревшие произведения, чудесно прорисованные во всех деталях. Я не мог не преклониться перед подобным отношением к делу.

«Да, — сказал Семирадский. — Тогда понимали, что значит картина и чего она требует, а теперь «картину» написать не умеют. Все легко отделяются!..»

К сожалению, должен признать, что слово «не умеют» яснее и вернее определяет то, что прикрывается словом «не хотят». Пусть и не отделяются оговоркой, что такие картины «девать некуда», что время, эпоха делают их нежелательными.

Дворцов больше не строят, галереи частные отжили свой век, но сколько зато общественных зданий, имеющих у нас, охотно украсили бы свои стены работой мастера, если бы подлинное мастерство себя проявило.

Вот почему А. Бенуа приходится все же зачислить в категорию иллюстраторов, и таковым он был, и очень хорошим. Его «Медный всадник» в этом отношении занимает первое место. Как певец дорогого его сердцу Петербурга, он тут достиг эпичности и драматичности. В этой иллюстрации он проявил и подлинное «вдохновение» — термин, не вполне употребимый по отношению ко всей продукции «Мира искусства».

Фантазия (больше чем вдохновение), культура и вкус была та триада, с которой оперировали мастера этой группы.

* Хотя Бенуа ныне жив, но я говорю в прошлом времени, так как он для меня всецело связан с Россией, и мы все — люди прошлого.

Странным является то обстоятельство, что, будучи колористом, и притом очень смелым и ярким в сфере театральных обстановок и костюмов, в станковой живописи — в акварелях парков, дворцов и прочее, Бенуа в своей красочной гамме был скорее вялым и даже нередко тускло-серым. В последние годы его обычная эскизность, не лишенная прелести, хотя во имя свежести набросков жертвовалось многим, что дает подлинную ценность (углубленность тона, драматичность выработки), — стала страдать внешним шиком росчерка, сухой и досадной штриховкой пером (в чем сказывается неумелое подражание «акцептам» Гуарди). Так или иначе, но с грустью надо признать, что станковая живопись (акварели) Бенуа в Париже кажется весьма тусклой, особенно рядом с виртуозными акварелями парижских мастеров.

Подлинный успех имел его «Петрушка», где талантливейшая музыка Стравинского много содействовала успеху оперы. Лишь заказы личные уже сильно потускневшей звезды — танцовщицы Рубинштейн, давали возможность Бенуа применять его театральный талант. Зато макеты его для постановок ходко продавались в Лондоне.

Если Бенуа искренне и серьезно любил всякого рода искусство, то в театр он был влюблен. Театр был его настоящей стихией, он был источником вечной радости, предметом неугасающего интереса. Он был подлинным театралом. Искусство и деятельность Бенуа наводили меня на некие размышления. Мысли сосредоточивались вокруг двух главных вопросов, меня смущающих и меня давно интересующих в связи со многими наблюдениями и подсознательными чувствами, меня тревожившими. Выскажу их с полной откровенностью, без боязни привести в некотором недоумении читателя.

Первый вопрос касается не культуры, как таковой, вообще мной высоко ценимой. Культура — важный фактор художественной деятельности, повышающий диапазон всякого творчества. Ею обладал Врубель, и это во всем чувствовалось и делало его иным, чем многие. К величайшему сожалению, некультурность весьма частое явление у наших художников, и это также ясно чувствуется и прозревается через всю талантливость, многим присущую. Но в вопросе значения культуры сталкиваешься с известным парадоксом. Перефразируя остроту из журнала «Симплициссимус»: «Любовь это, конечно, хорошо, если она не преувеличена», выражусь так: «Культура хороша, если она у художника не преувеличена». Соотношение художественного творчества с некой гипертрофией художественных познаний, разнообразность художественных интересов, уже не говоря о разносторонних интересах в другой области, художественного критицизма, пытливости, с сопутствующей ей потребностью регистрации, документации, анализа, разбора, — это является тревожным вопросом*.

Многообразная деятельность Бенуа, как художника-творца и ремесленника, как приосвященного критика, историка искусства, газетного работника, дающего отчеты в многочисленных фельетонах и заметках, все желающего и, в силу профессии, должностящего осматреть, зарегистрировать, в качестве эксперта оценить, в качестве консультанта дать мнение и совет, как пытливого культурного человека, не желающего оставить без внимания всякую новую книгу, заслуживающую интереса, как библиофила, стремящегося обогатить свою библиотеку, как просвещенного человека, испытывающего потребность контакта с таким же собратом по культурным интересам, — этот тревожный и важный вопрос ставится. Раскидывание по столь широкому фронту, удовлетворяя человека широкой культурой, фактически не может не идти во вред его углубленному личному творчеству.

Я не говорю уж о другом обычном и весьма показательном явлении иного порядка, но в известной степени к данному вопросу относящемся.

Сколько раз приходилось наблюдать, что весьма культурные люди со вкусом и чутьем, окружающие себя искусством и его искренне любящие, не в со-

* Здесь я считаю уместным привести остроумный и глубокий по смыслу ответ известного Эррио на вопрос, что такое культура: «Когда все забыто, что прочтено и чему вы учились, тогда начинается культура».

стоянии понять, осознать то «нечто», столь простое, сколь бесконечно тонкое и сложное, несравненно более простое и более тонкое, чем все ими высказанные мысли, критики и суждения, что является «витамином» для всякого творчества, без которого оно чахнет.

Раз мне пришлось совместно с Бенуа обозревать галерею Щукина в Москве и выставку в Париже. С критиками искусства я ходить по выставкам и музеям вообще всегда избегал, предпочитая ходить в одиночестве и предаваться своим переживаниям или с одним из «малых сих», с художником «попроще». Наряду со многим наивным приходилось именно от такого внезапно услышать столь искреннее, непосредственное, «идущее от души», радующее своей свежестью замечание или ценное, чисто профессиональное наблюдение, что это являлось для меня гораздо более ценным и приятным, чем хитроумный анализ знатока искусства.

Обзор с Бенуа был в высшей степени внимательный в обоих случаях. В его записной книжке отмечались дата, происхождение, период создания картины, делались критические заметки, явно набирался материал для очерка, для статьи, быть может, и для истории искусства. Та или иная картина относилась к некоей категории, заносилась в известный разряд, к ней приклеивался ярлык, она для справочного материала являлась номером.

Все это, мной наблюдаемое, было и занято, и почтено, и поучительно, и показательно. Так именно, подумал я, и осматривали и изучали искусство сотни почтеннейших ученых и критиков, писавших тома по искусству, и дай Бог, чтобы всякий так углубленно и культурно относился к им воспринимаемому, но ведь мой спутник к тому же и художник, не другого ли подхода, не другой ли и гораздо более непосредственной реакции можно и нужно ожидать от него, как такового? Не слишком ли все это «сознательно», не убивает ли подобный подход свежий импульс и ценное непосредственное душевное восприятие, тот «витамин», как я выразился, который питает не мысль, а нутро художника.

Несколько лет спустя я на своем собственном скромном примере испытал и проверил вышесказанное.

«Вот вы понимаете и чувствуете искусство, да и сами художник. Вам и следует принять участие в нашей газете, как художественный критик», — сказали мне в редакции одной газеты. Я согласился и писал два года фельетоны и заметки, получавшие одобрение и даже лестные отзывы, пока, по известным причинам, я по своему желанию не простился с редакцией. И какую испытал я несказанную радость и облегчение, словно вздохнул свободно. Ходил я по выставкам, бросил перо критика, просто, выкидывая из поля зрения, что мне не нужно, входя в интимный, таинственно-духовный контакт с тем, что каждому по-своему дает искусство, согласно внутренней потребности и индивидуальному интересу. Я смотрел, изучал то, на что мне хотелось смотреть, что мне интересно воспринять без обязанности об этом рассуждать, давать отчет, производить критический анализ, формулировать словами, столь мало могущими выразить чувства и впечатления. Как это было приятно, какое я испытывал удовлетворение от этого, мне лично нужного подхода к предметам искусства, ничего общего не имеющего с опасным для художника подходом, являющимся результатом навязываемого специальной профессией, либо ученого, либо газетного репортера, аналитического процесса — конечно, более сухого, чем подсознательное, непосредственное восприятие.

Если вдуматься в этот некий, не всем понятный, психологический закон, то многое становится понятным, что так разделяет на две, не только чуждые, но часто и впрямь враждебные сферы людей чувства, грёзы, интуиции, подсознания и людей с разработанной критической мыслью и обладающих целым арсеналом познаний — художников и людей всех категорий, любящих подходить к искусству с «другого подъезда», как выразился один художник.

Есть еще один психологический закон, связанный с тем, что сказано.

Подход художника тем отличается от иного подхода, о котором шла речь, что не может и не должен заглушать в себе страстей в оценках, ибо в страстности его сила. Как будто и над этим стоит призадуматься. В этом полярно противополо-

ложен подход художника и культурного критика, всему должествующего воздать должное, «не ведая гнева».

Знаменитый художник Бэклин высказал мысль, глубокую и верную в своей импульсивности и на этот закон указывающую. Она сводилась к тому, что, если художник в известный период своего творчества, когда его творческий пафос направлен к для него святой, в данное время, цели, которой он домогается, он должен «уметь ненавидеть» все остальное, что всему этому противоположено.

Другого рода деятельность увлекла и отвлекла целую плеяду лучших наших художников — деятельность театрального декоратора.

У нас, с легкой руки Дягилева и в силу наличности лучших художников, привлеченных к театральному делу, театральная продукция завоевала себе особое право и заняла наипочтеннейшее место. Мы не будем повторять, насколько заслуженно было признание всего сделанного в России в этой области и насколько это национальное русское дело повлияло на европейские постановки, но во всем этом увлечении и привлечении к театральной работе самых выдающихся художественных сил, не столь уж многочисленных в России, была и некая обратная сторона медали. Театр их отвлек, поглотил, «заел», в одном возвеличил и поднял их значение, а в другом снизил и нанес ущерб. Работа для театра нанесла и вред в смысле чисто технически-ремесленном, развив вредную повадку эскизной техники, где в погоне за общим красочным эффектом с расчетом на красочное пятно и на общий эффект декоративный — пренебрегалось всем тем, что является столь существенным в чистом искусстве. Некоторых это устраивало, как задание более легкое, дающее красивые достижения без чрезмерных усилий, других это развращало, внося некоторую распущенность и приблизительность в работе. «Двум господам служить невозможно». Наши художники избрали господином сцену, а не стену и не холст.

При этом нельзя забыть, что искусство для театра есть до известной степени компромиссное искусство, основанное на трюках, эффектах, расчетах и приспособлениях (светотень, рампа, красочное, меняющееся освещение, вуали, расчет соотношения «задника» и кулис) и, наконец, что весьма важно, на специальной фактуре раскраски декораций клеевыми красками, рассчитанной на расстояние и общий эффект. То же относится и к костюмам. У нас (и это, в смысле экономии, явилось остроумной новинкой) при широком размахе наших грандиозных постановок, трюк в исполнении костюмов был доведен до совершенства: окраска дерюги под парчу и шелк и тому подобное. Вблизи все отвратительно: лица, обстановка, одежда, издали все превращается в сказочное видение. Вульгарный материал, ловко трюкированный, грубая роспись грубой краской холстов давали на расстоянии фантастику. К подобному обману техника, ремесло художников, оперирующих за станковой живописью благородной масляной краской, должно приспособиться, а ремесло их неминуемо снизится, если они, как часто было у нас, сами являются исполнителями, а не только руководителями.

При всем этом надо заметить, что творчество и инициатива декоратора не вполне свободно при сложных факторах законов сцены и, что весьма важно, при диктаторских правах режиссера, а также при требованиях иногда весьма капризных исполнителей первых ролей. Мне художники сами рассказывали, какие неприятности, доходившие до острых столкновений, они переживали в этом отношении, уже пройдя через экзамен высшей дирекции.

Творчество? Конечно, оно присуще всякой композиции для сцены, столь эскизно талантливо, обычно гуашью исполненной нашими живописцами и самыми видными. Но, по правде сказать, так ли уж сложно при огромном имеющемся материале историческом, при изданиях, гравюрах, лубках, включая открытки, обладая, конечно, вкусом, скомпонировать ансамбли дворцов, парков и роскошные интерьеры всякого рода, боярские терема (протоколно исполняемые Библиным) и готические залы, а также костюмы?

Во всем сказанном я отнюдь не хочу умаливать ни значения, ни заслуг на

ших «maestro» по театрально-декоративной части. Если я развиваю свою мысль относительно вопроса, меня, как я сказал, тревожившего, то это потому, что этот вопрос не может не быть поставлен в связи с судьбами и историей нашего искусства. И надо признать, что подобное явление, как использование театром лучших художественных сил страны, явление в истории искусства исключительное.

Что ловкий Дягилев, Мамонтов и с их легкой руки дирекция Императорских театров (не без долгих колебаний) их использовали, — это делает честь и находчивости, и верному расчету. Директор Императорской оперы Теляковский в этом отношении был талантливым и чутким новатором. Не малую роль играет в этом, конечно, и великий соблазн материальной выгоды для художников. Театр обеспечивал прочный заработок. Но если все внимание было обращено на одну сторону медали, то, как я уже указал, была и другая — не только в увлечении и привлечении, но и в отвлечении этих самых сил от другого.

Факт налицо, что параллельно с интенсивной продукцией театра продукция в сфере чистого искусства этих сил, нашей «художественной гвардии» пала и частично снизилась качественно. Все менее стало появляться «картин» Константина Коровина, отделявшегося большей частью ловкими беглыми этюдами. И без того обычно распушенный в своей игре кистью, в своем удовлетворении приблизительностью, а нередко и впрямь своих «кое-как» (обычном в рисунке), этот талантливый живописец, служа театру, распустился еще более в станковой живописи, упиваясь своими театральными лаврами. Головин, о котором речь впереди, забросил совсем живопись, портрет и стал профессионалом по части декораций, с головой уйдя в эту заманчивую для него стихию.

Для некоторых театр явился весьма удачным выходом, средством и способом стяжать себе имя, не могущее уже столь громко греметь, будь они лишь акварелистами и иллюстраторами.

Еще важнее, по-моему, другое. Театр заморозил, и этим объясняется увлечение им подлинных талантов, своей фантастикой. Но духовные глубины искусства, стремление к ним и потребность в них уйти и погрузиться — это другого порядка явление, другое задание — иного диапазона, чем декоративная фантастика.

Возможно, что у многих наших мастеров и не было этих духовных глубин, что в высшей в искусстве области им сказать было нечего и что в этом вопросе театр прикрыл собой некие печальные пустоты.

Трудно себе представить, что какому-нибудь Джиотто, Микель Анджело, Рафаэлю могло бы поступить предложение расписать декорации для какой-нибудь мистерии или для театра Медичи. Они хранили себя, и их хранили для другого, и, вероятно, они бы ответили: «Оставьте! Нам и дела нет до всего этого, есть на это другие люди...» Для таких людей «духа» это было бы зазорно, неуместно.

Как бы то ни было, но когда я думал о Врубеле, этом художнике с большим духовным зарядом, мне было больно, что из тихой хранины-мастерской он был увлечен также на это ристалище. Если знать, что он голодал, соблазнить его было не трудно. Да и просто, как живописца и большого мастера, мне было его жаль.

Помню, как раз у меня защемило больно сердце в каком-то, не помню точно, театре, на каком-то второклассном представлении. Было еще полутемно в зале. Старая, выцветшая и уже сильно потрескавшаяся местами занавесь была опущена. Видно, она доживала свой век и уже обречена попасть в театральный хлам-кладбище, где хранится все некогда блиставшее на сцене и ее украшавшее, если за ненадобностью впрямь не бывает уничтожено. Стал я глядываться — это была чудная, исполненная поэзии композиция Врубеля мамонтовских времен. О красках, с их столь непрочным составом, судить уже было трудно, и все же тончайший общий тон был восхитителен.

У меня была акварель Врубеля «Ночь в Неаполе». В любом дворце роспись стены, декоративное панно, исполненные по этому эскизу, были бы гордостью владельцев. И что же? Это было для театра, кто-то перебил заказ в этой, как нигде, страшной конкуренции, и лишь скромная акварель показывала, какое вдох-

новение и чувство поэзии преисполняли великого мастера, когда он задумал эту вещь.

Вспомним о всем, что погибло, свалено за ненужностью в театральном складе, недавно в Москве сгоревшем со всеми декорациями. Безвозвратно ушло, кануло в лету то, на что были потрачены художественные силы в большом количестве, отвлеченные от другого, могущего быть достойным музеев. Умерли и лучшие художники, остались кое-какие наброски, рисунки костюмов, мертвые без сцены, бездушные и скучные для рассмотрения, как и скучны были, по словам очевидцев, выпцветшие, потертые декорации, в небольшом количестве сохранившиеся и послужившие «фоном» (выдумка сомнительного вкуса) для экспонатов в залах выставки памяти Дягилева, устроенной Лифарем в Париже.

Когда думаешь обо всем этом, ощущаешь нечто, похожее на то, как будто разобрали обстановку некоего вечернего отшумевшего праздника. Все разобрали, разломали, вынесли и убрали. «Все прошло, прошло, как сон», как поэт звездочет в конце оперы «Золотой петушок» Римского-Корсакова.

К художнику Головину в Петербурге меня очень тянуло. Он был сыном московского священника, когда-то духовного отца моих сестер. Головин держался в стороне от всех, и я ни разу не встречал его в среде «Мира искусства», которую он, видимо, недолюбливал, к корифеям которой относился отчасти свысока, отчасти с недоверием. Он был очень русским в душе, он обладал особым свойством русского человека (о нем говорит Достоевский) — чувствовать дух и культуру других стран, до некоего духовного перевоплощения, что для художника является свойством и даром бесценным. Особенно сильно чувствовал Головин сказочный мир, в изображении которого его фантазия была неиссякаема.

Головин вел странный, замкнутый образ жизни. О частной его жизни никто ничего не знал. Он куда-то исчезал неделями, не давая адреса, и, возвращаясь, находил груды телеграмм и писем из театральной конторы, в пыли, под своей дверью. Не любил он посещать людей и избегал контакта с художниками.

Один из них рассказал мне забавный случай про «чудака Головина». Как-то раз, не положившись на обещания визита Головина, он сам пошел за ним, чтобы завлечь его к себе. «Простите, простите! — воскликнул уже на пороге его дома Головин, схватываясь за голову. — Виноват, забыл, у меня важное, неотложное дело!» Он сорвался с места и быстро куда-то скрылся.

Место Головина — заповедное, куда он тоже пускал с трудом, была его мастерская под крышей Мариинского театра. Рядом с этой мастерской, которая представляла собой огромного размера помещение-чердак на самом верхнем этаже оперы, была его тесная комнатка, где творилось им все поистине чудесное, что появлялось в виде декораций и костюмов на сцене.

Красавец собой, прекрасно сложенный, с благородным лицом английского лорда, бритый, но со светло-русыми усами и красиво падающей на лоб прядью волос, с тревожными, нервными глазами, изысканными манерами и совсем особой, приятной, порывистой речью, с намеками и недосказками, всегда талантливой и увлекательной, он мне так нравился и так меня интересовал, что я часами у него просиживал на «колосниках» оперы (помост над сценой). Внизу, в какой-то бездне подо мной, пели, танцевали, играл оркестр. В интересные минуты оперы Головин делал мне знак, предлагая послушать и поглядеть на этот странный, словно подземный, освещенный мир сцены и зала — далеко внизу, под нами.

Огромной кистью он красил, всегда сам, деревья и здания на распластанном на полу гигантского размера холсте. Я никогда не видел, чтобы ему помогал кто-либо.

«Пойдемте, отдохнем. Я покажу вам кое-что новенькое». Мы шли в его комнатку, сколоченную из теса, смежную с декорационной. Вдруг веером рассыпались по столу десятки рисунков очаровательных костюмов, исполненных акварелью или гуашью. «Вот сюита для «Кармен»... Что? Правда, Испания? Настоя-

щая, не сусальная!» Гамма была черная, серая и белая, с отдельными красочными пятнами — та, которая строгостью и благородством прельщала меня в Испании, ничего не имеющая общего с вульгарной красочностью обычных постановок этой оперы. «Что, нравится?» Показывался кружевной рисунок декорации балета, всегда изысканный, благородный, по-головински причудливый.

«Боясь черного и рыжего (Бенуа и Бакста). Заклюют, обругают! Страшные они люди!» Головин был неврастеник, он чувствовал себя всегда гонимым и очень одиноким. Меня он «не боялся» и был необыкновенно откровенен, делясь со мной многими тяжелыми переживаниями, сопряженными с его профессией работника при театре. Давал он также меткие и острые оценки художников, пренебрежительно некоторых вышучивая, но никогда не впадал в интригу. Среди стольких интриг, нащептываний, наговоров в художественном мире, этот благородный тон Головина мне был очень приятен. Не знавшие его так интимно, как я, были иного о нем мнения, вполне ошибочного. Бакста он боялся напрасно. Прелестной чертой этого симпатичного, мягкого и воспитанного человека, любимца Парижа, где он усвоил светскость хорошего тона, было отсутствие всякой зависти и интриги. Но боязнь «Черного» имела некоторое основание.

Не забуду, как в своей ложе на поистине волшебном по краскам и костюмам представлении «Маскарада» по Лермонтову, в самый разгар первого дня революции, со стрельбой на Невском, Бенуа едко критиковал Головина. Раньше он поносил его «Дон Жуана» в чудной постановке, критикуя стиль, не соответствующий будто бы эпохе, и словно не замечая всей красоты и ценности головинской фантастики, свободной, но глубоко художественной.

На вышеупомянутой поистине трагической и незабываемой по красоте генеральной репетиции «Маскарада» в Александринском театре я видел в последний раз в жизни недавно скончавшегося в Советской России Головина.

Не забуду последнего впечатления и от самого Головина. В последних рядах партера его благородная фигура маячила на небольшой, довольно высокой эстраде. Перед ним помещалась доска с целым рядом электрических кнопок. Это было его личное, поистине замечательное изобретение, которое, как многое в России изобретенное, либо обойдено молчанием, либо забыто и не удостоилось внимания Запада. Нажимая пальцем на разные кнопки, соединенные проводами со сценой, Головин*, смотря издали на представление, лично, как художник и автор постановки, руководил светом и цветом на сцене, вводя тончайшие световые оттенки. Такой тонкой игры нюансов я нигде не видел, и как бы это изобретение пригодились для Парижской оперы, где дефекты в этой области нередко столь оскорбительны для глаза.

Головин гордился своим новшеством и, таинственно предупреждая — заранее, шепотом, говорил мне: «Увидите, увидите, что я выдумал, какой сюрприз я вам покажу!»

По окончании генеральной репетиции я подошел к нему и, крепко пожав ему руку, высказал мой восторг. Головин ласково мне улыбнулся: «Этого ведь нигде нет! Правда, хорошо?»

Кто не видел победоносного выражения довольного своим творением художника, не может понять, сколько в нем, в этом выражении, просветленности и самого высокого порядка чистой радости, не то детской, не то очень глубоко духовной, и как значительна и законна подобная гордость и радость.

Это была последняя встреча моя с этим талантливейшим, фантастичным человеком, с которым я искренне подружился.

Совершенно иной, но столь же отдельно от остальных художников стоявшей фигурой был в Петербурге таинственный Рерих. В разные сферы, включая двор-

* По записям художника на репетиции, определяющим точно силу и распределение света и силу и смену цвета рамп, электротехник на публичных спектаклях должен был руководить тем и другим, механически и точно исполняя заказ художника.

цовые, он зато проникал охотно и умело, с расчетом и тонким выбором. Он умел сказать, что нужно, и бить в цель, добиваясь им намеченного и делая карьеру.

Если для Головина, от меня ничего не ждавшего и ничего во мне не искавшего, я был просто собеседником и большим любителем искусства и театра, для него, видимо, приятным, то для Рериха я был «князем Щербатовым», — это я чувствовал и это мне было тягостно, хотя он, видимо, хотел играть роль друга и бывал очень мил и всегда интересен.

Он занимал довольно пристижный пост директора отличного культурного учреждения на Морской — Общества покровительства Художеств, почетной председательницей которого была принцесса. На мой вопрос и на предложение высказаться по какому-нибудь вопросу, связанному с его деятельностью, он отвечал обычно: «У меня еще нет мнения, пока не выскажется принцесса...»

Человек он был, несомненно, умный, хитрый, истый Тартюф, ловкий, мягкий, обходительный, гибкий, льстивый, вкрадчивый, скорее недобрый, себе на уме и крайне честолюбивый. О нем можно сказать, что интрига была врожденным свойством его природы. На нем была словно бы маска, и неискренний его смех никогда не исходил из души. Всегда что-то затаенное было в его светлом, молочного цвета лице с розовыми щеками, аккуратно подстриженными волосами и бородой. Он был северного — норвежского типа и довольно прозрачно намекал, что его фамилия Рерих связана с именем Рюрик. Как — оставалось не вполне понятным. Остроумный Головин прозвал его довольно зло и метко: обмылок.

Единственным и важным свойством, общим обоим этим столь разным и столь друг друга не любящим художникам — была их талантливость, хотя совершенно разного порядка, а талантлив Рерих был несомненно, и также несомненной была его горячая любовь к искусству, обслуживая многое и прислуживаясь многим, он искусству служил искренне, хотя и в этом не избег некоего шарлатанства.

Лучшее впечатление о нем (всегда приятно, радостно среди много неприятного и чуждого найти то, о чем приятно вспомнить) я сохранил в связи с посещением Академической дачи (станция Академическая близ Петербурга), куда по любезному приглашению его и его красавицы жены, похожей на шемаханскую царницу, я поехал на несколько дней из Москвы.

«Академическая» (как звали это учреждение, предназначенное для наездов и отдыха членов Академии художеств) помещалась на берегу большого северного озера. Было что-то доисторическое во всей местности, и к тому же волны озера выкидывали на берег осколки, кончики копий каменного века на радость Рериху, для которого предыстория и седая древность Руси были преисполнены какой-то завораживающей прелести. За несколько недель он собрал целую коллекцию этих, из недр озера, точно ему в угоду, выплеснутых предметов. Он с любовью искал их со мной, а над нами с криком вились чайки. Все вместе: и суровая природа этого живописнейшего уголка, и вещи каменного века слились у меня навсегда в памяти с Рерихом, тогда бывшим очень милым и искренним на лоне этой, с его творчеством соприродной, суровой местности, полной своеобразной поэзии и особого величия.

Первоначально Рерих был увлечен древней Россией и даже доисторической в своем творчестве, и его замыслы-реконструкции на полотнах дикой, стихийной Руси — со свайными постройками над мутными водами, с хижинами, обнесенными деревянными частоколами, увешанными лошадиными черепами, и жуткими примитивными обитателями, — были любопытны и своеобразны. Его картины на эти темы были, пожалуй, лучшее из всего, что он сделал. В моем собрании висела большая картина Рериха — пейзаж из русской природы, без каких-либо строений и персонажей, отмеченный этой стихийностью. Река в пустынных берегах, мрачное небо, красивый, благородный общий тон (с которого он впоследствии сбился) и несомненное чувство величия природы. Это была работа первого его периода. Все последующее, кроме декораций, меня перестало привлекать, но как раз оно стало ходким товаром.

Одним из самых удачных достижений Рериха, где он проявился в качестве очень благородного колориста, была его декорация для половецкого стана из оперы «Князь Игорь». Это была лучшая декорация половецкого стана из всех, мной виденных, и она, конечно, несравнима с лубочной декорацией Билибина, впавшего в ярмарочную пестроту и в скучную протокольность.

Помнится, когда взвился занавес, публика разразилась аплодисментами. Это в Париже явление исключительное.

Во все полотно — золотисто-желтое вечернее небо, изборожденное серыми дымами, вздымающимися густо и декоративно над станом; кибитки, шатры вдали, потухшие в вечерней дымке тона. От декорации веяло степью, в ней была жуть и суровое величие, и на фоне ее так захватывающе-подлинно звучали чудные меланхолические напевы этого бесподобного акта одной из лучших наших опер. Шаляпин (хан) с заплетенными косичками, по восточному обычаю, жуткой и величественной своей фигурой и бесподобным пением, своим явлением до предельной степени повышал впечатление от этой высокохудожественной картины.

Творчество Рериха, пройдя через разные фазы, что доказывало большую неустойчивость, в конце концов, очень снизилось, когда он в своих надуманных композициях, пропитанный восточными влияниями, стал увлекаться сказочностью и визионерством. Америка, всегда падкая на причудливое и на лже-мистику (как и в религии), попала на ловко и, конечно, не без расчета закинутую удочку и на весьма подозрительную, хотя бы уже в смысле огромного перепроизводства, «мистику» Рериха и приняла за откровение эти произведения «подлинного гения». Она учредила Музей Рериха в Нью-Йорке, событие, которое для честолюбия Рериха явилось подлинным праздником и триумфом. Попутно было учреждено Рериховское международное общество с культом «великого мастера и мистика», имеющее филиальные отделения в Европе. Слава Рериха достигла своего зенита, и сам маэстро, который к тому же стал пропагандистом религиозной восточной идеологии и издателем соответствующих религиозных и философских трудов, отчеканил художественную монету со своим профилем, иметь которую считалось честью.

Однако все это кончилось довольно печально. Как я слышал, мой знакомый и дальний родственник А. Авинов, очень видное лицо в Америке, главный директор Музея Карнеги в Питсбурге, заведующий чудной библиотекой, уличил Рериха в плагиате, в заимствовании — и даже очень точном! — своих «вдохновенных» мистических композиций из сокровенных для публики источников. Видимо, это получило огласку, возможно, были и другие причины для разочарования, но Рерих внезапно перестал быть «великим Рерихом», и звезда его закатилась.

Как Художнику, необходимо дать ему беспристрастную огенку. Он был отличным рисовальщиком, пройдя строгую школу известного парижского мастера Кормона; цвет он чувствовал, был хорошим ремесленником в своем деле и не лишен был фантазии, вернее, изобретательности. Его не совсем, как оказалось, благовидное ловкачество оказало ему дурную услугу. Некая ходульность и неубедительная надуманность делали многие его работы неприятными. Неубедительны были и его церковные композиции. Его большая церковная роспись в Талашкине, по заказу княгини Тенишевой (к которой он «сумел подойти» и у которой он был в большом фаворе), меня привела в ужас, и это княгиню очень обидело. В русском храме Смоленской губернии восседала тибетского типа Богородица в композиции, заимствованной с тибетских и сиамских религиозных росписей.

Таинственный Тибет привлекал к себе таинственного Рериха. На его высотах он купил себе дом, погрузился в тайны магии и оккультизма, и о нем ходили странные слухи. До Тибета далеко, и их трудно проверить, но, видимо, он имел там своих поклонников, среди которых наш русский художник-петербуржец совершал странные действия. Неясна была и его роль политическая. Как бы то ни было, человек он был недюжинный, хранивший в себе разные возможности, и проявлял их в искусстве, что, во всяком случае, бесспорно.

Донельза своеобразным среди всех наших художников был скульптор Паоло Трубецкой, мой дальний родственник, двоюродный брат философа князя Евгения Трубецкого, мужа моей сестры. Он был более итальянцем, чем русским, всю жизнь жил в Италии, но часто навещал Россию, которую ценил и любил, и где он, как и в Италии, пользовался большой известностью в силу своего большого таланта. Очаровательный своей простотой и благодушием, он был самоходком, влюбленным во все природные живые образы, и ему дела не было до каких-либо музеев, никогда и убежденно им не посещаемых (и это в Италии!). Все это было для него «мертвое искусство». То ли дело живая женщина, интересный, типичный человек, ребенок (детей он нежно любил), животное, любимая им лошадь, им серьезно изученная и мастерски передаваемая. Его непосредственное любовное восприятие природы выражалось в скульптуре, столь живой подчас и вдохновенной, хотя и не без влияния его друга Росси, прославленного в Италии, а также Родена. Страсть Трубецкого к своему делу делала из него неутомимого труженика. Нежная любовь его к животным выражалась у него в убежденном вегетарианстве. Есть мясо было для него преступлением, но это не мешало ему быть могучим силачом. Он очаровывал своей бодростью, почти детской жизнерадостностью, да и был он неким чутким, наивным, простодушным ребенком — этот подлинный художник.

Я любил посещать его огромную мастерскую, где, окруженный целой стаей сибирских лаек и ручным медвежонком, он лепил при мне огромную статую императора Александра III на могучем, каким он был и сам, коне. На нем в часы отдыха он скакал вместе со мной по островам Петербурга, раздобыв для меня точь-в-точь такого же могучего коня, вполне схожего с тем, который ему служил моделью.

Много было толков и разногласий по поводу этого памятника, который был очень оценен императрицей Марией Федоровной. Лично я не мог не признавать в нем несомненных достоинств. Конечно, это не Фальконет с его Петром I, и еще менее он мог быть сравним с изумительным памятником Коллеани Донателло, но как и в прелестной небольшой статуе Льва Толстого на лошади, в нем сказывался большой талант Трубецкого.

Посещая художников, единственную среду, меня интересовавшую в Петербурге, и работая дома, я все более и более стал любить Петербург, и мне трудно сказать, какую из наших столиц я любил больше. Они так дополняли друг друга, что, в силу контраста, Москва заставляла ценить еще более Петербург, а Петербург — Москву.

Ночной поезд, где сон уничтожал понятие о времени, был поистине волшебным ковром из сказки, переносившим меня из одного мира в другой. Надо было быть лишенным всякого понимания красоты и величия петровской императорской России, закоренелым и косным москвичом, чтобы не чувствовать и не ценить волшебства и фантастики Петербурга, его духа и стиля, с другой стороны, бездушным чиновником, чтобы не понять обаяния Белокаменной и относиться к ней иронически, как к некоей провинции, как это часто имело место.

В одну из моих поездок на Рождество в Москву меня постигло огромное горе: при мне скончался мой отец от крупозного воспаления легких. Это событие было переломом в моей жизни.

Похороны отца, на которых была вся Москва, лишний раз доказали, чем он был для Москвы и как его ценили и любили.

Вернувшись в Петербург, я сразу понял, что моя беспечная тихая жизнь художника кончилась; надвинулись заботы и обязанности, мало имевшие общего с искусством.

Прибыл за распоряжениями управляющий моего, полученного по наследству, крупного родового имения Хорошее (Екатеринославской губернии, Павлоградского уезда), а также управляющий моего другого родового имения Московской губернии — Нара.

Нужно было делать выбор — либо жертвовать всем для меня дорогим — для искусства, либо постараться, переломив себя, сделать из этих чуждых мне, властно навязывавшихся помещичьих обязанностей, цель и содержание жизни, либо, наконец, дилетантствовать — в той и другой области, одинаково серьезной и ответственной. Короче говоря, вопрос ставился — оставаться художником или перестать быть таковым.

Поскольку я мог, я справлялся с задачей, — зимуя в Петербурге (до переезда моего в Москву) и уезжая на лето в вышеупомянутое подмосковное имение, с его дивной природой и дорогой моему сердцу усадьбой со старым парком, а осенью наезжая в Южное, когда там стучали молотилки и вздымались скирды соломы.

(Продолжение следует)



Алла МАРЧЕНКО

СОВЕРШЕННО СУБЪЕКТИВНО

Общеизвестно: корень, мѹка, причина нашей нынешней культурной асимметричности — раскол. Старая, домашняя, как представлялось, распря «западников» и «славянофилов», обернувшись опасной, уже не семейной враждой, довела идеологическую напряженность почти до предела. Еще немного шума и ярости и — утратит меру, шагнет за предел. Вроде бы аксиома. Однако исчерпывается ли нынешнее сильное неравновесие этим наследным конфликтом? Скажем, встреча на «голубом экране» двух государственников — А. Проханова и Б. Пядышева, главного редактора «Международной жизни». Спор этих мужей (а спорили о судьбе России) легче легкого подогнать под вышеобозначенную формулу: славянофил Проханов — западник Пядышев. Ну, а если копнуть глубже? А если копнуть глубже, увидим дилетанта (Проханов), которому доступна лишь самая привлекательная для «патриота» сторона обсуждаемого предмета — быть России Великой, и все тут, и профессионала (Пядышева), умеющего держать в поле зрения множество соображений на сей счет. А ежели еще глубже? А глубже — сшибка умов: пленного, догматического и почти свободного...

Увы, «патриотизм патриотов» во многом определяется тем, что они существуют в законе сопротивления сложности... Мераб Мамардашвили так определил фундаментальную причину этого сопротивления: «Инфантилизм... В нем нет способности (или культуры) практиковать сложность». Нет, к сожалению, не только у А. Проханова или на Право-бережье: «что справа, подобно тому, что слева», если взять в качестве разделительного принципа готовность или неготовность на деле практиковать сложность. И тем не менее: несмотря на войну в литературе, то ли уже гражданскую, то ли пока холодную, несмотря на категорические приказы по армии искусств (командующим литфронтами, и правым флангом, и левым, нужна прямая, «как след пулевой», демаркационная линия), литература — как и общество, самосознание которого она зеркально-зазеркально, но отражает, — прямую не держит. И не может удержать, ибо то последовательно, то параллельно — приватизируется, национализируется, коммерциализируется, не умея решить, какого же идола слепить взамен уже как бы миновавшему коммунистическому идеалу. То ли румяную чайную бабу для чаепития под своими вишнями. То ли копию «Желтого дьявола» — для «прибыли ради наживы». То ли, не мудрствуя лукаво, утешиться возвращением к традиционной церковности. Что до литкоммерсантов, то они, как и следовало ожидать, не теоретизируют, а действуют. И преуспевают: масскультура, первенец перестройки, — дитячко хотя и не слишком благообразное, зато — витальное. И с церковниками от литературы ясно. Нравы во всех сословиях таковы, что даже убежденные атеисты готовы подписаться под вольтеровским: если Бога нет, его следует выдумать. Отсюда, видимо, и шокирующая (лично меня) безапелляционность «апостолов нового православия». Все и вся усомнились — эти сомнений не веда-

ют: «Не писатель нужен сейчас моей родине, а «благодатный воспитатель русского народного духа» (как назвал... В. Ключевский святого Сергия Радонежского). И далее, там же, в «ЛГ», в откровении П. Горелова: «Россия уже выбрала — в лице своего святого равнопрестольного великого князя Владимира — выбрала Свет Христов, однажды и навсегда».

Блажен, кто верует... Не нужно ни помнить, ни вспоминать, что Россия выбирала и ИНОЕ, в лице, скажем, «пророка Есенина Сергея», например, в «Инонии»:

Проклинаю тебя я, Радонеж,
Твои пятки и все следы!
Ты огня золотого залежи
Разрыхлял киркою воды.

(Уточняю: рыхом — кое-как, как попало, на авось, то есть то же, что и рохля — хилый, квелый, вялый, не проворный.)

Нет, нет, я не о Религии и не о Христианстве, я о христианизации, поспешной, панической. А ну как станет сплошной? А ну как и в этот рай нас станут загонять «все тем же испытанным адским приемом»? (Н. Слепакова)

К тому же: не будь П. Горелов столь истово убежден в праведности своего утверждения, вряд ли б осмелился сказать вслух, принародно то, о чем многие не смеют признаться шепотом самим себе: «...Как ждали у нас Солженицына! А он вместо себя... статью прислал!»

С Солженицыным, действительно, вышло не по прогнозу. Согласно прогнозу, год 1990-й должен был стать годом его триумфального возвращения. Возвращение де-юре состоялось, но де-факто получилось «символическим» (так до П. Горелова высказался А. Василевский).

Допускаю: сработала и тайная, подспудная обида. И впрямь ведь ждали очередную книгу Александра Исаевича, а его самого... И все-таки, похоже, есть на то и более прозаические причины. Во-первых, солженицынских текстов на нашем диком полуринке оказалось нерасчетливо много. На фоне дефицитарности избылие действует порою отупляющее: глаз скользит по журнальным страницам и насыщается, не отведая. Во-вторых, они немного опоздали. Пока общественность добивалась реабилитации «великого изгнанника», предприимчивые издатели успели опубликовать первоисточники: мемуарные свидетельства узников ГУЛАГа. В итоге, силою вещей, в глазах простодушного, массового читателя диссидент номер один выглядит как бы пересказчиком уже сказанного.

Надо признать также, что среди таких Свидетельств немало произведений и в художественном отношении не уступающих солженицынской прозе («Колымские рассказы» В. Шаламова, «Наскальная живопись» Еф. Керсновской).

В-третьих: за период отсутствия среди нас «вермонтского изгнанника» произошли разительные перемены. Выкарабкавшись из-под глыб, общество раздробилось; дробится еще и еще (поскольку «объединительное начало в социуме не работает»), и каждая из дробей ищет свое лицо, свой оттенок и, следовательно, свой печатный голос. Ищет и находит. Коммерческие и полукommerческие начинания (журналы, альманахи, издательства) множатся с ошеломляющей в условиях острого бумажного кризиса быстротой. Правда, спрос на журналы старого, энциклопедического типа начал падать: в 1989—1990-х выборочно и незначительно, в 1991-м — резко. И не только из-за подорожания. В пору всеобщего «поголодания» даже «Иностранная литература» сверхдорогой не кажется ни психологически, ни фактически, все равно дешевле, чем литр деревенского молока на московском рынке. До и некоторое время после мы еще повторяли за Мариной Цветаевой: «Читатели газет — глотатели пустот». Сегодня самый рафинированный из российских верлибристов Вл. Бурич признается:

Чего я жду от завтрашнего дня
Газет

И где? В элитарнейшей поэтической антологии «Время икс» («Прометей», 1990).

Похоже, что этот газетный бум и «пригузил» бум журнальный...

Однако наряду с угасанием происходит рождение и толстых журналов, и периодических «толстеньких» альманахов: «Согласие», «Петрополь»; брезжит, по слухам, и «Метрополь-II» и т. д. и т. д.

Удержатся ли эти новообразования на литературном небосклоне? Не знаю. А кто знает? Однако, думаю, у «Согласия» шанс на некоторолетие все-таки есть. Когда единое и неделимое литературное Дело разбредается на множество групп, сект, толков, по неизбежности противодействия, возникает и овладевает умами идея Согласия. Не плохого мира, не временного замирения, а истинного Согласия. Дабы созывало в свой незамкнутый круг жаждущих тишины по дружескому. А кроме того, люди, которые любят литературу, — а именно на них ориентирован наш журнал, — тоже партия, и таких, активных читателей, по данным Института книги, в СССР 40 миллионов. И если даже статистики завысили цифру, все равно: половина Франции.

Идея движения, понятая как приоритет свободного предпринимательства, проникла даже туда, куда, казалось бы, не проникает ни одно новое поветрие: в умы сотрудников Комитета государственной безопасности. Как сообщали «Известия» (12.11.1990), КГБ намерен издавать массовый общественно-политический и литературно-художественный журнал, и не исключено, что через год-два это будет единственный ежемесячник, защищенный от превратностей дефицита. В том числе и дефицита популярности, поскольку в распоряжении будущих хозяев издания — архивы «чрезвычайки».

Ненатуральная необходимость подобного порядка вещей (с одной стороны, тотальная заполитизированность, а с другой — день ото дня наглежащая предприимчивость, не признающая ни границ, ни ограничений, ни моральных, ни идеологических) делает общий всем быт мучительно дискомфортным. Во многом куда более дискомфортным, чем на излете застоя, когда можно было уже не бояться. Не бояться и делать что надо, хочешь — в стол, хочешь — в «Сам-там-издат». Из нынешней смуты промежутков краткий — между отошедшим ужасом и новыми страхами — представляется, не часто, но иногда, чуть ли не идилическим. Была-де стагнация, но был и живой интерес к культуре, объединявший, а не разделявший широкие круги интеллигенции.

Похороны, плачи, поминки... рыдающие метафоры не сходят с газетных и журнальных страниц. Отплясав на поминках по соцреализму в постановке В. Ерофеева, обнаружили приглашение на новую казнь: дескать, умирая, советская литература тянет во гроб и литературу антисоветскую, ибо, как остроумно заметил Александр Кабаков, автор нашумевшей на всю Европу антиутопии «Невозвращенец», — это сиамские близнецы, и посему обречены умереть в один день. Не успели осмыслить эту утрату, как А. Архангельский запаниковал: идут, уже пришли «новые гунны», «раскрепощенный плебс», несущий гибель культуре вообще: музыку, мол, отныне «будут заказывать беспризорники». Однако и тут, в отношении и к «новым гуннам», и к тем литправам, какие несет их пришествие (нашествие), нет ни единодушия, ни четкой линии поведения. В определенном смысле позиция СП «Вся Москва», где одновременно выходят и суперкультурные книги, и «Похождения космической проститутки» (гремучая смесь, ошеломившая А. Архангельского), симптоматична. На огни рампы с завистью поглядывают самые стойкие из столпников застоя, даже бывшие литхиппи начинают вскарабкиваться на ярмарочные — все на продажу — подмостки.

Не очень-то способствует равновесию еще и такая реалья нашего бытия. Хотя ни один из эмигрировавших литераторов, даже после возвращения гражданства, на «историческую родину» всерьез, насовсем не возвратился, многие — от Солженицына до Синявского — охотно печатаются в России, огромность читательской аудитории перевешивает рублевые гонорары. А в обратном направлении, из России на Запад, движется встречный поток — мечтающих опубликоваться Там.

Соблазнительно согласиться с Арт. Троицким, не без ехидства заметив-

шим: «Многие герои нашей контркультуры, твердо противостоящие Минкульту и даже КГБ, обнаружили неожиданную покладистость и склонность к компромиссам, когда речь стала заходить о сотрудничестве с западными фирмами, агентствами (артистическими, разумеется) и галереями. Да, мировая конъюнктура развратила нашу оппозиционную тусовку и подорвала ее благородные «подпольные» основы». («ЛГ», 1991, 30. 1)

Но воздержусь от соблазна. Люди во все времена верят только славе, а успех — штука, хотя и пресволочнейшая, но рукотворная. И не в валютных грошах суть, а в более щекотливом моменте: издано, выставлено, продано НЕ в СССР на сегодня — самая престижная марка, почти патент на творческую состоятельность.

Особенно неуютен для неторопливого, рыхлого-рохлого, не скорого на подъем российского литератора, худо-бедно, но приспособившегося к мертвой зыби застойного существования, текущий момент, когда оптовый книжно-журнальный рынок завален ходким, привлекательным, пока еще и экзотическим товаром: продукцией русского зарубежья, обещающей поворотливым бизнесменам быструю и легкую прибыль. Не нужны ни профессиональные знания, ни изобретательность, ни редакторский «нюх»: бери опробованное, хватай — не зевай. Не нужны и усилия критиков, все сказано, давно и не нами. Не требуется даже авторитет Главного Редактора, как было еще почти вчера, когда А. Ананьев пробивался сквозь цензуру с романом Вас. Гроссмана «Жизнь и судьба» или С. Залыгин с Солженицыным. Иное нужно: быстрота, натиск и отсутствие «брезгливостей».

«Золотая лихорадка», отодвинувшая малоодоходную «текущую литературу» (возни много, приварок — копейный) на обочину издательских интересов, пугает не только неконкурентоспособного середняка да расслабившуюся на гарантированных тиражах номенклатуру. Обеспокоены и молодые, как нынешние, так и вчерашние. Ведь им-то с самых разных трибун был обещан режим наибольшего благоприятствования. Обещания в общем-то как бы и выполняются, книги, особенно в «Московском рабочем», выходят, иногда и экспрессом, реже, чем бы хотелось, но издаются. И как проваливаются. Мешают и «мертвые львы» первой эмиграции, и летописцы ГУЛАГа, и прощенные диссиденты — мешают, застят, загораживают. Сквозь безгласность при свете гласности прорываются единицы, остальным ничего не остается, кроме как ждать, пока отечественные аппетиты прожуют-переварят избыток-излишек литнаследства.

Осенью прошлого года американская приятельница привезла мне в подарок кипу тамошних русских газет. В одной из них я наткнулась на заметку, подписанную смутно знакомым именем: Лариса Миллер (в середине семидесятых о ее матовых, душевно изящных стихах говорили, а потом — замолчали). Приведу несколько выдержек из этого «плача», они знаменательны:

«Гласность и удрушение, возрождение и погребение — вот признаки нашего времени... в эпоху гласности живо погребено целое поколение... Как и прежде, выход к читателю осуществляется через игольное ушко... Но сегодня через него пытаются пропихнуть все, что скопилось за долгие годы «вечный мерзлоты». Очередь длинна, и вставать в нее бессмысленно и унижительно. Велик список незаслуженно забытых, невинно пострадавших, выброшенных, вычеркнутых, растоптанных. Им — зеленый свет. Мы — поколение «молодых» (от пятидесяти и младше), рядом с ними — само благополучие. Нас не сажали, не ссылали. Но кто искусственно создает такую дилемму?.. Время идет, а мы все ждем. То Закона о печати, то бумаги. Ждем, что начнется жизнь. А жизнь тем временем проходит».

Очередь действительно длинна, и не у каждого в самом конце стоящего найдется покровитель с громким именем, лучше — заморским, который великодушно уступит бедолаге свой «выигрышный номер», как сделал, к примеру, Бахыт Кенжеев, восхитившись стихами саратовской «безымянной звезды» Светланы Кековой.

Впрочем, и явление народу даже в престижном журнале вовсе не означает конца «мертвого сезона». Возьмите «Мореплавателя» Олега Базунова. К перво-

публикации в «Новом мире» предисловие написал сам Лихачев. Безупречным авторитетом поручился за безупречность рекомендуемого текста. И что же? А ничего... В первом за 1991 год образцово-показательном номере «Литгазеты» Дмитрий Сергеевич опять, с горечью и недоумением, заговорил о Базунове, напечатанном и непрочитанном. Ленивы? Нелюбопытны? Апатичны? Не без этого. Но главное, думаю, в другом. Вскормленные с конца копыта совцензуры безвитаминным жмыхом общедоступного искусства, мы явно утратили способность к уловлению тонких и «слабых» художественных «раздражителей». Зрячие, тычемся, как слепые. Не глухонемые от рождения, не слышим фальши в «прстой гамме»...

Конечно, печатные мощности маломощны, а издатели себе на уме. И все-таки: стараниями отдельных энтузиастов (в семье не без урода) за последние три-четыре года опубликовано несколько произведений, выделяющихся своеобразием «выделки» — «весьма тонким распределением духа и знаков» (если вспомнить Есенина), явно отличных не только от серийной, но и от вполне хорошей литературы для обязательного интеллигентного чтения. Помимо «Мореплавателя», это «Дом дней» Виктора Сосноры, его же «Властители и судьбы», «Гридер и муза» Л. Латынина, «Закудыкина гора» Юрия Стефанова, «Земные и небесные странствия поэта» Тимура Зульф리카рова. Это не авангард или арберггард, это «очень одинокие произведения», может быть, род эстетического диссидентства, ибо авторы поштучных произведений сопротивлялись культурному одичанию не политически, как, скажем, Вас. Гроссман или Вл. Кормер, а художественно.

Тут, видимо, вот еще что надо принять к сведению. Общеизвестно: советское общество отреагировало на длительное СДАВЛИВАНИЕ (употребим эвфемизм) резким снижением творческого потенциала. Однако личности гибкие и витальные не только выдержали прессинг, но, похоже, использовали давление еще и как дополнительный источник творящей энергии. Интеллект общества, катастрофически снижаясь на средних и ниже-средних уровнях, взвинчивался, уходил в высоту в отдельных уникальных случаях. Ситуация, кстати, классическая, еще Пушкиным по имени названная: «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». И вот сейчас даже западные бизнесмены удивляются — и крайне низкой рабочей культуре масс, и уникальности штучных специалистов; великолепные, де, импровизаторы, генераторы идей, просто Кулибины.

Подобное, с поправкой на специфику, случилось, по-моему, и в искусстве. Я, например, не убеждена, что Сидур стал бы Сидуром, Высоцкий — Высоцким и даже Маканин — Маканиным, если бы время «туннелей, лазов и подземелий» не поставило их в экстремальные условия. Вышеназванные вещи — явление того же порядка. Смогут ли их авторы и вообще художественная оппозиция не раздробиться, сумеет ли оказать серьезное сопротивление «новым гуннам»? Или опять уйдет в подполье, уступив поле своего сражения за культуру практикующей сложности рыночному Молоху? Ответа на этот новый русский вопрос не знает никто...

Не думаю, правда, чтобы в этом отношении мы были так уж «хуже» других: во всем подлунном мире конъюнктуру рынка, баланс спроса и предложения определяют люди, «живущие внутри жизни», стремящиеся в ней адаптироваться и посему не терпящие риска. И для них всегда самой привлекательной будет книга, которую читают все.

Что до специфики, то она, по-моему, в том, что эстетическая тугоухость, в нашем с вами отдельно взятом случае, сочетается со своеобразным «прюдством». Спокойно переноса сцены самого грубого, наглядного насилия даже у себя дома, по ТВ, равно как и эротические излишества там, где от них благоразумнее было бы удержаться, скажем, в «Московском комсомольце», мы вдруг становимся «брюзгливыми», когда художник заводит речь о неизлечимой болезни, об ужасе бесплатного, по-совдеповски, умирания — в «муках, грязи, вони». Некоторое время тому назад по договору с весьма свободомыслящим изданием я написала маленькую рецензию на сборник стихов Вадима Сидура (великий скульптор и замечательный художник, в последние годы жизни он «сделался поэ-

том» — чтобы не умереть и не сойти с ума: тяжкая болезнь надолго разлучала с главным делом). А мне ее тихо-вежливо завернули. Редакцию не устраивала цитата, а мне именно этот фрагмент не хотелось менять на более «пристойный» по той простой причине, что ничего непристойного в нем не было, была лишь му́ка унижения страданием и незащитность перед страданием. Впрочем, судите сами:

.....

Ниже пупка лобок
 А ниже мой несчастный член
 Из него торчит толстый
 Иностраннй катетер
 Был ли такой у Картера
 Мой член засунут в утку
 Мифология нашего времени
 Член Лебеда-Зевса в Леде
 А в утке член Сидура больного
 ИОВА...

Срамность, то бишь «преувеличенное» внимание к «телесному низу», и шире — к «тьме низких истин» — не единственное свойство новой литературы, мешающее ей пробиться к массовому читателю.

Приветствуя вышедшую из подполья литературу андерграунда, мы, критики, порой умиляемся: надо же, живая и даже частично конвертируемая. И почему-то не хотим замечать, что «контрабандная форма существования» (до выхода из «андерграунда») отметила ее «роковой печатью» недостаточно коммуникабельности. Приспособившись писать для своих — «посвященных», тех, кто всегда рядом и потому наверняка поймет и то, о чем промолчали, «андерграундцы» как бы утратили и волю, и охоту выражать свои мысли и состояния так, чтобы их могли понять и «чужие» — то есть уложить их в форму и дать им язык, входящий в систему «все-языка»¹.

А некоторые из моих коллег, М. Эпштейн например, из нажитого в подполье недуга (вынужденная некоммуникабельность) выжимает концепт: принципиальная некоммуникабельность, и преподносит как правило творческого поведения, годное и для открытого культурного пространства: «Настоящей литературе в эпоху гласности остается, пожалуй, один путь — высказанного молчания или умолчанного слова. Выбалтывать секреты, чтобы не разглашать тайны. Утаивать смысл слова в миг его произнесения. Хранить литературу на дне языка, в его безбрежном молчании» («Знамя», 1991, № 1).

Не спору: у бывших сам- и тамиздатовцев можно, и без особого напряжения, выбрать некоторое количество текстов, которые вполне уложатся в предложенную М. Эпштейном схему: «Новая литература существует как сомнамбула в тумане, ничего не узнавая вокруг». Однако ни к Л. Петрушевской, ни к В. Пьецуху, ни к Поповым и Ерофеевым она не приложима, ибо если что и объединяет этих разных художников, так это стремление снять с наших глаз катаракту или, на худой конец, заставить нас сменить приросшие к роговице контактные линзы.

Не помещаются в конструкции М. Эпштейна и совсем-совсем молодые (подростки перестройки): О. Ермаков, А. Терехов, О. Павлов, О. Хандусь. Эти созрели сразу и начали сразу — как власть имущие.

В одном из февральских номеров «НГ» мое внимание остановила заметка Е. Болдыревой о фестивале «Дебют». Если Е. Болдырева судит верно, если самым новым действительно удалось соблюсти «грань действительности в бытописа-

¹ Термин «все-язык» ввел в наш литературный обиход М. Мамардашвили: «Культура... нуждается в открытом пространстве и свободном слове. Это, очевидно, «врожденное» свойство культуры: она не может органично и жизненно полноценно существовать в подполье: в глухой, не связанной словом (или, если угодно «все-словом») жизни. Живые токи коммуникации должны быть» («Если осмелиться быть...», «Родник», 1989, № 11).

нии абсурда нашего существования», если они и в самом деле не тонут в абсурде, в «какотопии», в эсхатологических джунглях, а «обладают нормальным здоровым зрением», может быть, это вообще особенность нового поколения? Ведь сказанное о кинематографистах можно без всякой натяжки приложить и к самым новым прозаикам. В отличие от тех, кто начинал в закрытом пространстве, и О. Ермаков, и А. Терехов, и О. Павлов идут на контакт, ищут его, им важно не только сказать, но и быть услышанными и даже, может быть, понятыми. А ведь еще растут, длинноного и долговязо перешагивая через «метафизику мусора», и «хранить литературу на дне языка» явно не намереваются, равно как и пребывать в «безбрежном молчании»... Читая Павлова, не знаешь, чему больше дивиться. То ли пугающей зрелости «жизнемыслей». То ли чуткости, с какой он, не обученный нотной грамоте слухач, извлекает высокий и чистый звук из бедного замордованного слова. То ли мудрости полудетского сердца, плачущего там, где умнее закаменеть в горькой усмешке — до спасительной «чернухи», там, где мы обреченно не ждали ничего — на краю, за которым не пушкинская бездна, а платоновский котлован:

«Зек отдышался, чтобы сказать так:

— Гроза будет, служивый... Глянь, какие облака.

Леха Смирнов запрокинул голову. И холодное, как ветер, лезвие в мгновение расколо ему горло...»

Ох, не только по выпертому из горла кадыку Лехи Смирнова полоснула бритва зека... Лезвие рассечена вперекос и ткань нашего бытия, какой бы подштопанной по прорехе-«решке» ни казалась она заморским гостям. И блаженные наши мальчишки созревают ко времени — не для «братства-блатства». «Гроза будет, служивый...»

Есть в рассуждениях М. Эпштейна, казалось бы, сугубо литературных, и еще один аспект, к литературе в узком смысле отношения не имеющий, однако — из актуальных. Посмотрим правде в глаза: герой нашего времени, то бишь молодой человек деловой складки, предприимчивый и с дарованиями, подобно сказочному герою, очутился на развилке трех дорог. «У него, — цитирую Сергея Станкевича («Московский комсомолец», 23. 2.91), — три пути: либо сбежать из страны, либо уйти в беспредельный кайф, либо все-таки мыслить, действовать, атаковать последовательно, целеустремленно».

В этих специфических обстоятельствах статья М. Эпштейна, каковы бы ни были намерения автора, объективно третий путь начисто отсекает. Как действовать и мыслить, а тем паче атаковать, если «делать нечего», если у нас отняли не только прошлое и настоящее, но и будущее, если даже в эпоху гласности Слово обречено на безбрежное молчание?

Я бы, право, не решилась на такое истолкование эпштейновских теоретических причуд, если бы не опубликованный в «Независимой газете» (26.1.1991) прелюбопытнейший матерьялец с прелестно желтым названием: «Когда туманным утром мы подшлывали к Стокгольму...» (Вроде как интервью, взятое Аркадием Драгомощенко у «известного шведского поэта» и переводчика с русского Ханса Бьеркергрехена). Матерьяльчику предпослан редакционный врез, сообщающий, что целая группа подопечных М. Эпштейну «модернистов», из числа особо «сложных», которых мы, де, обвиняли в заносчивости и высоколобости, уже выбрали первый путь и вполне сочетают его со вторым. Парщиков преподает в Стэнфорде, Кутик принял датское подданство, Иван Жданов собирается это сделать. Сам Драгомощенко гостит у северного скальда и намекает: и новые путешественники потихоньку подтягиваются к причалу.

Я, разумеется, ничего не имею против их группового перемещения в сторону Стокгольма: каждый ныне решает сам. Но меня озадачила форма обнародованного «НГ» фарса, на четверть состоящего из хихикающих междометий. Вожди постмодернизма хихикают так тупо, будто это у них, а не у рядовых совдепов «волосы растут вовнутрь», будто это у них, высоколобых, а не у героев сорокинских «концептов» мозг зарос волосами и скособоченные мысли блуждают в стокгольмских туманах, словно в подмосковном лесу, аukaются и не находят друг друга.

«НГ» уверяет, что не хотела нас всего лишь позабавить. Она предлагает увидеть «кровь на пишущей машинке». Увы, крови не вижу, вижу бессмертный клюквенный сок...

То, что гласность украла у литераторов самые ходовые слова и передала их в общее пользование, — несомненно. И слава богу, что отняла. Конфискованный словарь был крайне удобен для простейших мыслительных операций, но совершенно не годился для «соображения понятий».

...Может быть, мы действительно «врезались», как хлестко формулирует М. Эпштейн, «на высшем витке развития в тыл всему человечеству»¹, но это крушение развязало нам язык, и новая литература пытается преобразить его в новую русскую речь. И кто знает, может, это и есть равнодействующая всех усилий — между прошлым и будущим? Та станция конечного назначения, куда, на глубине «коллективного подсознательного», устремлены все направления нынешних литдвижений — от В. Личутина и П. Паламарчука до Вен. Ерофеева и Дм. Савицкого?



¹ Хочу, однако, привести и альтернативную точку зрения на сей счет; она выглядит менее жизнеподобной, но мне — то ли в силу врожденного оптимизма, то ли по отвращению к панике (у страха уж слишком глаза велики) — субъективно милее:

«Но даст ли сказанное предположить, что и вся наша история — одна большая неудача, потерянное время? Если это и неудача, то, может быть, такая, что стоит иных удач?» (Е. Ермолин «Погоня за горизонтом», «Нева», 1990, № 6).

Анни ШМИДТ

ВЕДЬМЫ И ВСЕ ПРОЧИЕ

Злые мысли

— Тебе пора подумать о женитьбе, — сказал престарелый король своему сыну.

— И на ком же мне жениться? — уныло спросил принц.

— На прекрасной принцессе, — ответил король. — И чтобы она была не только красивой, но и доброй. У нее в голове не должно быть ни одной злой мысли, ни за что и никогда.

— Таковую нам вряд ли удастся найти, — вздохнул принц.

Но король уже позвал своего камердинера. Дело в том, что у королевского камердинера была способность видеть плохие мысли. Они представлялись ему в виде крылатых насекомых, круживших над головами людей.

— Послушай, — сказал ему король. — Завтра на смотрины придет одиннадцать принцесс. Мы будем выбирать из них самую красивую. А ты нам будешь докладывать, как у них у всех обстоят дела с мыслями.

На том и порешили. Назавтра на газоне расположились одиннадцать принцесс. Они сидели в пластиковых креслах-качалках и раскачивались туда-сюда, туда-сюда, потому что ужасно нервничали.

— Итак! — сказал король.

Камердинер начал осмотр первой принцессы, блондинки.

— Ба! — отшатнувшись, воскликнул он. — Какой ужас! Над ней кружат слепни!

Остановившись возле второй, он крикнул:

— Черные жуки... Их тысячи!

Мимо третьей он пробежал, не задерживаясь, испуганно выкрикивая на ходу:

— Бешеные пчелы... Караул!

И так, представляете, вдоль всего ряда. Над хорошенькими головками он видел отвратительных насекомых, то были злые мысли прекрасных принцесс. Король и принц наблюдали за происходящим, они не видели никаких насекомых, но восхищенно внимали проницательному камердинеру.

Наконец камердинер затормозил возле одиннадцатой принцессы и долго стоял неподвижно. Затем он обошел ее со всех сторон, посмотрел-послушал и даже понюхал ее кудряшки.

— Ничего не понимаю, — пробормотал он. — Ни одной злой мысли. В этой девушке я не нахожу ни капельки зла. Пожалуй, я рекомендую вам ее.

— Отлично, — в возбуждении потер руки король. — Дело сделано.

Остальных десять принцесс быстренько рассадили по каретам и отправили восвояси, а чтобы они не сильно переживали, им в утешение вручили по огромному куску торта. Но они все равно были ужасно удручены, бедняжки. А одиннадцатая принцесса стала, выходит, невестой принца. Она была необыкновенно красива, что правда — то правда. У нее были голубые глаза, каштановые волосы и личико — беленькое, как у фарфоровой куколки.

— Так-так, — с удовольствием приговаривал король, разглядывая ее. — Ты счастлив, сын мой?

— Нет, — сказал принц.

— Мой мальчик! — возмущенно воскликнул король. — Такая красивая невеста королевских кровей, да еще и ни одной злой мысли! Подумай только!

— Да уж, — проворчал принц. — Очень может быть, что у нее нет злых мыслей. Но, по-моему, у нее вообще нет никаких мыслей. Ни злых, ни добрых.

— Какая разница! — облегченно махнул рукой король. — Потом она станет королевой, а королеве совсем необязательно иметь какие-нибудь мысли. Лишь бы она умела приветливо кивать из окошечка кареты. Лишь бы она могла улыбаться, а умные слова заучит наизусть. Ей вовсе не нужно думать!

Принц промолчал. В этот же день он отправился со своей прекрасной невестой покататься на лодке. Они медленно плыли по реке. Вдоль зеленых берегов на солнце сияли жемчужные лилии.

— Ты думаешь когда-нибудь о небе? — спросил принц.

Принцесса удивленно посмотрела на него. Она молчала, и принц понял, что у нее нет ни одной мысли по этому поводу. В молчании они поплыли дальше, пока на правом берегу не показалась старая покосившаяся лачуга.

— Почему один человек богатый, а другой — бедный? — спросил принц.

Принцесса снова с удивлением посмотрела на него. Ее личико было еще краше, чем обычно, но принц почувствовал сильное раздражение, потому что она явно никогда не задумывалась над этим вопросом и вообще ни над чем не задумывалась. У нее не было НИКАКИХ мыслей.

— Я привяжу здесь лодку, — сказал принц. — Подожди меня. Я хочу заглянуть в эту лачугу.

Принцесса осталась терпеливо поджидать принца, она опустила руку в воду, волны мягко покачивали лодку. Принц тем временем толкнул дверь бедной хижины.

Там внутри на старом колченогом стуле сидела бедно одетая темноглазая девушка. Она чистила картошку и с удивлением взглянула на нарядного принца.

— Привет, — сказал принц, остановившись на пороге.

— Привет, — ответила девушка, продолжая чистить картошку.

— Почему... — спросил принц. — Почему цветок красивее, чем корзина с картофельными очистками?

Девушка отложила в сторону нож и задумалась. Потом она сказала:

— А разве цветок красивее корзины с картофельными очистками? Ты в этом уверен?

Принц присмотрелся повнимательней и обнаружил, что корзина с картофельными очистками на ее коленях и впрямь красивее всех цветов, вместе взятых. Странно, конечно, но ему действительно так показалось, хотя он и сам не мог взять в толк — почему? Он понял только, что у этой девушки есть мысли. Он нежно взял ее за руку и зелеными лугами повел во дворец. О принцессе в лодке он напрочь забыл и, явившись вместе с бедной девушкой пред светлы очи старого короля, упал на колени перед тронem и сказал:

— Отец! Вот моя невеста. Она думает!

— Но мальчик! — испуганно воскликнул король. — У тебя ведь уже есть одна невеста! А это... это какая-то замарашка. Что люди скажут! Фу, какое грязное платье!

— Это ерунда! — сказал принц. — На белом свете полно платьев.

Между тем к девушке приблизился камердинер. Приглядевшись к ней, он громко вскрикнул от ужаса:

— Шмель! Огромный толстый шмель кружит над ее головой! У нее — злая мысль!

— Только одна? — рассмеялся принц. — О чем ты думаешь, любовь моя?

Девушка покраснела и сказала:

— Я подумала, что только глупый король придает значение тому, что скажут люди.

— Вот видите! — крикнул камердинер. — Злая мысль!

— Это лучше, чем вообще никакой! — сказал принц и поцеловал девушку, несмотря на то, что она и в самом деле была сущей замарашкой. Девушку отправили принять ванну и потом тут же взялись праздновать свадьбу.

Когда свадебная процессия ехала вдоль реки, принц к своему ужасу увидел прекрасную принцессу, которая все еще сидела в лодке.

— Я совершенно забыл про нее! — стукнул он себя по лбу. — Спросите ее, не хочет ли она занять место в последней карете?

Принцесса не возражала, она, не задумываясь, села в последнюю карету, потому что вообще ни о чем не задумывалась.

Свадебная процессия подъехала к церкви, и все были счастливы, за исключением камердинера. Он бил палкой по воздуху и бормотал:

— В церкви полно насекомых! Жуки и мухи, слепни и ядовитые осы... фу... фу!

Но это никого ни капельки не волновало.

Нытики

Каждое утро по улицам города в тележке, запряженной шустрой лошадейкой, проезжал мусорщик. Он был всегда в прекрасном настроении и распевал песенку:

Я — мусорщик здешний,
в тележке качу.
К вам утром пораньше
в окошко стучу.
Очистки,
объедки,
гнилье,
всякий хлам
отдайте-ка мне,
не стеснясь, мадам!
Огрызки,
бумажки,
битье,
скорлупу —
я все забираю
пу-рим-пу-пу-пу!
Я вас умоляю мне мусор отдать.
Не стоит его по углам собирать!

— Ах, — вздохнула как-то одна хозяйка, встречая его на пороге своего дома, — как же ты хорошо поешь! Мне бы так хотелось, чтобы и мой муж пел какую-нибудь песенку, так нет!

— Неужели ваш муж никогда не поет? — удивился мусорщик.

— Никогда, — сказала грустно хозяйка. — Знаешь, кто он?

И она прошептала ему на ухо:

— Мой муж — нытик!

— Кто-кто? — не расслышал мусорщик.

— Тс-с! — испугалась она. — Никто не должен этого знать. Мой муж — нытик!

— Что значит — нытик? — спросил мусорщик.

— Ты не знаешь, кто такие нытики? Нытики — это всегда и всем недовольные люди, они все время жалуются и ворчат, и брюзжат, и ноют, и зудят, и жалуются, и причитают, и все на свете проклинаяют.

— Вот оно что, — сказал мусорщик. — И много таких нытиков в нашем городе?

— Много?! — воскликнула хозяйка. — Их — тысячи, десятки тысяч. Ты только прислушайся хорошенько.

И мусорщик хорошенько прислушался. И что же он услышал? Жалобы, причитанья и ворчанье нытиков. Больших нытиков и нытиков маленьких. Нытиков-пап, нытиков-мам и нытиков-детюшек. Охи и вздохи, стенанья и брюз-

жанье. Вот так всегда — если хорошенько прислушаться, можно услышать нытиков. Они желали:

не ходить в школу,
не ходить в контору,
желали лучшей жизни,
чтобы другим было обидней!
Желали бесплатно на лучший курорт

и вместо обеда —
ореховый торт,
и еще они желали сотню одних вещей и не желали сотню других.

— Ну и дела! — сказал мусорщик, услышав все это. — Как я рад, что я не нытик! А теперь моя тележка полна, и я поехал на свалку.

Но не успел он развернуть свою лошадку, как из соседнего переулка появилась очень странная с виду дамочка и направилась прямо к нему. Это была очень худенькая дамочка. Она спросила:

— Мусорщик, среди вашего мусора вам случайно не попадалась моя дудочка?

— Дудочка? — удивился мусорщик. — Вы наверное выбросили ее вместе с картофельными очистками или еще с чем-нибудь? Какое несчастье!

— Не такое уж и несчастье! — сказала худенькая дамочка. — Это была копечная дудочка.

— Все равно жалко, — вздохнул мусорщик.

— Если она вдруг вам попадетсЯ, — сказала дамочка, — НИ ЗА ЧТО в нее не дуйте.

— Почему? — спросил мусорщик.

— Да так, могут случиться кое-какие неприятности, — ответила дамочка и — фр-р-р! — будто ее ветром сдуло.

— Эй, дамочка! — крикнул мусорщик, но ее и след простыл.

Он слез с облучка и в раздумье начал ворошить мусор. И надо же — среди картофельных очисток он действительно нашел дудочку! Самую обычную копечную дудочку. А мусорщик был такой любопытный, такой любопытный... ну почему, скажите на милость, нельзя разок дунуть в эту дудочку? Этого нельзя так оставить, он просто ОБЯЗАН дунуть. И он дунул, и дудочка издала странный, ни на что не похожий звук. И в тот же миг начало что-то происходить. Всюду пораскрывались двери, и на улицу повалили люди. Было видно, что они идут против своей воли, им совсем не хочется никуда идти, но они шли и шли, будто их что-то тащило из дому.

А когда мусорщик выехал на своей тележке из города, за ним следом, стена и охая, двинулась вся огромная толпа. Это были нытики. Все нытики должны были следовать за мусорщиком. Какой ужас, они брыкались и упирались, они цеплялись за все встречаемые предметы, они кричали и звали полицию.

— Полицейский, нас куда-то тащат! — кричали нытики. — Нас волокут на веревке!

— Но я не вижу никакой веревки, — отвечал полицейский.

— Это невидимая веревка!

— Хулиганство! — возмутился полицейский. — Я протестую! Закон не признает невидимых веревок.

Конечно, город не опустел, в нем осталось полным-полно народу. Остались те, кто не был нытиком. Оставшиеся взрослые и дети, онемев от изумления, смотрели, как нытики уходят из города. Они ничегошеньки не понимали.

— Нытики уходят, — говорили они. — Почему? Отчего? Кто их заставил?

И двое маленьких ребятшек сказали:

— Может, худенькая дамочка знает?

И все закричали:

— Худенькая дамочка! Худенькая дамочка!

— Вот я! — сказала невесть откуда появившаяся худенькая дамочка.

— Нытики ушли! — крикнул кто-то.

— Так-так, — закивала головой худенькая дамочка. — Я же сказала мусорщику, чтобы он не дул в дудочку. А он не послушался.

— Что же теперь будет с нытиками? — заволновались все.

— Ах, — вздохнула худенькая дамочка, — они пойдут за мусорщиком на мусорную свалку. Там они и останутся, а есть будут очистки и объедки.

Люди переглядывались в испуге и смущении.

— Какой кошмар, — говорили они.

Но тут некоторые мальчики и девочки расхохотались и закричали:

— Подумаешь! Никакого кошмара! Теперь у нас не будет нытиков. И мы отлично заживем!

— И то правда, — поддержали их взрослые. — Никто не будет зудеть и брюзжать.

И они заплясали хороводом вокруг музыкальной веранды, где духовой оркестр принялся играть одну мелодию за другой.

Между тем нытики расположились на большой мусорной куче. Все здесь казалось им мерзким и отвратительным.

— Что нам теперь кушать? — спросили они мусорщика.

— Очистки, — ответил он. — Что же еще?

— Мы хотим домой, — захныкали они.

— На что вы мне сдались, — сказал мусорщик. — Можно подумать, что я вас здесь держу, глаза бы мои на вас не глядели. Идите куда хотите.

И нытики попробовали уйти с мусорной свалки, но ничего у них не получилось. Как будто они были привязаны к проклятой куче невидимой веревкой. И им пришлось остаться здесь и жевать очистки. Кожуру от яблок, кожуру от груш, а также верхние листья салата. К тому же весьма подвявшие. Ботву от редиса и даже арбузные корки.

— Как же нам хорошо было дома, — вздохнул пожилой господин. — Там был сервелат и соус!

— Яичница и хрустящая картошка, — тоскливо подхватил мальчик.

— Кресло, в котором можно было сидеть, — смахнула слезу дама.

— Игрушки и книжки со сказками, — зарыдали маленькие нытики.

— Да ну вас, я пошел, — послушав их, махнул рукой мусорщик. — До вечера.

— Что? Ты уходишь? Возьми нас с собой!

— Да я-то с удовольствием, — сказал мусорщик. — Попробуйте.

Нытики скорбно посмотрели вслед удаляющемуся мусорщику, но ни один из них не смог оторваться хоть на полметра от мусорной кучи. И они в грусти и печали остались сидеть, прикованные к мерзкой свалке. Так теперь и повелось: вечером мусорщик уезжал, а утром приезжал и привозил свежие очистки, кожуру, шелуху, плесневелые корки и всякий прочий мусор. Он совсем выбился из сил, потому что нытики ужасно много ели.

А когда он возвращался в город, его поджидала целая толпа. Женщины кричали:

— Как там поживает мой муж? Как ему там?

А мужчины кричали:

— Как там моя жена?

И многие с испугом спрашивали:

— Что там поделывает мой сынишка?

И мусорщик отвечал:

— Не беспокойтесь, все в порядке. Они едят очистки, в которых полным-полно витаминов.

— И сколько же им там еще оставаться? — спрашивали люди.

— Я ничего не могу поделать, — горестно разводил руками мусорщик. — Их держит какая-то веревка. Похоже, что электронная.

— Выходит, они теперь всю оставшуюся жизнь проведут на твоей грязной свалке?

— Вот уж нет, моя свалка совсем не грязная, — обижался мусорщик.

Но волнение в городе нарастало, и все ужасно сердились на мусорщика.

— Мы хотим назад наших нытиков! — закричала однажды вся толпа.

— Уважаемые граждане, — сказал несчастный мусорщик. — Я никак не могу вам помочь. Попросите лучше худенькую дамочку.

— Худенькая дамочка! Худенькая дамочка! — крикнули все разом.

Как из-под земли возникла худенькая дамочка и спросила:

— В чем дело?

— Эти люди хотят, чтобы вернулись их нытики, — объяснил мусорщик.

— Послушай, — сказала худенькая дамочка, — разве ты не помнишь, о чем я тебя предупреждала? Я же попросила тебя: не дуй в дудочку!

— Точно так, — покорно кивнул мусорщик.

— А ты меня не послушался.

— А я не послушался, — горестно вздохнул мусорщик.

— Мы хотим, чтобы вернулись наши нытики! — закричала толпа. — Немедленно!

— Вот глупые люди, — пожала плечом худенькая дамочка. — Насколько приятнее и спокойнее стало в городе, когда никто не поет, не ворчит и не жалуется.

— Так-то оно так, — сказала какая-то женщина. — Но каким бы нытиком не был мой муж, он все же мой муж, и мне его не хватает.

— А мне не хватает моих детей! — воскликнула мать. — Даже если они и нытики.

— Ну, как знаете, — поморщилась худенькая дамочка. — Мусорщик, ты не выбросил случайно дудочку?

Мусорщик начал рыться в карманах, и все, затаив дыхание, следили за ним.

— Кажется, выбросил, — растерянно улыбнулся мусорщик, и толпа ахнула от ужаса.

— Посмотри в сумке, — посоветовала худенькая дамочка.

— Вот она, — с облегчением вздохнул мусорщик и вытащил из сумки дудочку.

— Иди на свалку, — велела дамочка, — и дунь в дудочку. Но закрой пальцем среднюю дырочку. Тогда у тебя получится другой звук, и это должно помочь. Давай отправляйся.

Мусорщик вскочил на свою тележку и пустил лошадку в галоп.

— А мы подождем, — сказала худенькая дамочка, и люди вокруг нее заговорили, перебивая друг друга:

— Ах, если б это только помогло! Ах, если б только они вернулись! Наши дорогие нытики. Янтье, заберись на башню и крикни нам, когда они появятся!

Янтье забрался на башню и стал смотреть вдаль.

— Ты видишь их, Янтье?

— Нет, пока никого не вижу.

— А может, ты чего-нибудь слышишь?

— Пойдите, не галдите... — крикнул Янтье. — Мне кажется, я и впрямь что-то слышу. Я слышу дудочку. А теперь я вижу толпу на дороге. Они идут сюда...

— Ура! Ура! — закричали все. — Они идут! Они идут!

И в самом деле в город вошла огромная толпа нытиков. Ну и грязные же они были! Конечно, если столько времени проведешь на мусорной куче, вряд ли будешь выглядеть лучше. Но все они были радостны и веселы! Прямо не узнать... их и нытиками-то никак нельзя было назвать!

Мужья обняли жен, матери обняли детишек, своих исхудавших детишек-нытиков, которые немедленно получили по мороженому и по книжке со сказками.

Им закатали исключительный праздник со всякими сладостями и танцами, хлопушками и фейерверками, а худенькая дамочка даже продемонстрировала, как она умеет стоять на голове.

И вдруг кто-то вспомнил:

— Ой, мы забыли поблагодарить мусорщика!

— Меня? — удивился тот. — За что? Я ничего такого не сделал. Я только утром, как обычно, убрал мусор.

И все снова бросились танцевать, а лошадке мусорщика дали четырнадцать кусков орехового торта.

Зверь по фамилии Лесной

Жила была маленькая крестьянская девочка. Все звали ее Осторожинка, потому что она была очень осторожной. Ходила она всегда медленно-премедленно и внимательно смотрела себе под ноги, чтобы не дай бог не наступить на цветок и не раздавить жучка, ибо она знала все растения и всех животных в большом лесу.

— Осторожинка, — говорили люди, — не ходи в школу лесом. Ходи лучше по большой дороге. В лесу живет отвратительное чудовище. Это зверь по фамилии Лесной. Ты видела когда-нибудь зверей с фамилией?! Это же черт знает что!

— Я никогда не видала этого зверя, — отвечала Осторожинка, — но я вовсе не боюсь с ним встретиться.

И оставаясь верной своей привычке, она продолжала ходить в школу через страшный дикий лес.

— Осторожинка, — сказали ей как-то люди, — вот живешь себе и не знаешь, что наш король объявил конкурс. Тот, кто поймает зверя по фамилии Лесной, получит полкоролевства и принцессу впридачу. Понимаешь теперь, как опасно ходить через лес? Теперь ты нам веришь?

— А я все равно не боюсь, — ответила Осторожинка и снова пошла в школу лесом. Но не успела она добраться до лесного озера, как услышала жуткий рев, сопение, а потом истошные вопли. Что-то просвистело по воздуху и с невероятным шумом — плюх! — шлепнулось в воду, так что брызги разлетелись во все стороны.

Осторожинка с любопытством оглядела круги на воде и вдруг заметила молодого человека, который, вздыхая и отплеываясь, плыл к берегу. Осторожинка подала ему руку, помогая выбраться на сушу, и спросила:

— Что случилось?

— Он подбросил меня в воздух, — отвечал запыхавшийся молодой человек. — Своими мерзкими рогами... зверь с фамилией. Уф, ну и страшилище!

На следующее утро, когда Осторожинка снова шла через лес, она опять услышала невероятный шум. Она сразу подняла глаза вверх — и точно! — уже другой молодой человек пролетел по воздуху. С оглушительным треском он приземлился на крону старого дуба, где и застрял, охая и проклиная все на свете.

— Этот зверь Лесной... — крикнул он. — Зверь с фамилией! Он подкинул меня вверх метров на тридцать! Кошмарный тип!

Теперь-то уж никто не рисковал и носа сунуть в лес, только Осторожинка спокойно ходила своим путем, всегда медленно и всегда низко опустив голову. Однажды она присела на бережку лесного озера и достала из портфеля бутерброд. Это был кусок черного хлеба с сыром, и Осторожинка стала задумчиво его жевать, не обращая внимания на крошки, падавшие в траву.

— Ой, пожалуйста, только не мне на голову, — откуда-то из травы раздался тоненький голосок. Осторожинка посмотрела вниз, чтобы увидеть, кто это говорит. Оказалось — голосок принадлежал маленькому белому цветочку, сгибавшемуся под тяжестью хлебной крошки.

— О, извините, — сказала Осторожинка и стряхнула с цветочной головки крошку.

— Премного благодарен, — сказал цветочек.

— Ты видел когда-нибудь зверя с фамилией? — спросила Осторожинка.

— Конечно, — ответил цветочек. — Он из нашей семьи.

— Как так? — удивилась Осторожинка.

— Очень просто. У меня тоже как-никак есть фамилия!

— Ах да! — воскликнула Осторожинка. — Как глупо, что я об этом не подумала. Ты же — Лесной Ландыш! Значит, ты хорошо знаешь зверя Лесного?

— Ну, не то чтобы очень хорошо... — сказал Ландыш. — Зато я знаю кое-что про него. Например то, что он страшно свирепеет, когда на него нападают. Я

знаю, что он просто взбеленился, когда эти молодые люди пытались его поймать.

— Это я тоже знаю, — вздохнула Осторожинка. — Я сама видела, как они тут летали.

— Но это еще не все, — продолжал Лесной Ландыш. — Я знаю, что он начинает плакать, если ему спеть печальную песенку. И тогда он становится послушным, как овечка, и его можно вести, куда хочешь — хоть на самой тоненькой веревочке.

— Спасибо тебе, — поблагодарила Осторожинка, — я обязательно буду об этом помнить.

Она собрала с бумажки последние крошки и отправила их в рот. После этого попрощалась с Ландышем и пошла в школу.

И надо же такому случиться, что именно в этот день она наконец повстречала зверя по фамилии Лесной. Он стоял, перегородив тропинку, а поскольку Осторожинка всегда смотрела себе под ноги, она сперва увидела его лапы. Это были косматые нечесаные лапы на огромных копытах.

Осторожинка медленно подняла голову и увидела все его туловище — гигантское туловище — даже большее, чем у слона! — покрытое густой лохматой шерстью. Потом она откинула голову назад и увидела морду чудовища. И это, надо сказать, было жуткое зрелище! У него было три рога и широко распахнутая пасть со множеством острых зубов. Усы у него были, как у тигра, а нос он морщил, как драчливый пес. Его маленькие глазки полыхали лютой злобой. Он пыхтел, как паровой котел, и лязгал своими страшными зубами. Было ясно, что он твердо намерен слопать Осторожинку целиком и даже портфеля от нее не оставить.

Дрожащая Осторожинка приготовилась к самому худшему, но тут она вдруг вспомнила, что ей рассказывал Ландыш. И прерывающимся от страха голосом затянула:

— Гуляла сиротка-овечка, — пела она, — по лужку, по лужку...

Эту песенку пела мама, когда Осторожинка была еще совсем маленькой. И Осторожинка всегда плакала, потому что это была очень грустная песенка.

Все еще дрожа, но уже более звонким голосом Осторожинка пропела всю песенку, и огромный зверь Лесной слушал, закрыв свою страшную пасть. Его глаза заволокло печалью, и по косматым щекам потекли большущие слезы.

Когда песенка закончилась, Осторожинка начала петь ее сначала, и между тем она достала из кармана скакалку и обвязала ее вокруг шеи зверя с фамилией.

Продолжая петь, она повела его за собой через лес, и он охотно шел, словно кроткая овечка. С песенкой Осторожинка вывела зверя из лесу, и они двинулись через деревню.

— Караул! Зверь Лесной! — в ужасе кричали люди, взлетая на деревья и крыши.

Но Осторожинка спокойно шла, продолжая петь свою грустную песенку, пока наконец не дошла до королевского дворца, где все придворные при виде чудовища дружно забились под золотые стулья, а также позолоченные шкафы. Все, за исключением короля.

— Дитя мое, — взволнованно сказал он, — ты поймала зверя с фамилией.

— Вы не должны его убивать, — быстро сказала Осторожинка.

— Ни в коем случае! — воскликнул король. — Я отдам ему целый парк. А тебе полагается полкоролевства, и ты можешь жениться на принцессе.

— Глупость какая! — ответила Осторожинка. — Зачем мне принцесса, я же девочка!

— Да, в самом деле, — согласился король. — Что есть, то есть. Ладно, тогда выходи замуж за моего сына принца.

— Сначала надо на него взглянуть, — сказала Осторожинка.

И взглянув на принца, кивнула:

— Так и быть.

И Осторожинка стала королевой, а зверь Лесной поселился в парке позади дворца. Каждый день королева Осторожинка пела ему про овечку-сиротку. Зверь заливался слезами и клал свою косматую голову ей на колени. И королева с молодым королем любили его больше всех своих министров, вместе взятых. И, честно говоря, они были совершенно правы.

Странная госпожа Бок

Бургомистр сидел в своем рабочем кабинете на готическом стуле с высокой спинкой. Он нажал кнопку и спросил у вошедшего секретаря:

— Скажи, сколько еще человек в моей приемной?

— Один, господин бургомистр, — ответил секретарь. — Пожилая дама. Или не дама...

— Как это «не дама»? — переспросил бургомистр.

— Ну, она не совсем дама, — замаялся секретарь.

— Давай, зови ее.

Дама, которая была «не совсем дамой», вошла в кабинет. Одета она была ужасно неряшливо. Она выглядела так, будто месяц, не раздеваясь, спала на сеновале. Ее седые волосы были всклокочены, будто служили гнездом для голубя. Из-под треснувших стекол пыльных очков бургомистра буравили два живых пронизательных глаза.

— Меня зовут госпожа Бок, — представилась она. — Меня выселяют из моего домика.

— Проходите, пожалуйста, — приветливо загудел бургомистр. — Разрешите вам не поверить. В нашем городе никого не выселяют из собственных домов.

— Я живу на улице Стоофстраат, — пояснила дама.

— Ах вот что, ну это особый случай, — сказал бургомистр. — Мы сносим всю улицу, потому что там будет построен огромный отель. Тут уж ничего не поделаешь. Такова политика городских властей.

— А где же я буду жить? — поинтересовалась госпожа Бок.

— Вы получите квартиру, — терпеливо пояснил бургомистр. — В чудесном районе. В современном доме.

— Это меня абсолютно не устраивает, — решительно заявила госпожа Бок. — Я уже сорок лет живу на Стоофстраат и не желаю никакой современной квартиры. Я там не буду чувствовать себя дома.

— Вот как, — сказал бургомистр. Внезапно он почувствовал ужасную усталость. Этим утром он успел уже выслушать тринадцать человек, и каждый от него чего-нибудь требовал. И все они хотели совершенно невозможных вещей. Он украдкой взглянул на часы... А ведь я еще договорился о встрече с пастором, подумал он. Пастор уже сидит над доской с шашками и ждет меня. Сегодня четверг, а по четвергам мы всегда играем с ним в шашки. Бургомистр вздохнул.

— Разве можно переселить куда-нибудь такую старую рухлядь, как я? — спросила госпожа Бок.

— Вот как, вот как, — опять пробормотал себе под нос бургомистр. — Уважаемая госпожа Бок, мне абсолютно непонятно, почему вы не хотите переехать в современную квартиру. У вас будет замечательная современная кухня. И мусоропровод. И лифт. И центральное отопление.

— Мне ничего этого не нужно, — пожалла плечами госпожа Бок. — Я не хочу туда переезжать. Я лучше буду жить в мышинной норе.

— Хорошо, — сказал бургомистр, его терпение лопнуло. — Вот идите и живите себе в мышинной норе. Честь имею.

В комнате стало тихо. Госпожа Бок прищурилась и изучающе посмотрела на бургомистра. Его внезапно бросило в жар, он почувствовал легкую дурноту и неловкость.

— И в какую же мышиную нору вы меня посылаете? — спросила она.

В ее голосе бургомистру почудилась угроза. Старая ведьма, подумал он.

— Послушайте, — сказал он. — Это была неудачная шутка про мышиную нору. Вы поедете в новую современную квартиру и сами убедитесь, что...

Госпожа Бок встала и направилась к двери. Ее платье было испачкано летучими мышами, а на спине ключьями висела паутина.

Возле самой двери она повернулась и сказала:

— Сдастся мне, что это вам следует поискать мышиную нору. Только не мне, а себе самому.

Она хлопнула дверью, и бургомистр остался один.

— Уф, тяжелое дело — быть бургомистром! — пожаловался он вслух. — Взгляну-ка я еще разок на эту мерзкую старуху!

Он подошел к окну и увидел, как госпожа Бок вышла на улицу. Сверху было видно, что и впрямь в ее всклокоченных седых волосах свил гнездо голубь. Перегнувшись через подоконник, бургомистр с интересом смотрел ей вслед. Он посчитал бы вполне уместным, если бы она улетела на метле, но госпожа Бок влезла в древний автомобиль и укатила прочь, издавая клаксоном жуткие визгливые звуки.

— Фу! — сказал бургомистр. — Какое противное создание! А теперь... теперь к пастору!

Он оторвался от окна и шагнул было назад к стулу. Однако короткий путь от окна к стулу показался ему вдруг ужасно длинным. И сам стул вдруг как-то вырос и стал гигантских размеров. И бургомистра почему-то перестали держать ноги. Он упал и побежал дальше, опираясь на руки. На руки? Какие же это руки?! Это лапы! Бедный бургомистр беспомощно огляделся по сторонам, и случайно его взор упал на большое зеркало, в котором отражалась вся комната. В зеркале он увидел собственное отражение. Мышь! Он превратился в мышь.

— Все-таки это была ведьма, — пробормотал он. — Что у меня запланировано на сегодня? Я должен произнести речь... Боже мой, как же теперь я, ставши мышью, произнесу речь?..

Он прочистил горло, поднялся на задние лапки и изо всех сил крикнул:

— Сограждане!..

Но у него получился лишь жалкий писк.

Он хотел было попробовать еще раз, но дверь отворилась, и в комнату вошла его жена.

— Герман! — позвала она. — Где ты, Герман?

— Здесь! — пискнул Герман и побежал ей навстречу.

Жена бургомистра взглянула себе под ноги.

— Ай! Ой! Караул! — закричала она и вмиг взлетела на готический стул с высокой спинкой. — Мышь!!!

— Дорогая, послушай, — пищал бургомистр, пытаясь вскарабкаться по ножке стула, но добился лишь того, что жена завопила еще громче. Дверь распахнулась, и в комнату вбежали перепуганные люди. Секретарь, домработница и все бургомистровы дети.

— Мышь! — визжала жена.

Дети, опустившись на четвереньки, с громкими криками и хохотом бросились ловить мышь, которая что было сил рванула под старинное бюро, пронзительно вереща на ходу:

— Я ваш папа! Поверьте мне, я же ваш дорогой папа!

— Принести мышеловку, — скомандовала жена. — Она валяется где-то на чердаке. Так просто нам эта тварь не дастся, но мы положим в мышеловку кусочек сыра, и она наверняка попадетсЯ!

Всю ночь несчастный бургомистр просидел под бюро. Он смотрел на поставленную посреди комнаты мышеловку и размышлял. Может, будет и лучше, думал он, если я попадусь в мышеловку. По доброй воле. Утром они откроют ее, взглянут мне в глаза и тогда... даже несмотря на то, что я разучился говорить, они непременно узнают меня. По глазам. По выражению.

Он вздохнул и отправился в мышеловку. Он слышал, как за ним захлопнулась дверца. После некоторого колебания он с удовольствием сжевал кусочек сыра и принялся ждать.

В восемь часов утра на мышеловку пришла взглянуть его дочка Тина.

— Попалась! Попалась! — закричала она. — Ой, какая симпатичная. У нее прямо сердечко колотится от страха!

Все идет как надо, подумал бургомистр. Я показался ей симпатичным.

— Я твой папа! — сообщил он.

— Ой, она пищит, — сказала Тина. — А что мы с ней сделаем?

— Фу, какая гадость! — воскликнула ее мать, остановившись на приличном расстоянии от мышеловки. — Конечно же мы ее утопим.

Бургомистр похолодел от ужаса.

— Неужели ты утопишь меня, жена? — воскликнул он.

— И пищит она омерзительно, — сказала жена. — Кто возьмется утопить эту гадость в канале?

К счастью, желающих не нашлось. Всем это показалось ужасно неприятным занятием, в том числе бургомистрову сыну Яну.

— Вон идет почтальон, — сказала жена. — Почтальон, послушайте, мы поймали мышь. В мышеловку. А теперь обязательно нужно ее утопить. Вы не окажете нам подобную любезность? Я бы угостила вас одной из лучших сигар бургомистра.

Вот так, горько вздохнул бургомистр. Моими же сигарами расплачивается за то, чтобы меня утопили.

— Я не курю, — ответил почтальон. — Но давайте мне вашу мышеловку.

— Сердечное спасибо, — с облегчением воскликнула жена бургомистра, а он сам в мышеловке перекочевал в темную и глубокую сумку почтальона.

— Утопить, говоришь, — бормотал про себя почтальон. — Нет, я не топлю животных.

— Славный парень, — обрадовался бургомистр.

— Уж пусть лучше моя кошечка пообедает, — продолжал беседовать сам с собой почтальон.

— Пожалуйста... — взмолился бургомистр.

— Но я придумаю кое-что получше, — хихикнул почтальон. — Опущу-ка я тебя пастору в почтовый ящик. А то он всегда брюзжит, будто я приношу ему письма с опозданием. Но вот мы и пришли, это дверь пастора.

На пороге почтальон приоткрыл мышеловку и осторожно вытащил оттуда мышь.

— Не думай меня укусить, — сказал он.

— Я никогда не кусаю почтальонов, — с достоинством ответил бургомистр и полетел вниз. Поскольку на двери пастора была лишь узкая щель, а самого ящика по ту сторону не было, бургомистр шлепнулся на пол в коридоре. Во всю прыть он бросился бежать вперед в поисках щели, в которую можно было бы скользнуть. Но в коридоре не нашлось ни единой щели, и бургомистр забежал в комнату, служившую пастору кабинетом. Пастор в полном одиночестве сидел над доской и двигал шашки.

Он ждет меня, сообразил бургомистр. Может, мне подать голос? Да нет, он наверняка меня не узнает. Но какой чудесный книжный шкаф! Здесь можно отлично спрятаться! Он отыскал замечательно уютное местечко между Библией и поваренной книгой. А поскольку бургомистр вдруг испытал приступ сильнейшего голода он незамедлительно приступил к поваренной книге. С наслаждением прожевав рецепт приготовления шампиньонов, он переключился на Священное Писание. Тут-то его и застукал пастор. Пастор даже вскрикнул — он был очень тихим человеком, он просто позвал в кабинет своего огромного рыжего кота и, потирая руки, стал наблюдать дальнейшее развитие событий.

— Какие дурацкие мысли тебе порой приходят в голову, приятель, — сказал бургомистр. — И это после того, как мы с тобой по четвергам играли в шашки!

Но пастор ничегошеньки не понял, а его огромный рыжий кот запустил между книг когтистую лапу, и мышь заметалась в поисках выхода. О, где же мне найти щель... маленькую, ну крошечную щелку! — лихорадочно думал бургомистр. И в тот момент, когда кот потерял терпение и всем телом протиснулся

между книг, бургомистр наконец увидел ее — спасительную щель, куда и нырнул в полуобморочном состоянии. Очутившись по ту сторону стены, он провалился куда-то вниз, а потом, привыкнув к темноте, различил два блестящих маленьких глаза, с интересом его изучавшие.

— Ах, кто вы? — пропищал нежный голосок серой мышки явно женского рода.

— Пардон, — приосанился бургомистр, счастливый тем, что появилась возможность с кем-то поговорить. — Если не ошибаюсь, меффрау Мышь?

— Вдова Мышь, — уточнила она.

— Я спасался от пасторского кота, — пояснил бургомистр.

Черные глазки вдовы наполнились сочувствием.

— Ах, этого рыжего, — вздохнула она. — Ведь это он в прошлом году... моего мужа...

Она всхлипнула.

— Как я вас понимаю, — закивал головой бургомистр. — Примите мои соболезнования. Вы живете здесь?

— Я живу в соседнем доме, — защебетала Мышь. — У меня прелестная квартирка. Пойдемте со мной, я покажу вам.

Бургомистр последовал за ней по узкому и темному коридорчику, вдова Мышь болтала, не умолкая ни на секунду.

— У вас приятная наружность, — сказала она кокетливо. — Красивые усы, бравый хвост.

— Благодарю вас, — засмутился бургомистр.

— Разве никто не говорил вам, что у вас необыкновенный хвост? — спросила она.

— Э-э... пожалуй, никто не говорил.

— Но это действительно так. Теперь нужно взобраться на эту перекладину, и мы дома. Ну вот, прошу.

Бургомистр огляделся по сторонам. Это была довольно большая нора. Кругом набросаны тряпки, откуда-то сверху падал чахлый свет.

— Мы под полом одного очень приятного господина, — пояснила Мышь. — Он хорошо питается, каждый день хлеб с джемом и сыром. И в полу у него множество замечательных щелок, так что крошки без конца падают мне прямо на стол. Одно лишь печально, что мне приходится наслаждаться всем этим в одиночестве. Быть может, вы разделите мое счастье и женитесь на мне?

— Хм... — сказал вконец смущенный бургомистр. Вдова лукаво хихикнула и томно взглянула на бургомистра, но потом вдруг подняла лапку и прошептала:

— Тс-с, кажется, он пришел. Господин, который здесь живет.

В самом деле послышались тяжелые шаги, половицы прогнулись и закрипели.

— Теперь смотрите, — тихо сказала вдова. — Время от времени мой приятный господин поднимает одну половицу. Тогда я вижу его руку. Сначала я ужасно пугалась. Но потом перестала. Я знаю, что он делает.

— И что же? — заинтересовался бургомистр.

— Он кладет под пол всякие золотые безделушки. Цепочки разные, колечки. Вон лежит целая куча этого барахла — ни съесть, ни понюхать, — и она показала лапкой в угол.

— Вот это да! — пробормотал бургомистр. Потому что прямо перед ним лежала куча необычайно ценных вещей — там были украшения, цепочки и даже брошки с бриллиантами.

— Да, очень красиво, — равнодушно сказала вдова, — но от всего этого ровным счетом никакой пользы. Ой, слышите, кто-то пришел к моему господину. Если вы встанете здесь, то вам будет слышно каждое слово.

Бургомистр встал туда, куда она указала, и прислушался. И точно — услышал все, что говорил приятный господин.

— Сегодня в час ночи, — произнес мужской голос. — В это время она спит без задних ног. Свои драгоценности она хранит в чулке под матрасом.

— А если она проснется? — спросил другой голос.

— Если она проснется, то ей — крышка. Она не должна и пикнуть, ты же знаешь, что рядом живет нотариус, а у него собака и телефон. Мы проберемся в дом через балкон, понятно? А теперь закусим колбаской и запьем ее пивком!

— Вы слышали? — прошептал бургомистр дрожащим голосом.

— Конечно, — в возбуждении пискнула вдова. — Они пошли за колбасой! Сейчас на нас посыплется колбасный дождь!

— Да я не об этом, — отмахнулся бургомистр, — я про ту кражу, которую они замышляют. Кражу, а может, даже убийство! Пстойте, кто же живет рядом с нотариусом?.. Это должно быть мейфрау де Брейн. Она очень богата и живет одна, я хорошо ее знаю. Какой ужас! Надо срочно что-то предпринять, этого не должно случиться, мне необходимо это предотвратить...

— Что ты собираешься делать? — испуганно воскликнула вдова. — Ты же не пойдешь к ней?

— Разумеется, пойду, — решительно сказал бургомистр и начал карабкаться наверх через дырку в полу.

— Не делай этого, это смертельно опасно, остановись же... — умоляла вдова, пытаясь схватить его зубами за хвост.

— Оставь меня в покое! — сердито пропищал бургомистр и гневно залепил ей по уху хвостом. Он выбрался из щели и очутился рядом со стулом, на котором сидел вор. В своем возмущении бургомистр напрочь забыл, что он теперь всего лишь маленькая жалкая мышь. Он поднялся на задние лапы и крикнул:

— Как глава полиции, я приказываю вам следовать за мной! Вы арестованы!

— Смотри-ка, мышка, — удивленно сказал один из воров.

— И пищит, как ненормальная, — хмыкнул другой. — Сейчас мы ее...

Он схватил обеими руками стул и запустил им в угол комнаты, где подбоченясь грозно топорщил усы бургомистр.

— Меня нельзя трогать, я при исполнении! — пискнул он, но повторный удар достиг цели, и бедная мышь замертво свалилась на пол.

— Оп-ля! — удовлетворенно сказал мужчина, взял мертвую мышь за хвост и вышвырнул ее в открытое окно. Бургомистр шлепнулся в канаву. И тут оказалось, что он не умер, а только потерял сознание. В ледяной воде сточной канавы он снова пришел в себя.

— Принесите мне чаю в постель, — пробормотал он. — С двумя ломтиками поджаренного хлеба и апельсиновым соком. Ох, почему мои простыни мокрые? Или это моя пижама? Что за гадость путается у меня в ногах?.. Это похоже на хвост... о! это на самом деле хвост! Я же мышь!

Кряхтя, он поднялся на ноги и огляделся по сторонам. С одной стороны от него шли люди, с другой — ехали машины.

— Люди! Я ваш бургомистр! — возопил он. Но из-за шума машин никто не услышал тоненького писка маленькой мышки. Единственно, кто обратил на него внимание, был большой лохматый пес, который принялся его обнюхивать, с любопытством сопя и виляя хвостом.

— Только этого мне не хватало! — крикнул бургомистр и пустился наутек вдоль канавы.

— Рваф! — радостно сказал пес и бросился вдогонку за мышкой, в отчаянии искавшей куда бы укрыться. Наконец бургомистр увидел вентиляционную решетку и с быстротой молнии юркнул между прутьев. Задыхаясь, с бешено колотящимся сердцем он рухнул вниз, в какой-то погреб, пес же разочарованно гавкнул над решеткой и потрусил дальше по своим собачьим делам.

— Вот уж не думал, что у мышей такая ужасная жизнь, — сказал бургомистр. — Ужасная и еще более нервная, чем жизнь бургомистра. О, я чую запах шпика! Он идет откуда-то сверху! Как же я голоден! А, будь что будет, я поднимусь по лестнице из погреба, и мне уже совершенно безразлично, куда я попаду.

Он поднялся по лестнице и, шевеля ноздрями, побежал на запах шпика. Запах привел его в маленькую кухоньку, где царил такой жуткий беспорядок, что бургомистр беспрепятственно шмыгнул за корзину с кореньями.

Вот здесь я и останусь, подумал бургомистр. Какой славный беспорядок! Мы, мыши, просто обожаем, когда кругом такой замечательный беспорядок.

Какая чудесная кухня! А что это за ноги шаркают туда и сюда? Женские ноги в рваных тапочках. Потом он услышал стук выдвигаемого ящика и звяканье глиняной посуды. А затем ему прямо под нос вдруг подсунули мисочку с двумя кусочками шпика.

Ну и ну, подумал бургомистр, неужели это мне? А может, в доме есть кошка? Но вроде я не чую ее мерзкого запаха.

Зато запах шпика соблазнительно щекотал ноздри. Ноги не уходили из кухни, однако стояли к нему пятками. И он с жадностью накинудся на первый кусочек. Тут же кухня начала вертеться, бургомистру сделалось дурно, и он закрыл глаза, а когда открыл, то обнаружил, что стоит, обеими руками держась за раковину. Да-да, руками. Двумя чудесными, прекрасными, настоящими руками!

— Как мило, бургомистр, что вы зашли навестить меня, — сказала дама — владелица ног.

Бургомистр взглянул на нее и тихо ойкнул. Это была госпожа Бок.

— Ну, как вам нравится моя квартирка? — спросила она. — А на какой славной улочке я живу! Взгляните в окно. Это и есть Стоофстраат.

Бургомистр посмотрел в окно. Улица и впрямь показалась ему очень симпатичной.

— Я... э-э... я был мышью, — сказал он.

— Как это у вас получилось? — удивилась госпожа Бок. — Да нет же, вы — бургомистр и пришли взглянуть на мой домик. Ведь просто грешно сносить такой замечательный домик, не так ли?

Она подняла на него свои пронизательные глаза, и бургомистр почувствовал такую радость, что начал смеяться.

— Конечно, госпожа Бок, — кивнул он. — Даже речи не может быть о том, чтобы сносить дома на этой прекрасной улице! Живите себе спокойно.

— Ну, тогда значит все в порядке, — приветливо улыбнулась госпожа Бок. — Не хотите ли чашечку моего собственного кофе?

— С превеликим удовольствием! — просиял бургомистр. — Я просто обожаю... ах, стойте!

— Что случилось? — спросила госпожа Бок.

— К сожалению, у меня нет времени, — воскликнул бургомистр. — Мне нужно по срочному делу, я к вам обязательно еще забегу!

— Да-да, понимаю, — сказала госпожа Бок. — Может, я подвезу вас на моей машине... куда вы торопитесь?

— В полицию! — крикнул бургомистр. — Быстрее!

Часом позже, когда двое воров уже скучали за решеткой, бургомистр, сидя на готическом стуле с высокой спинкой, задымил любимой сигарой.

В который раз за сегодняшний день жена обрушила на него шквал упреков:

— Тебя не было целых два дня, а ты так и не желаешь признаться, куда ты исчез! Что мне прикажешь думать? ГДЕ ты был?

— Сначала у пастора, — ответил бургомистр.

— Неправда! — воскликнула она. — Он битых два часа ждал тебя играть в шашки, но ты так и не явился!

— Потом у одной вдовы, — сказал бургомистр.

— Какой такой вдовы?

— Она считала, что у меня очень красивый хвост, — хотел было сказать бургомистр, но вовремя прикусил язык. — Потом я был в канаве. Но это, конечно, шутка.

— Дурацкая шутка!

— Пойдем-ка лучше обедать, — вздохнул бургомистр. — Больше всего на свете мне хочется жареного шпика.

Маршальское ухо

Жил-был один король — такой богатый, что пил чай с черной икрой и каждый день кормил свиней настоящими жемчужинами. Когда он проезжал по городу в своей черной карете с золотыми колесами, его подданные падали ниц в придорожную пыль.

Как-то раз один маленький мальчик сказал:

— Но у него ведь ужасно противное лицо, мама!

А его мать страшно перепугалась и, оглядываясь по сторонам, прошептала:

— Тс-с, нельзя такое говорить.

— Почему нельзя? — удивился ребенок. — Ведь король этого не услышит.

— Он-то не услышит, — сказала мать. — Но у короля есть маршал с подслушивающим ухом.

И это была истинная правда. У короля действительно был маршал, который умел отстегивать левое ухо. Когда никто не видел, маршал прятал ухо в кусты или в траву под окна какого-нибудь дома. Потом преспокойненько уходил, а ухо оставалось подслушивать.

Через пару дней он возвращался, приплепывал ухо на место и слушал.

— Ага! — говорил он с горящими от радости глазами. — Ваше величество, в этом доме про вас говорили гадости!

— А что они такое говорили? — интересовался король.

— Они обзывали вас мерзавцем, ваше величество!

— Немедленно повесить! — орал король и топал ногами. В дом ничего не подозревавших людей врываются солдаты, хватали их и вешали в вишневом саду позади замка. Скелеты висели среди вишневого цветения и гремели на ветру костями. И повешенных в саду становилось все больше и больше, потому что маршальское ухо подслушивало все разговоры, и королю было доподлинно известно, кто и какие гадости про него говорил. А уж желающих сказать про короля гадости находилось, поверьте, немало, ох, немало!

Однажды юная принцесса пошла погулять и набрела случайно на страшный вишневый сад. Вернулась домой она бледная, как смерть, ибо никогда раньше этого не видела. Король сразу понял, что так потрясло принцессу, и попытался ее успокоить.

— Вот тебе, дорогая доченька, — сказал он, — чайный сервиз из чистого серебра. Играй с ним и будь счастлива.

Но принцесса уже не могла быть счастливой. Прямо на глазах стала она увядать и чахнуть, потому что все время думала о скелетах в вишневом саду. Она совсем разучилась смеяться, и король забеспокоился.

— Позвать сюда дрессировщика, — приказал он. — Пусть его медведь попляшет на канате!

В тот же вечер привели дрессировщика с медведем, умевшим танцевать на канате. Весь двор собрался посмотреть на забаву. Высоко-превысоко под самым потолком тронного зала, от одной колонны до другой, натянули канат. Медведь потешно плясал с палкой в передних лапах. Это было необычайно смешное зрелище, все хохотали и хлопали в ладоши, даже принцесса смеялась — впервые за очень долгое время.

Когда представление окончилось, дрессировщик подошел к принцессе, низко поклонился и протянул ей белого голубя. Принцесса зарделась от смущения, взяла голубя и поцеловала дрессировщика в лоб. Он ей очень понравился.

Когда король это увидел, он чуть с трона не свалился от бешенства и зашептал своему верному маршалу:

— Подложи-ка ты ночью ухо этому дрянному медвежатнику!

Он сказал это очень тихо, но принцесса все равно услышала и, улегшись спать, все никак не могла сомкнуть глаз и думала: как же, как же спасти дрессировщика?

Между тем дрессировщик вернулся на постоянный двор, где обычно ночевал, а маршал скользкой тенью проводил его по узким темным улочкам города. И

когда дрессировщик, как обычно, примостился на ночлег в конюшне, положив голову на мягкое теплое брюхо медведя, маршал отстегнул левое ухо и сунул его подслушивать в густую траву под оконце конюшни.

А тем временем дрессировщик изливал душу медведю.

— Ах, мой дорогой медведь, — говорил он грустно, — я влюблен в прекрасную принцессу и хочу на ней жениться. Но тому никогда не бывать, потому что папаша у нее — жуткий мерзавец. Тиран, чудовище, подлец!

А ухо за окошком — знай себе подслушивает!

Сам же маршал вернулся во дворец, где его в нетерпении поджидал король, стоя на лестнице с золотым канделябром в руке.

— Ну что? — спросил он.

— Порядок, ухо подслушивает. Прямо у нашего голубчика под окошком, — гадко хихикая, сообщил маршал. — А утречком пойду заберу его. И уж тогда нам станут известны все его поганые мыслишки!

— Отлично, — потер руки король. — И если он говорит про меня гадости, то висеть ему в саду на тринадцатой вишне слева!

И хотя король с маршалом шептались тихонечко — как два нашкодивших пакостника, принцесса все слышала, потому что в этот момент пряталась в своей кружевной ночной рубашечке за колонной. Она на цыпочках пробралась назад — к себе в спальню, погладила белого голубя, написала крошечное письмо и прикрепила его к лапке голубя. Потом выпустила птицу из окна.

Голубь полетел напрямик на постоянный двор. От шуршания его крыльев дрессировщик проснулся, прочитал письмо и даже побледнел от страха: шутка ли — в письме было написано про маршальское ухо, которое знай себе — лежит и подслушивает под окошком.

Дрессировщик вскочил на ноги и с медведем на цепи вышел на улицу.

— Дружок мой лохматый! — шепнул он зверю. — Ищи скорей ухо, везде ищи это проклятое ухо!

Медведь сопя обнюхал траву, обожал весь двор, вокруг дома, и наконец тонкий нюх привел его под окошко конюшни. Здесь он поднялся на задние лапы, взглянул на хозяина и глухо зарычал.

— Нашел? — спросил дрессировщик. — Ах вот оно, я вижу, огромное красное ухо... Люди, проснитесь, здесь лежит маршальское ухо!

На его крик кто в чем сбежались проснувшиеся горожане, они молча стояли и смотрели на ухо, принесшее всем столько горя и бед.

— Все видели? — спросил дрессировщик. — А теперь действуй, мой лохматый друг!

Медведь рыкнул и в один присест проглотил маршальское ухо. Люди закричали от радости и понесли дрессировщика по всему городу на руках. Все больше и больше горожан присоединялось к ликующей процессии, и вскоре огромная толпа с медведем во главе устремилась ко дворцу, где король в утреннем халате уже сидел у окна и пил чай — с черной икрой, разумеется. Рядом с ним стоял маршал и внимательно слушал его правым ухом — единственным, которое у него осталось.

Внезапно он побелел.

— Вы слышите, что они кричат, ваше величество?

— Нет, — сказал король. — А что особо интересного они могут кричать?

— Они кричат: ура-ура, медведь слопал маршальское ухо!

— Какой кошмар! — воскликнул король. — Сейчас они ворвутся сюда с копьями, пиками, вилами, ножами и еще черт знает с чем. Похоже, это восстание... дело пахнет керосином... сматываемся... пока не поздно!

И король с одноухим маршалом бросились прочь из дворца, они рванули через вишневый сад с качающимися на ветру скелетами — только пятки сверкали!

Когда народ под предводительством дрессировщика с медведем проник во дворец, там было пусто, одна лишь принцесса шла им навстречу с лучистой улыбкой.

Дрессировщик с принцессой поженились, и он, стало быть, сделался королем. Вишневый сад срубили, а все скелеты аккуратно похоронили. Медведю поставили собственную кровать в королевской спальне. Он ужасно храпел, но молодой король и его прекрасная супруга лишь улыбались во сне.

Перевела с нидерландского Е. Любарова.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

Михаил БЕЛЕНЬКИЙ

(зам. отв. секретаря)

Светлана БУЧНЕВА

(отв. секретарь)

Алла МАРЧЕНКО

(зам. главного редактора)

Святослав ПЕДЕНКО

(зам. главного редактора)

Ф. СГ-1

Министерство связи СССР
«Союзпечать»

АБОНЕМЕНТ на газету **70 949**
СОГЛАСИЕ журнал (индекс издания)

(наименование издания) Количество комплектов

на 19__ год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Куда _____
(почтовый индекс) (адрес)

Кому _____
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВочНАЯ КАРТОЧКА

на газету **70 949**
журнал (индекс издания)

СОГЛАСИЕ
(наименование издания)

ИЗ _____ место _____ ин-тер _____

Стоимость	подписки _____ руб. _____ коп.	Количество комплектов _____
	перезадресовки _____ руб. _____ коп.	

на 19__ год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Куда _____
(почтовый индекс) (адрес)

Кому _____
(фамилия, инициалы)

**ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ**

«СОГЛАСИЕ»

**НА 1992 ГОД
НАШ ИНДЕКС — 70949**

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

**НА 3 МЕСЯЦА — 6 рублей
НА 6 МЕСЯЦЕВ — 12 рублей
ГODOВАЯ — 24 рубля**

**ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
АБОНЕМЕНТА!**

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штампа отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ—МЕСТО» производится работниками предприятий связи и Союзпечати.

“СОГЛАСИЕ” — ИНДЕКС 70949

“СОГЛАСИЕ” — единственный в России “толстый” ежемесячник, который, возникнув на волне Гласности, удержался на плаву: в 1991 году выйдут все двенадцать его книжек. С 1992 года — подписной.

“СОГЛАСИЕ” — принципиально некоммерческий литературно-художественный журнал. Цена одного номера по подписке — 2 руб., годовая подписка — 24 руб.

“СОГЛАСИЕ” не занимается расширенным воспроизводством литературных склок. Единственная партия, которую он представляет — *Партия читателей*,

С N 6 за 1991 год в рубрике “Прочтите детям” — Анни Шмидт “Ведьмы и все прочее” и Хью Лофтинг “Цирк доктора Дулитла”. В 1992 году в этом же разделе — повести Кеннета Грэма “Ивовый ветер” и Хью Лофтинга “История доктора Дулитла” (та самая история, что переложена в “Докторе Айболите” К.И. Чуковского).

Только в “СОГЛАСИИ” “читатель стиха” найдет тщетно искомое в нынешней периодике: убежденность редакции в том, что поэт в России не лишний, а необходимый Главный человек.

“СОГЛАСИЕ” предоставляет режим наибольшего благоприятствования тем, кто еще не имеет личного счета в “банке” художественных идей, и имеет честь представить: Ю. Батяйкина, Б. Евсеева, И. Макарова, О. Охипкина, О. Павлова, А. Просекина, О. Славникову, О. Хандуся. Запомните эти имена: это новая литература новой России.

“СОГЛАСИЕ” — ЭТО БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ! 1991—1992

*И. Шмелев “Солнце мертвых”,
Б. Васильев “Карнавал”,
Дж. Оруэлл “Памяти Каталонии”,
Кн. С. Щербатов “Художник в ушедшей России”,
Т. Есенина “Дом на Новинском бульваре”,
А. Ф. Керенский “Письма к Н. Берберовой”,
Вл. Максимов “Чаша ярости”,
Г. Щербакова “Убиквисты”,
Л. Шорохов “Дорога слепых”,
К. Льюис “Мерзейшая мощь”,
М. Павич “Пейзаж, нарисованный чаем”,
Алексей Лосев “Беломорстрой”,
Борис Хазанов “Я Воскресение и Жизнь”,
Эдуард Шульман “Скандал”,
Эдуард Русаков “Презентация”,
Дж. Голсуорси “Джослин”,
Ж. Жиро́ду “Белла”,
С. Экзюпери “Цитадель”
и др.*

Подписчики журнала будут иметь преимущественное право на подписку серий детских книг, готовящихся к выпуску “Милосердием” в 1992 году.

Цена 1руб. + 20коп.

СПАСИБО

Двадцать копеек благотворительной надбавки к цене нашего журнала превратятся в миллион рублей, необходимых для строительства интерната для одиноких престарелых людей в Талдомском районе, соединяющем Московскую и Тверскую области.

Финансирование ведете Вы, уважаемый читатель, и редакционно-издательский комплекс «Милосердие».

**СОВЕТ
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА
«МИЛОСЕРДИЕ»**

*ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ,
А.М.АДАМОВИЧ, Г.П.АЛФЕРЕНКО,
В.С.АЛХИМОВ, В.М.БОРИСОВ,
А.М.БОРЩАГОВСКИЙ, Ф.М.БУРЛАЦКИЙ,
Ю.М.БУЦКО, Е.М.БЫЧКОВ, Б.Л.ВАСИЛЬЕВ,
А.Ю.ГЕРМАН, А.А.ГОЛИК, А.Г.КОНОВАЛОВ,
Л.П.КРАВЧЕНКО, В.Н.КРУПИН, А.М. МАРЧЕНКО,
Г.И.МАТЕВОСЯН, А.Н.МЕДВЕДЕВ, В.В.МЕНЬШИКОВ,
В.В.МИХАЛЬСКИЙ, Б.А.МОЖАЕВ, С.А.МУБАРЯКОВ,
В.Н.МУДРАК, Б.И.ОЛЕЙНИК, С.Ф. ПЕДЕНКО,
О.М.ПОПЦОВ, Г.В.ПРЯХИН, Ю.М.РОСТ, Ю.С.РЫТХЭУ,
Ю.Б.СОЛОМОНОВ, В.Т.СПИВАКОВ, Н.К.СТАРШИНОВ,
О.М.ТОЛКАЧЕВ, Н.И.ТРАВКИН, С.Н.ФЕДОРОВ,
Ю.Д.ЧЕРНИЧЕНКО, Б.А.ЧИЧИБАБИН, С.И.ЧУПРИНИН,
И.И.ШКЛЯРЕВСКИЙ, С.В.ЯМЩИКОВ*